ЗБОРНИК РАДОВА
ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА
XIV/XV

БЕОГРАД
1973

ЗБОРНИК РАДОВА

ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА

Књ. XIV/XV

INSTITUT D'ÉTUDES BYZANTINES
DE L'ACADÉMIE SERBE DES SCIENCES ET DES ARTS

RECUEIL DES TRAVAUX
DE L'INSTITUT D'ÉTUDES BYZANTINES
XIV/XV

Rédacteur

GEORGES OSTROGORSKY
Directeur de l'Institut d'Études byzantines

BEOGRAD
1973

ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

ЗБОРНИК РАДОВА

ВИЗАНТОЛОШКОГ ИНСТИТУТА

XIV/XV

Уредник

ГЕОРГИЈЕ ОСТРОГОРСКИ
Директор Византолошког института

БЕОГРАД
1973

Ова књига је објављена уз финансијску помоћ
Републичке заједнице за научни рад СР Србије

На основу мишљења Републичког секретаријата за културу СРС, број 413-138/73-02 од 15. II 1973. године, ова књига ослобођена је плаћања посебног републичког пореза на промет производа и услуга у промету.

Издаје: Византолошки институт САНУ, Београд, Кнез Михаилова 35

Штампа: „Научно дело" — Београд, Вука Караџића 5

САДРЖАЈ — TABLE DES MATIERES

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

Е. Э. ЛИПШИЦ

ИЗ КОММЕНТАРИЯ К КОНСТИТУЦИЯМ КОДЕКСА ЮСТИНИАНА 529 г.

Анализ формы ранневизантийских законодательных актов приводит подчас к неожиданным выводам, выходящим за рамки специфических интересов византийской дипломатики — одной из самых молодых отраслей вспомогательных исторических дисциплин в области византиноведения[1]. Предметом данной статьи является именно такой случай, когда изучение заключительной формулы в пятнадцати конституциях, изданных в один и тот же день 529 г., раскрывает некоторые неизвестные ранее моменты в истории византийского законодательства того времени.

В исследованиях, посвященных изучению вопросов византийской дипломатики, внимание было до сих пор сосредоточено, главным образом, на изучении документов, относящихся к средне- и поздневизантийским периодам (IX—XV вв.). Такое хронологическое ограничение объекта анализа легко объяснимо. Оно было вызвано не только и не столько сравнительной молодостью этой отрасли византиноведения, сколько состоянием источников, которыми располагает современная наука. Гибель документальных источников ранней Византии была почти полной. Если не считать такой специальной отрасли византиноведения, как папирология, отрасли, имеющей дело с определенным локально ограниченным районом империи — Египтом, и немногочисленных папирусов Равенны, никаких оригинальных документов в ранней Византии не сохранилось. В общем руководстве по византийской дипломатике, явившемся трудом Ф. Дэльгера, выполненным совместно с И. Караяннопулосом, интересующему нас периоду уделено поэтому сравнительно очень мало места.

Тем не менее было бы неверно считать, что исследования в области византийской дипломатики периода V—VI вв. бесперспективны вообще.

[1] О состоянии разработки вопросов по византийской дипломатике можно составить себе отчётливое представление по двум сравнительно недавно вышедшим книгам Ф. Дэльгера: *F. Dölger*, Byzantinische Diplomatik, Ettal, 1956; *F. Dölger, J. Karayannopulos*, Byzantinische Urkundenlehre, I. Die Kaiserurkunden, München, 1968, с подробной библиографией. См. также: *И. П. Медведев*, Византийская дипломатика в свете некоторых новейших исследований, Вспомогательные исторические дисциплины, в. III, 1970, стр. 360—369.

Если не дошло подлинных документов, то зато современная наука располагает для этого периода богатым законодательным материалом, представленным в сводах законов и в сохранившихся собраниях императорских новелл.

Из пяти Кодексов, изданных в период с конца III—VI вв., сохранилось лишь два. Григорианский и Гермогенианский Кодексы известны только в очень незначительной степени. Некоторые конституции из этих кодексов вошли в состав позднейших сводов Феодосия и Юстиниана, а также упоминаются в сочинениях юристов. Более благоприятно дело обстоит с Кодексом Феодосия (438 г.) и Кодексами Юстиниана (529 и 534 гг.). Однако, и Кодекс Феодосия, полностью до нас не дошел. Что касается до первого Кодекса Юстиниана 529 г., то он нам известен через посредство второго его дополненного и переработанного издания 534 г.[2] Из этого же второго издания известны и конституции, аннонсировавшие в 528 г. издание первого Кодекса, а также его публикацию в 529 г. Эти конституции имеют важное значение для выяснения некоторых вопросов византийской дипломатики, так как содержат инскрипции в наиболее полной известной форме, а также и некоторые другие немаловажные сведения, раскрывающие „лабораторию законодателей".

При оценке значения всех этих документов следует принять во внимание, что сохранившиеся рукописи законодательных сводов не современны их изданию и носят, в особенности древнейшие из них, фрагментарный характер. Так, например, второй Кодекс Юстиниана 534 г. сохранился в палимпсесте VI—VII вв. в Веронской библиотеке (книги 4—8 и 11—12). Для восстановления всего состава Кодекса исследователями и публикаторами его были использованы рукописи IX—XIII вв., а также данные изданий XVI в. Древнейшие научные издания Кодекса были выполнены гуманистами[3]. При подготовке своих публикаций эти учёные имели возможность использовать еще существовавшие тогда и ныне утраченные рукописи Кодекса, которые восполняли лакуны в других, имеющихся в распоряжении современных учёных. В частности, например, пропущенные копиистами субскрипции. Издания и комментарии к Кодексу таких учёных, как Куяций (1522—1590), Галоандр (1501—1531), Готофред (1587—1652), помогли новейшим издателям в восстановлении первоначального текста Кодексов Феодосия и Юстиниана.

Сходным образом дело обстоит и с другими законодательными памятниками ранневизантийского времени.

Таким образом, несмотря на неблагоприятное состояние источников, затрудняющее всестороннее исследование структуры византийских

---

[2] Возможно, что фрагменты первого Кодекса сохранились в Оксиринхском папирусе (P. Oxy., XV, 1814). Фрагмент содержит перечень титулов и инскрипции. *E. Seidl*, Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozessrecht, Köln-Berlin-Bonn-München, 1962, S. 113; *L. Wenger*, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, S. 571—572.

[3] *E. Seidl*, Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprocessrecht, Köln-Berlin-Bonn-München, 1962, S.9 f.

законодательных актов, все же наличие критических изданий сводов открывает пути для исследований. Законодательные памятники изучались и продолжают изучаться византинистами. Однако, до сих пор главной задачей византиноведческих исследований является рассмотрение внутреннего содержания этих источников. Такой интерес вполне оправдан, тем более, что законодательные памятники V—VI вв. являются едва ли не самыми содержательными свидетельствами о социально-экономическом развитии Византии того времени, не говоря уже об истории развития права. Однако, нам представляется, что изучение формальной структуры законодательных актов обещает также дать немало интересных и новых сведений.

Вопросами дипломатики периода IV—VI вв. занимались главным образом не византинисты, а историки римского права и публикаторы этих законодательных памятников. Именно им мы обязаны за критические издания кодексов и новелл и за научные комментарии к ним. В работах романистов были выявлены специфические особенности формуляра ранневизантийских законодательных актов и своеобразие терминологии, значительно отличающие этот род источников от законодательных памятников средневекового Запада. Достаточно напомнить работы Зеека, Брунса, Ноайя, Венгера, Штайнвентера, а также комментарии Моммзена, Мейера, Крюгера, Шелля, Кролля, которые значительно содействовали выяснению ряда важных вопросов формального характера. Ценное исследование Г. Хунгера о „проэмии" (prooimion) законов явилось новым важным вкладом в дело изучения и формы, и содержания византийских законодательных памятников, в том числе и интересующего нас периода[4].

Обращаясь непосредственно к теме настоящей статьи, следует заметить, что состояние источников требует внесения еще одного хронологического ограничения. Законодательный свод Феодосия включает конституции, начиная с царствования Константина I. Кодекс Юстиниана восходит к еще более раннему времени. Древнейшая из конституций Кодекса Юстиниана относится к актам законодательной деятельности императора Адриана (117—138 гг.). Однако, из предисловия к Кодексу Феодосия, так же, как из предисловий к обоим изданиям Кодекса Юстиниана, известно, что при включении законов в эти своды не только акты царствовавших ранее императоров, но даже и законы, изданные прежде самими Феодосием и Юстинианом, были подвергнуты перередактированию, подчас весьма существенному — заменялись выражения, опускались части фраз, вносились пояснения, дополнения и т. д.[5] Поэтому изучение конституций, изданных задолго до издания Кодексов, наталкивается на дополнительные препятствия при определении перво-

---

[4] *H. Hunger*, Prooimion, Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, Wien, 1964.

[5] «Gesta senatus», C.Th. 1954, p. 2; Const. «Haec», «Summa», «Cordi», C.Just. 1959, p. 1—4. Cf. *F. Schulz*, Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar, 1961, S. 390 f.; *Wenger*, op. cit., S. 645; *Е. Э. Липшиц*, Право и суд в Византии (IV—VIII вв.) (подготовл. к печ.).

начальной структуры законов. Мы несомненно знаем в отношении древнейших законов лишь их кратко изложенную сущность. Значительно достовернее представляется анализ структуры конституций V и особенно VI вв. О характере переработки конституций Кодекса Феодосия мы можем судить путем сличения их с соответствующими законами Кодекса Юстиниана. Еще лучше обстоит дело с новеллами, которые вообще не были подвергнуты в Византии кодификации.

Если обратиться к конституциям Кодекса 534 г. Юстиниана, то особый интерес при изучении формальной структуры законов приобретают законы, опубликованные после первого его издания 529 г. Эти конституции Юстиниана, по-видимому, подверглись сокращению лишь в вводных и заключительных частях в соответствии с общим планом издания. К числу подобных сокращений относятся инвокация и титулатура императора. В полном виде они известны лишь из вводных конституций к отдельным частям свода, а также из заглавий к ним. Они сохранились также в некоторых новеллах V в., а также и в новеллах и эдиктах, изданных в 30-х — 60-х гг. VI вв.[6] Возможно, что сокращены были и финальные формулы.

При изучении последних обращает на себя внимание своеобразием своей финальной формулы большая группа (15) конституций, изданных через полгода после опубликования первого Кодекса Юстиниана.

К их рассмотрению мы и обратимся, так как изучение этой формулы приводит к заключениям, представляющим более разносторонний интерес, чем это можно было бы ожидать.

По своей общей формальной структуре эти конституции не имеют ничего необычного. Подобно всем прочим, они начинаются инскрипцией, указывающей имя издавшего их императора Юстиниана.[7] Все они адресованы префекту претория Демосфену (занимавшему этот пост с 17 сентября 529 г. по 30 октября 529 г.). Изложение (narratio) носит сжатый характер, как и в прочих конституциях Кодекса, глубоко отличных в этом отношении от многословного стиля позднейших новелл Юстиниана. Можно лишь отметить, что в интересующей нас группе вводная часть изложения (prooimion) либо отсутствует, либо носит теоретический характер. Мы не встречаем здесь указаний на какие-либо конкретные обстоятельства, как например поступившие с мест запросы адвокатов иди других лиц, на прошения, как это иногда бывает в других конституциях Кодекса[8]. Как правило, изложение открывается императивной

[6] Cf. Institutiones: const. „Imperatoriam“; Digesta: const. «Deo auctore»; «Omnem», «Tanta»; «Δέδωκεν»; Codex: const. «Summa», «Cordi». Novellae: 17 (535 г.); Iussio 2 (541 г.); Edictum 7 (542 г.); Const. pragmatica 6 (562 г.); Lex 8 (s.d.); Lex 9 (558 г.).

[7] C.J. 1, 2, 22; 1, 14, 12; 2, 55, 4; 4, 1, 12; 4,34,11; 5,12,30; 5,30,5; 6,4,3; 6,30,19; 6,42,30; 6,61,6; 7,45,13; 7,45,14 (?); 8,53,34; 11,48,20.

[8] *H. Hunger*, Prooimion, Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, Wien, 1964. В книге рассмотрены среди прочих и проэмии к ряду конституций Кодекса Юстиниана (помимо вводных конституций — C. J. 1, 3, 43; 1, 3, 55; 1, 17, 1; 1, 17, 2; 1, 27, 1; 2, 18, 3; 7, 24, 1; 7, 62, 39; 9, 1, 17). Эти вопросы исследованы в последнее время и в книге: *R. Bonini*, Ricerche di diritto Giustinianeo, Milano, 1968. О запросах комиссий адвокатов см. стр. 5—51.

фразой. Можно заметить также, что законодатель в некоторых из законов данной группы обращается к высказываниям классических юристов (Юлия Павла, Папиниана), одно из которых включено и в Дигесты[9]. Подобные приемы встречаются в Кодексе Юстиниана, главным образом в период подготовки Дигест (530—533 гг.)[10].

Эсхатокол во всех конституциях этой группы, как и обычно, содержит дату по юлианскому календарю: „D. III kal. Nov." и указание на то, что конституция издана в консульство Декия. Всё это дает основание датировать конституции 30 октября 529 г., когда этот консул занимал свой пост.

Особенность финальной формулы заключается в том, что дате предшествует фраза, не находящая аналогий ни в одной из многочисленных (ок. четырех с половиной тысяч) конституций Кодекса Юстиниана. В наиболее полной форме она гласит: „Recitata septimo miliario (milliario) huius inclitae civitatis in novo consistorio palatii Iustiniani" (т. е. оглашена в седьмом милиарии этого прославленного города в новом консистории дворца Юстиниана). В некоторых случаях слова huius inclitae civitatis заменены словами urbis Constantinopolitanae (города Константинополя). Иногда пропущены слова „этого прославленного города" или „города Константинополя". Но всегда, за исключением двух конституций, где не сохранившийся текст предположительно восстановлен издателем, присутствует вся остальная часть этой заключительной фразы.

Случаи оглашения отдельных конституций в сенате или консистории практиковались в ранней Византии и прежде, как об этом можно судить по данным Кодекса Феодосия и новеллам V в. Об этом же свидетельствует и единственная, кроме рассматриваемых, конституция Кодекса Юстиниана IV в. (C. J. 6,60, I.). Удивительно, однако, то, что в конституциях самого Юстиниана, включенных в Кодекс, мы нигде более подобных указаний не находим. В этом смысле данная группа конституций является уникальной.

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению этого вопроса, необходимо, однако, разобрать самую формулу. Необычное выражение „septimo", стоящее на том месте, где следовало бы ожидать указание даты оглашения, заинтересовало уже Куяция. В своих комментариях к законодательству Юстиниана он отметил, что выражение septimo miliario или просто septimo (иногда встречающееся в форме septies) является названием места. Этот термин Куяций отожествлял с пригородом Константинополя, где Юстиниан построил „Новый консисторий". Он ссылался при этом на сочинение Прокопия „О постройках", где слово „септимум" также встречается. Название происходит от меры расстояния

[9] C.J. 6,30,19; 6,42,30, cf. C.J. 6,25,7,1 и Dig. 35,1, 102.

[10] В период подготовки первого Кодекса Юстиниана (т. е. с февраля 528 г. до апреля 529 г.) в конституциях не встречается ни одной ссылки на высказывания юристов. Это продолжается еще полгода. С октября 529 г. (C. J. 3, 28, 33, 1) положение меняется: Cf. *F. Pringsheim*, Die Entstehungszeit des Digestenplanes und die Rechtsschulen (1934), Gesammelte Abhandlungen, 2, 1961, S. 49 f.

этого района от Константинополя[11]. Мнение Куяция разделял и Готофред, который привел соображения Куяция в своем комментированном издании Кодекса Юстиниана[12]. Однако, впоследствии комментаторы Прокопия иногда отожествляли термин septimum с седьмым районом Константинополя. Аллемани в своих комментариях к Тайной истории Прокопия не упоминает ни интересующих нас конституций, ни нового консистория Юстиниана. Тем не менее именно Аллемани привел ряд текстов ранневизантийских историков (Сократа, Созомена, Гидатия, Прокопия), которые подтверждают убедительность толкования термина septimum как топографического названия и как расстояния в семь межевых камней (миль) от города[13]. Таким образом, заключительная формула в группе конституций 529 г. дает основание считать, что в самом начале своего царствования Юстиниан построил новый консисторий во дворце, находившемся в расстоянии семи миль от Константинополя.

Вопрос о местонахождении дворца, известного под греческим названием Хебдомон (что соответствует латинскому Септимум), вызвал в науке длительную дискуссию. Мы не будем останавливаться на рассмотрении этого вопроса, оживленно обсуждавшегося еще в конце XIX и начале текущего столетия[14]. Он выходит за рамки настоящей статьи. Отметим лишь, что вследствие недостаточного внимания к сведениям, содержащимся в конституциях Кодекса Юстиниана (хотя на отдельные из этих конституций и делались иногда ссылки), даже и в более новых трудах, не утративших своего научного значения и сейчас, не имеется достаточной ясности по вопросу о времени сооружения нового консистория Юстиниана и о его местонахождении[15]. Как совершенно основательно констатировал Р. Гийан, консисторий, который был, по всей вероятности, сооружен Константином I „не следует отожествлять с новым консисторием, упоминаемым в Кодексе Юстиниана"[16].

---

[11] Recitata septimo miliario. Id vero est palàtium quod fuit in suburbio Constantinopoleos in quo Iustinianus iuri dicendo novum consistorium extruxerat, quod et simpliciter Septimum dicitur. *Cueacii*, Opera omnia, III, Paris, 1658, p. 616.

[12] Codices Justiniani repetitae praelectionis libri XII notis *D. Gothofredi* illustrati, 1602 (n.ad. C.J. 1,2,22).

[13] Ἕβδομον, Septimum: non septima Byzantii regio, ut opinatur Heribertus Rosveydus in not.ad vit.Pat. sed suburbanum septimo ab urbe lapide distans. Далее приводятся тексты Сократа, Созомена, Гидатия и тексты: Procopii De aedif. 1,4 (с латинским переводом: „Praesidium aliud apprime munitissimum excitavit, quod ab urbe Singidone octo ferme milliaribus distat; quare Octavum apposite vocatur"), Procopii, III, ed. Bonn, 1838, p. 430.

[14] Хороший обзор хода дискуссии по этому вопросу дал в свое время Д. Беляев в подробной рецензии на книгу: *Mordtmann*, Esquisse topographique de Constantinople, Lille, 1892, Византийский Временник, I, 1894, стр. 396 сл.

[15] Ср., например, *J. Ebersolt*, Le grand palais de Constantinople et le Livre des Cérémonies, Paris, 1910, p. 39—40; Constantin Porphyrogénète, Le Livre des Cérémonies, Commentaire par A. Vogt, I, Paris, 1935, p. 45. Иначе — правильно решил вопрос Ш. Диль: *Ch. Diehl*, Justinien et la civilisation byzantine, Paris, 1901, p. 86.

[16] *R. Guilland*, Etudes de topographie de Constantinople byzantine, I, Berlin-Amsterdam, 1969, p. 56 et 66.

Недаром этот консисторий именовался „Новым". Значение заключительной формулы в рассматриваемой группе конституций не исчерпывается, однако, ценными сведениями о местонахождении нового консистория[17]. Она представляет интерес и в некоторых других отношениях и ставит вопросы, которые требуют дополнительного анализа.

Так, прежде всего встает вопрос о том, почему все же в Кодексе Юстиниана с его огромным количеством конституций лишь в данном случае, т. е. в группе конституций от 30 октября 529 г. имеется указание на их оглашение в Новом консистории Юстиниана. Можно ли такой факт объяснить случайностью сохранившейся документации? Думается, что вряд ли, так как все эти пятнадцать конституций разбросаны по многим книгама Кодекса (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XI книги) и притом размещены в разных титулах. Поэтому трудно предполагать, чтобы все прочие указания на оглашение в консистории были по недосмотру опущены, а только эти оставлены. Скорее можно считать, что издание законов нашей группы было связано с какими-то особыми обстоятельствами. Торжественность процедуры, отразившаяся в финальной фразе, прежде всего была, вероятно, обусловлена тем, что все эти законы относились к категории leges generales, которые по издавна существовавшей традиции докладывались в сенате[18]. По своему содержанию конституции этой группы подходят к данной категории законов. Некоторые из них в особенности. Как, например, закон об общеобязательности частных рескриптов, если они включены в Кодекс (C. J. 1, 14, 12); или закон об обязательной письменной документации крупных даров, получивший широкое распространение в позднейшем законодательстве (C. J. 8, 53, 34); или закон о порядке взимания налогов и повинностей с колонов при тяжбах о собственности на землю (C. J. 11, 48, 20). Не препятствует предположению об отнесении данной группы законов к категории leges generales и то, что они адресованы определенному лицу — префекту претория Демосфену, так как это практиковалось и прежде. Однако, если такое объяснение своеобразного характера субскрипции и верно, оно все же недостаточно. Дело в том, что во всех известных нам законах Кодекса, безусловно относившихся к числу leges generales, в том числе таких, которые были обращены „К народу Константинополя" (C. J., 7, 51, 4, 450 г.) и именовавшихся к тому же еще эдиктом, или таких, которые были адресованы „К сенату и всему народу" (C. J., 1, 17, 2, 533 г.), или „К сенату" (const. „Haec", 528 г.; „Cordi", 534 г.) подобного указания мы не находим. Нет их и в аналогичных по своему назначению новеллах Юстиниана. Если подобные заключительные формулы и были, возможно, в ори-

---

[17] Указание на „седьмой милиарий" как на место издания конституций встречается еще единственный раз в новелле Юстиниана 118, 543 г. Однако, кроме даты опубликования новеллы, никаких сведений об оглашении конституции там не имеется.

[18] Составление и редактирование leges generales, ответы на запросы чиновников, на прошения частных лиц, по правовым вопросам входило в функции квестора священного дворца. *P. Noailles,* Les collections de novelles de l'empereur Justinien. Paris, 1912, p. 4—9 sq.

гинале конституций Кодекса, то они были опущены редакцией второго издания кодекса 534 г., которое только до нас и дошло.

Особенности интересующей нас формулы, быть может, раскрываются в большей мере при рассмотрении ее на фоне конкретных исторических обстоятельств того времени.

События осени 529 г. нам известны, разумеется, далеко недостаточно из-за скудости данных в исторических повествованиях. Тем не менее, некоторые наиболее яркие события, с точки зрения современников, не прошли мимо византийских хронистов. Обращает на себя внимание тот факт, что в бурных событиях осени 529 г. оказался замешан один из членов комиссии, готовившей к изданию первый Кодекс Юстиниана и выпустившей его в свет в апреле 529 г. Так, из сообщений хронистов Малалы и Феофана известно, что квестор Фома (который стоит в приведенном нами[19] списке членов комиссии на пятом месте) вместе с группой других высших сановников был осужден за приверженность к язычеству, сослан и подвергнут наказанию конфискацией имущества. По мнению Э. Штейна, данные Феофана позволяют датировать эти события временем не ранее сентября 529 г. К октябрю 529 г. квестор Фома был заменен Трибонианом[20]. Во всяком случае, Трибониан сменил Фому в должности квестора священного дворца (т. е. высшего должностного лица, которое ведало императорским законодательством и правосудием[21]) ранее 17 ноября 529 г., так как в Кодексе Юстиниана имеется конституция от этого числа, обращенная уже „к квестору Трибониану". Таким, образом, падение Фомы и возвышение Трибониана, занявшего его место, как раз приходится на время издания заинтересовавших нас пятнадцати конституций.

Вероятность авторства Трибониана в этих конституциях возрастает, если принять во внимание одну из отмеченных нами выше их характерных черт. Лишь с октября 529 г. появляются ссылки на сочинения классических юристов. Для Трибониана, к которому Юстиниан адресовал уже в 530 г. программу будущего свода высказываний классических юристов — грандиозного свода Дигест, подобное направление интересов кажется особенно характерным. В этой конституции

---

[19] В состав комиссии, которой было поручено в феврале 528 г. подготовить к изданию Кодекс, входили сановники: Иоанн, Леонтий, Фока, Василид, Фома, Трибониан, Константин, Феофил, Диоскор и Презентин. В состав комиссии, издавшей Кодекс в апреле 529 г., вошли: Иоанн, Леонтий, Фока, Василид, Фома, Трибониан, Константин, Феофил, Диоскор, Презентин.

[20] *E. Stein,* Histoire du Bas-Empire, II, Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1949, p. 371, n. 2. По Феофану, эти преследования произошли в восьмом индикте, который начался в сентябре 529 г. В хронике сирийского писателя Малалы события отнесены к седьмому индикту. Однако следует принять во внимание то, что в восточных районах империи, в том числе и в Сирии, индикт начинался не с 1 сентября, а с 23 сентября. Поэтому мнение Э. Штейна мне представляется вполне убедительным.

[21] О функциях квестора священного дворца дает сведения писатель VI в. Иоанн Лид со ссылкой на труд римского юриста Ульпиана „De officio quaestoris", отрывки из которого включены в Дигесты Юстиниана (Dig. 1, 13): Ioh. Lydi, De mag. 1, 24; 28; C. J. 1, 30; 12, 6; Bas. 6, 6. Подробный анализ деятельности квестора см. у *P. Noailles,* Op. cit. См. также выше, прим. 18.

от 15 декабря 530 г.[22] впервые нашло свое официальное выражение то новое направление в законодательстве, которое позднее было осуществлено в Дигестах. Есть основания полагать, что изложенная в конституции программа родилась не сразу[23]. Первые симптомы задуманного поворота заметны уже в октябре 529 г., когда в конституциях Кодекса Юстиниана появились впервые ссылки на высказывания классических юристов[24]. Появление этих симптомов хронологически совпадает с вступлением на пост квестора священного дворца Трибониана.

Отстранение от власти Трибониана после восстания Ника по требованию восставших, обвинявших его в злоупотреблениях правосудием, было временным. После своего возвращения он возглавил комиссию по изданию Дигест. Он же стал во главе редакции Институций. И, наконец, он же руководил комиссией, опубликовавшей второе издание Кодекса Юстиниана в 534 г.[25].

Поскольку конституции от 30 октября 529 г. были, по-видимому, тесно связаны с поворотом и в его личной судьбе и с задуманным новым направлением в законодательстве, не лишено вероятности предположение, что их торжественная финальная формула была сохранена кодификаторами не случайно.

---

[22] Triboniano viro eminentissimo quaestori sacri palatii (C.J. 1,17,1); cf. const. „Deo auctore".

[23] *Pringsheim*, op. cit., S. 43, 47 относит составление плана ко времени август — сентябрь 530 г.

[24] Использованные в них авторы не выходят за пределы списка пяти юристов, допущенных законом о цитировании: C. Th. 1, 4, 3 (426 г.). Перечень конституций см. выше (прим. 9).

[25] Const. «Omnem», § 2; «Tanta», § 9; «Cordi», § 2.

Зборник радова Византолошког института XIV/XV, 1973.
Recueil dex travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

ANDRÉ GUILLOU

MIGRATION ET PRÉSENCE SLAVES EN ITALIE DU VI^e AU XI^e SIÈCLE.

Sur la carte des ères de civilisation, les zones périphériques occupent une place de choix pour l'historien à plus d'un titre et, par exemple, parce qu'elles posent de façon concrète, si les sources viennent à son aide, l'un des aspects du problème de la distance par rapport au centre, et donc celui de la frontière. Le phénomène est bien connu, mais il peut prendre valeur de test, s'il concerne une époque ou une région médiévales, pour lesquelles ces questions n'ont pas encore retenu l'attention des chercheurs. C'est le cas des provinces byzantines d'Italie, qui, du VI^e au milieu du VIII^e siècle pour l'ensemble de la péninsule et la Sicile, puis du IX^e au milieu du XI^e siècle, pour le Sud seulement, tout en présentant une composition démographique banale pour des pays méditerranéens à l'époque, à cause de la distance qui les sépare des centres de migration, ont interdit à certaines minorités tout espoir de retour en arrière. C'est ainsi que les Slaves et les populations assimilées du VI^e au XI^e siècle, pour ne parler que de la période byzantine, par la continuité de leur migration vers l'Italie permettent de poser un problème général que l'on pourrait intituler, frontière et migration.

Les sources que je vais utiliser à l'appui de ma description ont été recueillies pour deux études, dont l'une, publiée, concerne la haute époque[1], l'autre en cours la basse époque de la domination byzantine en Italie[2]; réunies, elles font apparaitre les éléments de la question posée.

[1] *A. Guillou,* Régionalisme et indépendance dans l'Empire byzantin au VII^e siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie (Istituto storico italiano per il Medio Evo. Studi storici, fasc. 75—76), Rome, 1969, p. 98—108. Je n'utilise pas ici les „signatures" de l'Evangéliaire de Cividale, qui posent encore plus d'un problème (voir *A. Cronia,* Revisione dei nomi slavi nell'antico codex Aquileiensis, dans Studi Aquileiesi offerti a Giovanni Brusin, Aquilée, 1953, p. 357—371); elles ne font que confirmer, du reste, la route du Nord suivie par les Avaro-Sklavènes et les Bulgares.

[2] *A. Guillou,* La société byzantine en Italie du Sud. Documents et problèmes, thème traité au Symposium tenu en mai 1969 au Centre d'Etudes byzantines de Dumbarton Oaks (Washington, D.C.) et qui est intégré dans un ouvrage en cours de rédaction.

*

L'installation d'Avars, de Sklavènes et de Bulgares dans l'exarchat d'Italie est un fait incontestable. Quelques sondages de toponomastique et d'onomastique suffisent à le prouver. C'est ainsi qu'un clerc de Ravenne, nommé Ursus, dans une donation qu'il effectue en 752 au monastère bénédictin des Saints-Apôtres de Nonantola, cite parmi les biens qu'il tient de son père défunt, le duc byzantin de Ravenne, Jean, un *fundus Bodena*, que l'on pouvait prononcer Vodena, toponyme d'origine slave (voda, eau) d'autant plus claire que le texte ajoute, comme pour le traduire *et Aquaviva*. Le site doit être identifié, je pense, avec Bondeno, sur la rivière Panaro, qui servait de frontière entre le royaume lombard et les terres de l'Exarchat proprement dit, duché de l'exarchat d'Italie. Dans un inventaire des biens de l'archevêché de Ravenne, dressé à la fin du X^e^ siècle, on conserve un fragment d'enregistrement d'un contrat d'emphytéose passé au début du IX^e^ siècle entre l'archevêque Pierre et un certain Ursus *Sclavin* (..., suit une lacune que l'on complètera sans peine *Sclavinus*). Dans une donation inédite des archives du monastère Sainte-Croix de Fonte Avellana, au diocèse de Cagli-Pergola, dans les Marches, datée de 1085, est mentionné un *vicus Bulgarum* (ancien *Bulgarorum) qui vocatur Sclavinorum*, non loin des rives du Cesano. Des éléments sklavènes se sont donc établis dans les Marches et on les a confondus ensuite avec les Bulgares, qui les auront suivis en Italie byzantine.

L'établissement de Bulgares a, en effet, laissé des traces dans la toponomastique et même l'onomastique médiévales sur la rive gauche du Cesano: j'ai relevé dans les documents inédits de Fonte Avellana, en suivant le fleuve depuis son embouchure, l'église Saint-Pierre *in Bulgaria*, à Monteporzio, dans un diplôme d'Otton III pour le monastère Saint-Laurent *in campo*, Saint-Gervais de Bulgarie près de Cento Croci de Mondolfo en 1154, église qui existe encore aujourd'hui, Saint-Jean *in Bulgaria* en 1069, une *terra Bulgarorum*, qui peut être seulement un domaine, située dans la région de Rimini; au début du X^e^ siècle, *Bulgarus* est attesté comme nom de famille dans le territoire d'Osimo, au sud d'Ancône. Un document inédit du XI^e^ siècle, enfin, mentionne dans la même région un *vicus Avarum* (pour *Avarorum)*, qui est encore connu au XV^e^ siècle.

De ces bribes d'information qui pourraient, je pense, être complétées par une recherche systématique dans d'autres fonds d'archives latines, je crois que l'on peut déjà déduire que des groupes d'Avaro-Sklavènes et de Bulgares sont venus se fixer dans le nord de l'exarchat byzantin d'Italie.

Les Avaro-Sklavènes ont pu pénétrer dans l'Italie byzantine à deux moments: ou à la fin du sixième siècle ou dans le cours du siècle suivant. Au mois de mai 599, le pape Grégoire le Grand félicite l'exarque Kallinikos des victoires qu'il vient de remporter sur les Slaves (*Sclavi*, Sklavènes ?) et au mois de juillet de l'année 600, il signale à l'évêque de Salone, en Dalmatie, Maxime, que les Slaves *(Sclavi)* sont déjà entrés en Italie par l'Istrie[3].

[3] Voir *A. Guillou*, Régionalisme et indépendance..., Rome, 1969, p. 96 n. 91 où on pourra trouver les références aux sources.

On sait que le prince lombard Agilulf, allié aux Avars et aux Sklavènes, attaquera l'Istrie byzantine[4] et battra les armées byzantines de l'exarchat au début du VIIe siècle[5]. L'Istrie est alors occupée par des Slaves, qui apportent à la terre les bras qui lui faisaient défaut[6]. Des groupes d'Avaro-Sklavènes ont-ils dès ce moment pénétré sur les terres byzantines de la partie septentrionale de l'exarchat par voie de terre ou lagunaire? C'est possible.

En 642, en tout cas, des Sklavènes de Dalmatie, „montés sur de nombreux navires," débarquent au sud du Gargano et installent leur camp près de Siponto; ils étaient en train de creuser des trous dissimulés autour de leur camp, lorsque le duc de Bénévent, Ajo, voulut les attaquer, mais son cheval étant tombé dans l'une des fosses, il fut tué par les Sklavènes. Le duc Radoald, frère d'Ajo, informé de ce qui venait de se passer, gagna aussitôt le camp sklavène et s'adressa aux Slaves dans leur propre langue, ce qui eut pour conséquence, dit le chroniqueur Paul Diacre, de calmer l'ardeur militaire des Sklavènes contre les Lombards et de permettre, un beau jour, à ces derniers de fondre sur eux, d'en massacrer un grand nombre et de chasser les survivants de la région[7]. Ces Sklavènes avaient quitté les côtes dalmates parce qu'ils étaient harcelés, je pense, par les tribus croates, qui venaient d'obtenir de l'empereur Héraclius l'autorisation de s'installer sur le territoire occupé avant eux par les Avaro-Sklavènes, qu'ils avaient écrasés. Si nous ignorons où se sont réfugiés les Slaves battus par Radoald, je pense que le récit de Paul Diacre, destiné à faire l'éloge d'un héros lombard, prouve l'existence au VIIe siècle d'une route maritime d'immigration avaro-sklavène d'un côté de l'Adriatique à l'autre, avec une tête de pont au sud du Gargano[8].

Les chroniqueurs byzantins et occidentaux nous racontent aussi comment vers le milieu du VIIe siècle les Prôtobulgares, vaincus en Pannonie, par leurs voisins avars contre qui ils s'étaient soulevés, demandèrent asile au roi franc Dagobert, qui les installa, — ils étaient 9000 avec les femmes et les enfants —, sur le territoire des Baioarii, puis les fit massacrer; sept cent s'échappèrent avec leur chef Altzek et demandèrent asile à Walluc, chef des Vinidi. Ce sont eux qui, sous le règne de Constant II (641—668), vinrent solliciter du roi lombard Grimoald des terres pour s'y établir. A partir de ce moment, nos informateurs divergent. Paul Diacre, qui ne s'intéresse qu'à l'histoire des princes lombards, dit que le roi lombard adressa les Bulgares à son fils Romuald, duc de Bénévent, qui les accueillit à bras ouverts et leur donna des terres en friches de son duché à Sepino, Boiano et Isernia, non loin de Campobasso. Les sources grecques, qui ignorent l'histoire des duchés lombards, font aboutir la marche d'Altzek, qu'elles ne nomment pas, dans la Pentapole. L'esprit et la qualité de nos sources invitent à ad-

4 Paul Diacre, Historia Langobardorum, éd. L. Bethmann, G. Waitz, Mon. Germ. Hist., Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI—IX, Hanovre, 1878, p. 125.

5 Ibid., loc. cit. et p. 140.

6 Voir *A. Guillou*, Régionalisme et indépendance..., Rome, 1969, p. 97.

7 Paul Diacre, op. cit., p. 135.

8 Voir *A. Guillou*, Régionalisme et indépendance..., Rome, 1969, p. 101.

mettre les deux versions. C'est le seul moyen, d'ailleurs, d'expliquer l'origine des toponymes et des noms de personnes bulgares mentionnés dans les actes de la pratique[9].

Une nouvelle migration slave par le sud du Gargano est consignée dans les annales occidentales. Le 15 juillet 926, elles mentionnent en effet la „prise" de Siponto par Michel, *rex Sclavorum*[10], qui est Michel Vyšević, prince de la tribu des Zachloumjans, fixés sur les bords de l'Adriatique. Les chroniqueurs ne signalent à cette occasion ni pillage, ni destruction, ni prisonniers; je pense donc être en droit de conclure à une occupation pacifique d'une ville, où les Slaves avaient de solides appuis, sans que le gouvernement byzantin de la province ait jugé nécessaire d'intervenir. Et je justifierais cette interprétation par le nombre important d'installations slaves que je connais dans toute la région du Gargano dans la première moitié du XI[e] siècle.

En effet, au mois de juin 1043, un prêtre nommé Skypizo (qui est marié) et son frère Lupulus, fils de Sberagnus, qui habitent Devia, un site disparu du Monte d'Elio, entre le lac de Varano et le lac de Lesina, vendent un bien au monastère Santa-Maria de Tremiti, en présence du župan Andréas[11]; en juin 1050, un certain Jean Cherlicco[12], hiéromoine né à Spalato, donne au même monastère l'église Saint-Sylvestre dans l'île de Busi (=Biševo) sur la côte dalmate, en présence de cinq župans, nommés Radabano, Tichano, Bodidrago, Sedrago et Bergoy, qui s'intitule *judex* ou *rex Maranorum*, voulant signifier par là qu'il a autorité sur les habitants de Varano, centre agricole qui domine le lac du même nom[13]; en octobre 1053, un habitant de Devia, Sariano, âgé et malade, donne une terre au monastère bénédictin de Tremiti, les confins des biens sont décrits et j'y relève la vigne d'un Syméon, fils d'Ibazza, celle d'un Draia, fils de Radavit, d'un autre Draia, fils d'Ibanizzo, etc., et le premier témoin qui souscrit cette donation est le župan Glubizzo[14], que l'on retrouve, l'année suivante (mars 1054), à Devia, avec le comte normand du lieu, un certain Robert, parmi les donateurs d'un bien-fonds toujours à Sainte-Marie de Tremiti, dont les noms sont Ibanus, fils de Polcagnus, Laccla, fils de Sinogla, Ursus, fils de Belcanigco, Kosmas, fils d'Ibano Albo[15]. Un descendant d'une famille slave réside à Vieste en 1152—1153; il se nomme *Robertus Sclavus*, il est avocat

---

[9] Ibid., p. 102—103.

[10] Annales Barenses, éd. G.H. Pertz, Mon. Germ. Hist., Scriptores, t. 5, Hanovre, 1844, p. 53 (an. 928), Lupus Protospatharius, ibid., p. 54 (an. 926).

[11] Codice diplomatico del monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005—1237), éd. A. Petrucci (Istituto storico italiano per il Medio Evo.Fonti, 98), Rome, 1960, No.32. Sur les župans, on lira *V.P. Gračev*, Iz istorii izučenija slavjanskich srednevekovych institutov. Vopros o Županach i Županach v istoriografii (= L'histoire de l'étude des institutions slaves au Moyen Age. Le problème des župans et des županats dans l'historiographie), Učenye zapiski instituta slavjanovedenija, 29, 1965, p. 178—209.

[12] S. Maria di Tremiti, éd. cit., No 42.

[13] S. Maria di Tremiti, éd. cit., index s.v.

[14] S. Maria di Tremiti, éd.cit., No 48.

[15] S. Maria di Tremiti, éd.cit., No 51.

du monastère de Tremiti[16]. Au lieu de chercher, comme on l'a fait, si Michel Vyšević débarquant à Siponto venait y attaquer les Byzantins ou, au contraire, combattre des troupes arabes, pour le compte des Byzantins[17], il me parait plus simple de penser que tous ces Slaves et leurs župans, comme Michel Vyšević, avaient fui leur pays au moment de son occupation par Syméon de Bulgarie à la fin du premier quart du Xe siècle[18], suivant une route d'émigration connue depuis trois siècles. Implantation slave donc au nord du thème de Longobardie aussi.

Présence de Slaves encore dans la capitale de ce thème, puisqu'en 1057 un habitant de Bari promettant au père, Jean, d'épouser sa fille Alfarana, s'engage à remettre à celle-ci 50 sous d'or en donation et une servante célibataire en bonne santé d'origine slave *(ex genere Sclavorum)*[19]; et qu'en 1071 une chronique mentionne le meurtre à Bari d'un certain Byzantius Guirdelikku, dont l'origine slave est également claire[20].

Passage de Bulgares dans la région de Rossano, siège épiscopal et grand centre culturel du thème de Calabre, puisqu'au Xe siècle, la tête recouverte d'une peau de bête et un bâton à la main on y est pris pour un moine bulgare, (c'est-à-dire peut-être bogomile ?)?[21] Présence de Slaves encore au nord de la Calabre vers le milieu du XIe siècle: Robert Guiscard utilisera leur connaissance du terrain, au moment de la conquête normande[22]. Présence de Slaves encore beaucoup plus au Sud et dès le Xe siècle. En 981, en effet, Otton écrase près de la *civitas Columnae*, que l'on place près de Crotone (Capo Colonne) ou de Stylo (στῦλος, colonne)[23], 40000 *Pagani* conduits par leur roi *Bullicassinus*. Cette notice importante de l'annaliste latin Lupus Prôtospathaire est, curieusement, restée muette jusqu'à présent aux historiens. Elle complète heureusement les mentions précédentes. Les *Pagani*, en grec Παγανοί, sont des Narentans, Slaves qui habitaient le long de la rivière Neretva en Dalmatie. Ceux-ci (le chiffre de

---

[16] S. Maria di Tremiti, éd.cit., No 107; il souscrit déjà le 15 mai 1152 dans un groupe de témoins à Tremiti (ibid., No 106).

[17] Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio. Vol II, Commentary, edited by R.J.H.Jenkins, Londres, 1962, p. 123, 134, 137, 141—142.

[18] Constantin Porphyrogénète, op.cit., Greek Text Gy. Moravcsik, English Translation, 2e éd. (Corpus fontium historiae byzantinae, I), Dumbarton Oaks, Washington, D.C., 1967, § 32,1. 92—101. Voir *F. Dvornik*, The Slavs. Their Early History and Civilization, Boston, 1956, p. 130—134.

[19] Codice diplomatico barese, t. IV, éd.Fr.Nitti di Vito, Bari, 1900, No 36.

[20] Lupus Protospatharius, éd.cit., p. 60 (an. 1071). Sur l'étymologie de ce nom on consultera *F. Miklosich*, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Vienne, 1886, s.v.cirulikŭ.

[21] Vie de s.Nil, éd. Acta sanctorum, Sept. VII, p.286, ch.41. Pour l'interprétation religieuse, on lira *I. Dujčev*, La Bulgaria medievale fra Bisanzio e Roma, Felix Ravenna, 3e sér., 46, 1968, p. 87.

[22] Gaufredus Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris ejus, L.1, ch.16, éd.E. Pontieri, Rerum italicarum scriptores, t.5, Bologne, 1927, p.16. Une troupe de Slaves (de son armée?) tentera de tuer le compte Roger en 1079 en Sicile (ibid., p.56).

[23] Voir *J.Gay*, L'Italie méridionale et l'empire byzantin... (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 90), p. 337, n.4.

40000 est bien sûr fantaisiste) ont passé l'Adriatique pour la même raison, je pense, que leurs voisins Zachloumjans; ils pouvaient être des Serbes, quoiqu'on ait prétendu le contraire[24], le nom de leur chef, Vûlkašin *(Bullicassinus)*, est en tout cas typiquement serbe[25].

★

L'exarchat byzantin d'Italie du VI[e] au milieu du VIII[e] siècle comme le katépanat du IX[e] au XI[e] siècle ont connu une population composite, dont on ne peut encore évaluer que très approximativement les pourcentages, de Latins, de Goths, d'Orientaux et de Grecs, puis d'Arabes, de Juifs aussi. Les étrangers, venus en Italie y exercer des fonctions officielles (militaires ou civiles) ou se livrer à leur négoce, s'y sont installés dans le cadre de leur profession ou y sont demeurés après leurs années de service actif; ils pouvaient aussi rentrer dans leur pays, je veux dire qu'ils étaient des membres „considérés" (ἀξιόλογοι) de la société byzantine. On peut leur assimiler les Slaves des armées byzantines ou lombardes, dont certains, sans aucun doute, sont restés dans la péninsule.

Tout autre, pour l'histoire générale et le tableau démographique de la région, est le cas des Avars, de ces Sklavènes, de ces Bulgares et de ces Serbes, dont j'ai cité quelques exemples parmi d'autres, qui parviennent dans les provinces occidentales de l'empire byzantin. Ultime étape d'une migration massive dans son principe, qui s'est opérée par saccades, et dont ils sont les résidus.

La frontière lointaine qu'ils atteignent prend alors tout son sens dans l'histoire de la démographie et de l'économie de la région, car on les y attendait, si j'ai bien défini les éléments du problème. Il ne s'agissait que de cela.

---

[24] Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, Comm.cité, p.164 (F. Dvornik).

[25] Voir *F.Miklosich,* Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Heidelberg, 1927, p. 43.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

CYRIL MANGO

EUDOCIA INGERINA, THE NORMANS, AND THE MACEDONIAN DYNASTY

Few problems of medieval history have been debated so passionately and at such inordinate length as that of the origins of the Russian state and, within that context, that of the earliest contacts between Byzantium and the Normans. For our present purpose we need remember only that the first attestation of such contacts is contained in a famous passage of the *Annales Bertiniani* which records that on May 18, 839 Lewis the Pious received at Ingelheim a Byzantine embassy which was accompanied by certain persons called Rhos; that these persons had been sent to Byzantium on a good-will mission *(amicitiae...causa)*, and that in his letter to Lewis the Emperor Theophilus had requested a safe passage for the Rhos, now homeward bound[1]. We are not here concerned with the many thorny questions that are posed by this passage, e.g. whether the Rhos had come from Kiev or from elsewhere; why their king was called *chacanus;* which were those *barbarae et nimiae feritatis gentes inmanissimae* that prevented their return to their country of origin by the same route they had followed to Constantinople[2]. The only point we should like to stress—and this can hardly be doubted—is that in 839 the Byzantine government and the Rhos were on friendly terms. The next recorded contact between the two—setting aside the alleged Russian raid on Amastris before 843 which I am unable to accept—was of a less friendly nature: it was the attack on Constantinople in June 860. The timing of this attack shows, incidentally, that the Russian Vikings were well informed of Byzantine military plans[3].

There appears to be yet another piece of evidence that has been surprisingly neglected in the voluminous literature devoted to *Byzantinorussica*. The person of Eudocia Ingerina, the mistress of Michael III and thereafter the wife of Basil I, needs no introduction. She is described in our

[1] Ed. *G. Waitz*, Script. rer. germ. (Hannover, 1883), 19 f.

[2] For a discussion of the subject see, e.g., *A.A. Vasiliev*, The Russian Attack on Constantinople in 860 (Cambridge, Mass., 1946), 6 ff.; *A. Stender-Petersen*, „Das Problem d. ältesten byzantinisch-russisch-nordischen Beziehungen," Relazioni del X Congr. Intern. di Scienze Storiche, III (Florence, 1955), 174 ff.

[3] *J. B. Bury*, A History of the Eastern Roman Empire (London, 1912), 421.

sources as Ἰγγερίνα or Ἰγγηρίνα or as ἡ τοῦ Ἴγγερος, i. e., daughter of Inger[4]. We are not the first to have noticed that the name Inger appears to be Scandinavian, equivalent to Ingvarr, i.e. Igor: both D. Obolensky[5] and the late Romilly Jenkins[6] have made this observation without, however, drawing any further inferences from it. It is true that in Greek documents Ingvarr is usually rendered by Ἴγγωρ or Ἴγγορ, but Liudprand preserves the identical form, *Inger*[7]. If our supposition is correct, some interesting consequences will have to be explored.

Setting aside Eudocia's father to whom we shall presently return, the name Inger occurs, as far as I know, only once in Byzantine sources: it is that of an iconoclast metropolitan of Nicaea, ca. A.D. 825. This man is known from the two Lives of St. Ioannicius, both of which tell substantially the same story. In 825 Ioannicius undertook a mission with a view to freeing the Byzantine prisoners held by the Bulgarians. After he had returned to his mountain, he was visited by Antony, abbot τῶν Ἐλαιοβώμων (modern Kurşunlu)[8], and the latter's *oikonomos* Basil. Ioannicius asked Antony to convey a message to Inger (Ἴγγερ in the Life by Sabas, Ἥγγερ in the Life by Peter): he should abandon iconoclasm because his death was approaching. Antony refused the mission knowing the bishop's stern character, but Basil agreed to perform it. Inger began by repenting, but soon he lapsed again. Fifteen days later he died suddenly while sitting on his throne[9].

The above incident is dated ca. 827 by the Bollandist Van den Gheyn[10], but this is only an approximation. Inger must have succeeded Peter who died on December 10 or 11, 826, but had been deposed earlier from the see of Nicaea[11]. The next bishop after Inger was probably Ignatius, the bio-

[4] The spelling varies slightly: ἡ τοῦ Ἴγγερος: Leo gramm., ed. Bonn, 230, 252, 255; Georgius monachus, ed. Bonn, 816; Theodosius Melitenus, ed. Tafel, 160, 176; Vat. gr. 153, ed. *V.M. Istrin*, Khronika Georgija Amartola, II (Petrograd, 1922), 4, 17; Theoph. Cont., ed. Bonn, 235; Genesius, ed. Bonn, 111; Cedrenus, ed. Bonn, II, 198; τοῦ Ἴγγηρος: Georgius mon., 838; τοῦ Ἴγκηρος: Zonaras, ed. Bonn, III, 414; Ἰγγερίνα: Leo gramm., 250; Vat. gr. 153, ed. *Istrin*, 11, 15; Ἰγγιρίνα: Leo gramm., 242, 249; Theod. Mel., 169, 174, 175; Ἰγγηρίνα: Georgius mon., 828, 835, 836; ps.-Symeon, ed. Bonn, 675, etc.

[5] Constantine Porphyrogenitus, De adm. imp., Commentary, ed. *R.J.H. Jenkins* (London, 1962), 28 f.

[6] Byzantium: The Imperial Centuries (London, 1966), 159.

[7] Antapodosis, V. 15, ed. *J. Becker*³, Script. rer. germ. (1915), 138 and 129 (table of contents of Bk. V). Cf. *V. Thomsen*, The Relations between Ancient Russia and Scandinavia (Oxford and London, 1877), 135.

[8] On this monastery see my article, „The Monastery of St. Abercius at Kurşunlu (Elegmi) in Bithynia," Dumbarton Oaks Papers, 22 (1968), 169 ff.

[9] Vita by Sabas, § 30, ASS, Nov. II/1, 360; Vita by Peter (a little more detailed), § 38, ibid., 406. The Metaphrastic Life of St. Ioannicius, PG 116,69 B, adds the further information that Inger had been a renowned ascete and was appointed for this reason to the see of Nicaea: κατ' ἐκεῖνο τοίνυν καιροῦ Ἴγγερ ἐκεῖνος ὥσπερ ἄνθεσιν ἐαρινοῖς τοῖς ἀσκητικοῖς πόνοις ἐκόμα. ἐντεῦθεν καὶ πρόεδρος τῆς τῶν Νικαέων ἐκκλησίας ἀνεδείχθη. πλὴν ἀλλὰ τὸν καρπὸν τῆς ὀρθῆς πίστεως οὐκ εἶχε, etc.

[10] ASS, Nov. II/1, 364, note 1.

[11] *J. Pargoire*, „Saints iconophiles," Échos d'Orient, 4 (1900/1), 353 f.

grapher of the Patriarchs Tarasius and Nicephorus, but we do not know when he was appointed. An attentive study of the correspondence of Ignatius, on which I am now engaged, may eventually throw some light on this problem. The reason why Inger is not designated by his Christian name in the Lives of St. Ioannicius is probably to brand him not only as a heretic but also as a barbarian.

Next we come to Eudocia Ingerina. In reconstructing her career, we must remember that our sources fall into two categories: first, the official myth of the Macedonian dynasty (Theophanes Continuatus, Genesius, the Funeral Oration by Leo VI); second, Symeon the Logothete. The Logothete shows an intimate knowledge of court gossip relating to the reign of Michael III, especially its latter part, and much of it rings true. His source cannot, however, be identified. Bury postulated a lost „Amorian Chronicle"[12], but such is the chronological inaccuracy of this part of the Logothete's account[13], that it could hardly have been based on a set of annals. More recently, A.P. Každan has argued that the Logothete had before him for the reign of Michael III a lost biography of Basil I, a biography that was highly critical of its hero, in short a *psogos*[14]. Whether this is so or not, the Logothete's source must have been close to the events of the 860'ies.

It is recorded that Michael III contracted his liaison with Eudocia in or about the year 855; that she was hated by the Empress Theodora and her chief minister Theoctistus for being impudent (δι' ἀναίδειαν); and that, to break up this association, Theodora made her son marry another Eudocia, the daughter of a certain Decapolites[15]. In 855 Michael was fifteen years old, having been born in January 840[16]. Eudocia could hardly have been much younger and may, indeed, have been slightly older than her imperial companion. Provisionally, we may place the date of her birth also ca. 840.

Our sources are extremely vague about the identity of Inger. The Logothete does not qualify him in any way, while the „Macedonian myth" merely stresses his nobility and good judgment: ἡ (Eudocia) θυγάτηρ ἐτύγχανε τοῦ παρὰ πάντων ἐπ' εὐγενείᾳ καὶ φρονήσει λαλουμένου τότε τοῦ Ἴγγερος[17]. Only in much later, derivative sources does Inger appear as a συγκλητικός[18]. Why this reticence? Eudocia was certainly a lady of good family who be-

[12] Eastern Roman Empire, 458 f.

[13] Cf. *R.J.H. Jenkins*, „The Chronological Accuracy of the 'Logothete'" Dumbarton Oaks Papers, 19 (1965), 95.

[14] „Khronika Simeona Logofeta," Viz. Vrem., 15 (1959), 139.

[15] Leo gramm., 229 f. I refrain from quoting the other printed versions of the Logothete's Chronicle.

[16] *C. Mango*, „When was Michael III born?" Dumbarton Oaks Papers, 21 (1967), 253 ff.

[17] Vita Basilii, 235.

[18] Ioannes Lazaropoulos, Synopsis of the miracles of St. Eugenius in *A. Papadopoulos-Kerameus*, Sbornik istočnikov po istorii Trapezundskoj Imperii, I (St. Petersburg, 1897), 79. This text was brought to my attention by Prof. N. Panayotakis.

longed to court circles. The only plausible explanation is that Inger, like his namesake, the bishop of Nicaea, was an iconoclast[19].

Scylitzes-Cedrenus[20], while repeating the above-quoted passage of the *Vita Basilii*, adds a vital piece of information: αὕτη δὲ ἦν θυγάτηρ τοῦ παρὰ πάντων ἐπὶ φρονήσει καὶ εὐγενείᾳ διαβοήτου Ἴγγερος, τοῦ γένους καταγομένου τῶν Μαρτινακίων. This has been accepted by the majority of historians, rejected by a few[21]. Yet the statement that Eudocia belonged to the family of the Martinakioi is undoubtedly correct. There are two proofs of this:

1) In or about the year 837[22] the Emperor Theophilus is said to have had recourse to an Arab prophetess who foretold him the following: a) that he would be succeeded by his son and his wife; b) that thereafter the Martinakioi would occupy the throne for a long time (μετέπειτα δὲ τοὺς Μαρτινακίους ἐπὶ πολὺ τῆς βασιλείας κατασχεῖν), whereupon Theophilus caused that same Martinakes who was a distant relative of his (τοῦτον τὸν Μαρτινάκην, καί τοί γε προσῳκειωμένον αὐτῷ πως κατὰ συγγένειαν) to become a monk and to convert his house into a monastery; c) that John the Grammarian would be removed from the partiarchal throne (he had just been appointed), and that the worship of icons would be re-established, etc.[23] Evidently, these alleged prophecies are quoted because they came true, and it is only on the assumption that Eudocia Ingerina was of the Martinakes family that the text makes sense.

2) The *Menologium Basilianum*, in its notice of the Empress Theophano, first wife of Leo VI and likewise a member of the Martinakes family, says that she was the daughter of one Constantine *illustris*, who was related to three emperors (συγγενοῦς βασιλέων τριῶν)[24]. I assume this means that Constantine was related to three emperors in addition to being the father-in-law of Leo VI. If the emperors in question are Theophilus, Michael III and Basil I, the necessary link with the last must have been provided by Eudocia.

We may now assemble what little information we possess concerning the house of the Martinakioi. The earliest member of the family known to us appears to be Anastasius, an iconoclast government official who ca. 817

---

[19] This was rightly pointed out by *A. Vogt*, „La jeunesse de Léon VI le Sage," Rev. hist., 174 (1934), 24 n. 1 (pagination of offprint), who further attributed to the iconoclast leanings of the Martinakioi Theodora's hatred of Eudocia.

[20] Bonn ed., II, 198.

[21] E.g. by *E. Kurtz*, Zwei griech. Texte über die hl. Theophano, Mém. de l'Acad. Imp. de St.-Pétersbourg, 8ᵉ sér., III/2 (1898), 49.

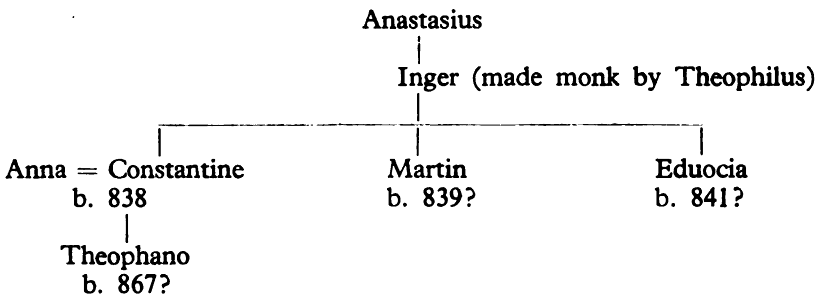
[22] The incident is placed immediately after the elevation of John the Grammarian to the patriarchal throne, 21 April (really January), 837, and a year earlier than the construction of Sarkel on the Volga (presumably in 838). On the latter see now *H. Ahrweiler*, „Les relations entre les Byzantins et les Russes au IXᵉ s.," Assoc. Intern. des Études Byz., Bull. d'inform. et de coordination, 5 (1971), 48. In 837, of course, Michael had not yet been born, but since we are dealing with a prophecy, no formal contradiction is involved.

[23] Theoph. Cont., 121; Genesius, 70.

[24] PG 117, 209B.

was sent to Bonita in Asia Minor and who inflicted physical punishment on St. Theodore the Studite, then serving his third exile[25]. The second member — unless he is the same as Anastasius — is the Martinakes (Christian name not given) whom Theophilus forced to become a monk, and who was evidently a person of some importance[26]. Some 45 years later we encounter the family of the Empress Theophano, herself „born of imperial blood, from among the Martinakioi of ancient splendor," viz. 1. Her father Constantine, by rank *illustris*, later promoted to patrician, married to a lady called Anna, a native of Asia Minor;[27] 2. Her uncle, the *atriklines* Michael, at whose behest the *Vita Theophanous* was composed[28].

On the basis of the above data, two scholars have attempted to reconstruct the genealogy of the Martinakioi. The first attempt, by Loparev, may be represented as follows (the dates are his)[29]:



This tree is, however, patently incorrect since it indicates that Leo VI married his first cousin. The relationship of Eudocia to the brothers Constantine and Martin must surely have been considerably more distant. The second genealogy, that by Vogt[30], I find incomprehensible in the form in which it is printed. In fact, our evidence is too fragmentary to be reduced to a diagram. If Inger, Eudocia's father, was the person who was made a monk by Theophilus, we would have to conclude (provided the prophetic incident is correctly dated), that she was born not later than 837, i. e. that she was at least three years older than Michael III. But of this we have no proof.

---

[25] Vita A S. Theodori, PG 99, 196A, 204A (without family name); Vita B, ibid., 292 C-D ('Αναστάσιος ὄνομα, τοῦ γένους τῶν Μαρτινακίων λεγόμενος), 293B (κατὰ πρόσωπον τοῦ Μαρτινάκι μαστίζει αὐτόν). Cf. *A. Gardner*, Theodore of Studium (London, 1905), 173; *A.P. Dobroklonskij*, Prep. Feodor ispovednik i igumen Studijskij, I (Odessa, 1913), 787 f.

[26] The Patria CP, ed. *Preger*, Script. orig. Constant., II (1907), 249, § 98 probably refers to the same person, but confuses both his dates and his identity in saying, Τὴν μονὴν τοῦ Μαρτινάκη ἀνήγειρεν Μαρτινάκης πατρίκιος ὁ θεῖος τῆς ἁγίας Θεοφανοῦς ἐν τοῖς χρόνοις Βασιλείου καὶ Μιχαήλ.

[27] *Kurtz*, Zwei griech. Texte, 2, § 2.

[28] Ibid., 21, § 30.

[29] ŽMNP, 325 (Oct. 1899), 345 f.

[30] „La jeunesse de Léon VI," 24 n. 1.

We know nothing of Eudocia's life between the years 855 and 865. Presumably she remained the Emperor's mistress. At the same time a façade of respectability was kept up, or so I suspect. It is noteworthy that while the Caesar Bardas was openly censured for his sexual behavior[31], no such accusation is made against Michael, even in the „Macedonian sources" which blacken his character in every possible way[32]. Certainly, he did not repudiate his legitimate wife, Eudocia Decapolitissa, for whom he appears to have had little use.

In 865 Basil the Macedonian was made patrician and *parakoimomenos*, a post usually occupied by a eunuch[33]. Then — we do not know the exact date — a curious matrimonial arrangement was forced on him. Now, Basil was already married to a certain Maria and had probably two children: Constantine, born ca. 859[34], and Anastasia who, if she was married to the general Christopher, could not have been born later than 856[35]. Basil, we are told, was made to divorce his wife, who was packed off to Macedonia with a large sum of money, and to marry Eudocia on condition that he treated her as his „lady" (διορισάμενος αὐτῷ κυρίαν αὐτὴν ἔχειν· ἦν γὰρ αὐτὴ τοῦ βασιλέως παλλακὴ καὶ πάνυ ἠγάπα αὐτὴν ὡς εὐπρεπῆ). As a consolation prize, Basil was given Michael's sister Thekla as a mistress (τοῦ ἔχειν αὐτὴν ἰδίως) — she had been a nun, and may have been then about forty

---

[31] *Bury*, Eastern Roman Empire, 188. Some curious information on Bardas's matrimonial affairs is contained in the Vita S. Irenes in Chrysobalanto which states that he married the sister of St. Irene and that this happened after (ὕστερον) the marriage of Michael III (ASS, July VI, 604 D). In another passage (616D), we are told that she was Bardas's *last* wife (γυναῖκα... ὑστάτην). Unfortunately, the chronology of the Vita is altogether unreliable: it tells us, e.g., that Irene, while bound for Constantinople to take part in the brideshow that was being arranged for Michael III (hence in 855), visited St. Ioannicius on Mt. Olympus (d. 846!) and that she was later appointed abbess by the Patriarch Methodius (d. 847!): ibid., 609 B-C.

[32] Cf. *Jenkins*, „Constantine VII's Portrait of Michael III," Acad. Roy. de Belgique, Bull. de la Cl. des Lettres, 5e sér., 34 (1948), 76, who offers a different explanation of this omission.

[33] It is probably for this reason that Jenkins charges Michael with homosexuality. On the office see *R. Guilland*, Recherches sur les institutions byzantines, I (Berlin-Amsterdam, 1967), 202 ff., who observes (p. 203): „Bien que la dignité de parakimomène fût la plus haute qui fut réservée aux eunuques, elle fut accordée toutefois, à un certain nombre de personnages qui ne furent pas eunuques."

[34] *Vogt*, Basile Ier, 58 f.

[35] The question of Basil's daughters is rather complex. We know from the Book of Ceremonies, Bonn ed., 648 f., that there were four of them, viz. Anastasia, Anna, Helena and Maria. The last three were born in the purple if one may trust the 16th-century copy of an inscription on the walls of the Golden Horn: Κύριε βοήθει Λέοντος δεσπότη [sic], Ἀλεξάνδρου, Κωνσταντίνου [VII], Ἄννης, Ἑλένης, Μαρίας τῶν πορφυρογεννήτων (*A.M. Schneider*, „Mauern und Tore am Goldenen Horn zu KP," Nachrichten d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Phil.-Hist. Kl. 1950, 98 and fig. 3). Unless, therefore, Anastasia had died earlier (the inscription must have been put up between 906 and 912), she could not have been born in the purple. Furthermore, if the general Christopher, the victor over the Paulicians in 872, was indeed Basil's son-in-law (he is described as his γαμβρός: Leo gramm., 255), he must have been married to Anastasia, since the other three girls were all born after 867.

years old[36]. Is this extraordinary story true? We have two pieces of corroborative evidence: 1. It is repeated in substantially the same form in a source independent of the Logothete, viz. the Annals of Eutychius of Alexandira (d. 940)[37]. 2. Some time after 870 Thekla sent a man on business to Basil who asked him, „Who is your lady's lover?“ (τίς ἔχει τὴν κυρίαν σου); He answered, „Neatokomites“. Basil became furious, made Neatokomites a monk, and ordered Thekla to be beaten and deprived of all her property[38]. It is true that Basil had good reason to dislike Neatokomites[39]; even so, his fit of fury can best be explained, I think, if Thekla had previously occupied some place in his life.

Now we should look closely at the dates. Basil married Eudocia not earlier than 865; Bardas was „framed“ and murdered by Basil in Michael's presence on April 21, 866; Basil was hastily crowned co-emperor on May 26; and Leo VI was born to Eudocia on September 1, according to the Logothete[40], or September 18 of the same year, according to Grumel[41]. This means that at the time of Basil's coronation in May, Eudocia must have been visibly pregnant.

The Logothete, of course, states explicitly that Leo was Michael's son; he implies the same of Stephen, and says that only Alexander was a legitimate son of Basil's[42]. These allegations were accepted by historians up to, and including Vogt's *Basile Ier* (1908). Bury, writing in 1912, rightly pointed out that „In the case of such an arrangement *à trois*, it is, of course, impossible for us, knowing so little as we do, to accept as proven such statements about paternity“[43]. Today, however, all historians take it for a fact that, on the contrary, Leo was Basil's son. Jenkins puts it like this: „Leo was not Michael's child because Micheal had no children, and in all probability could not have any, either by Eudocia or by anybody else. How far his homosexual tendency and his incurable alcoholism contributed to this state of affairs we need not now enquire, although contemporaries did; but the fact seems to be indisputable“[44]. This *revirement* of historians is due to an article by Adontz[45] who based himself on the then recently

---

[36] Leo gramm., 242. Theophilus was married in 821, and Thekla is described as the eldest of his five daughters. Both Brooks and Bury have argued, however, that Maria was the eldest. The evidence is clearly presented in *Bury*, Eastern Roman Empire, 465 ff.

[37] Trans. M. Canard in *Vasiliev*, Byzance et les Arabes, II/2 (Brussels, 1950), 25.

[38] Leo gramm., 256. For a textual comment on this passage see *Jenkins*, „The Chronological Accuracy,“ 100 n. 40.

[39] One day before Bardas's murder, Neatokomites tried to warn him of the impending danger: Leo gramm., 244.

[40] All the chronicles give Sept. 1, indiction 15, except Leo gramm., 249, who by mistake has December 1.

[41] „Notes de chronologie byzantine,“ Échos d'Orient, 35 (1936), 331 ff.

[42] Leo gramm., 255. Jenkins is, I think, undoubtedly right in arguing that Alexander was younger than Stephen: „The Chronological Accuracy,“ 98 ff. Is it perhaps significant that of all of Basil's and/or Eudocia's children, Alexander is the only one to have been buried in the same sarcophagus with his parents (De Cerimoniis, 643)?

[43] Eastern Roman Empire, 169, n. 5.

[44] The Imperial Centuries, 198 f.

[45] „La portée historique de l'oraison funèbre de Basile Ier,“ Byzantion, 8 (1933), 501 ff.

published Funeral Oration by Leo VI. We shall presently come back to the Oration; for the moment we need note only that it is a document of the most patent insincerity, and does not prove anything at all. Adontz, an Armenian, was simply bent on showing that the Macedonian dynasty was of Armenian origin.

If Michael's behaviour was at all rational, I can suggest only one explanation of the events of 866. In the spring of that year, say in March, he realized that Eudocia was pregnant; he wanted the child to be imperial. He could, of course, have divorced his wife and married Eudocia, which would have caused great scandal, not to speak of the reaction of his mother who by then was beginning to come out of her seclusion and who probably always retained considerable influence over him. So he hit on an ingenious plan. He would arrange a nominal marriage between Eudocia and Basil, and make the latter co-emperor[46]. This necessitated the hasty liquidation of Bardas and Basil's equally hasty coronation. Eudocia was probably crowned at a private ceremony.

But let us go on with the story to see if it bears out our theory. After recording Leo's birth, the Logothete tells us that Michael gave a big party with horse-races at the palace of St. Mamas. What was he celebrating if not the birth of his son? He naturally won the race and was praised for his skill by the patrician Basiliskianos. Thereupon, Michael ordered, in Basil's presence, that Basiliskianos should put on the imperial buskins. It was an awkward moment, and everyone hesitated. Getting angry, Michael said to Basil: „They [the buskins] suit him better than they suit you. Don't I have the authority, as I have made you emperor, to make another?" Evidently, Basil, having performed his function could now be dispensed with or, at any rate, neutralized. But what of Eudocia? She burst into tears and said, „The imperial dignity, O my lord, is a great thing and I, too, was unworthy to have been honoured with it (καὶ ἀναξίως καὶ ἡμεῖς ἐτιμήθημεν). It is not right that it should be treated with contempt"[47]. A very true and astute statement. The whole tragicomedy had been mounted for her benefit: which way was she to turn now?

On September 24, 867 Michael was murdered, perhaps with Eudocia's complicity. She was immediately escorted to the imperial palace „with great honour." The other Eudocia, the unfortunate Decapolitissa, was returned to her parents. And Michael was inconspicuously buried at Chrysopolis.

If Stephen was in fact born in November 867, then Eudocia must have been seven months pregnant when Michael was murdered[48]. What we know of her subsequent career is briefly the following. She bore Basil one son, Alexander, and probably three daughters who were made nuns by their father[49]. In or about 878 she had an affair with a certain Xylinites who

---

[46] For what it is worth, we have a direct confirmation of our theory in Zonaras, ed. Bonn, III, 415: ὡς ἐγκύου τῆς Εὐδοκίας οὔσης ὅτε τῷ Βασιλείῳ συνῴκιστο.

[47] Leo gramm., 249.

[48] So *Jenkins*, „The Chronological Accuracy," 99.

[49] On the daughters see supra, note 35.

was punished by being made a monk (but was later promoted to *oikonomos* of St. Sophia by Leo VI)[50]; in 879 Basil's eldest son, Constantine died; in 882 she engineered Leo's marriage to one of her own relatives, Theophano; and late in the same year or early in 883 she died, being then 43/46 years old.

★

A word about Leo's marriage. We have two versions: Leo's own statements as reported in the *Vita Euthymii*[51] and the official version of the *Vita Theophanous*. In the first Leo is made to say: „All the members of the Senate know that I married her against my will, from fear of my father and in utter distress." Indeed, history had repeated itself. Leo had a mistress, Zoe, daughter of the Armenian Zaoutzas, who was captain of the imperial bodyguard. When, after the marriage, the pious Theophano became aware of this liaison, she reported the matter to the Emperor. Whereupon Basil seized Leo by the hair, threw him to the ground and beat him with his fists. This is the unofficial and, I suspect, the true version.

The *Vita Theophanous*, commissioned by the lady's uncle, tells quite a different story[52]. The customary bride show was arranged for Leo; beautiful maidens were collected from the provinces and, at Eudocia's instigation, from Constantinople as well. Among the latter was Theophano, daughter of Constantine Martinakios. Now, believe it or not, Eudocia had never heard of her. But when she came to inspect the maidens, she was immediately attracted by Theophano; she questioned her and found out that the latter was of „imperial blood," whereupon, she took her straight to Basil, who confirmed the selection by placing a ring on Theophano's finger. Poor Leo does not seem to have been consulted.

The next year (883), after Eudocia's death, Leo appears to have plotted against Basil's life. This was betrayed by Santabarenus, and many conspirators were arrested. Among the suspects was the Byzantine commander-in-chief on the Arab front. Leo was placed under arrest and, as Jenkins has shown, remained in gaol for three years: Basil even wanted to have him blinded[53]. While he was out of the way, another plot on Basil's life was hatched by John Kourkouas and sixty-six noblemen. This, too, was betrayed — on March 25, 886. On July 20, Leo was released — perhaps because it was clear that he was not implicated in the second plot. Leo even went out in public procession with Basil, and the people shouted „Glory be to God!" To which Basil replied: „Are you praising God on account of my son? You will suffer many misfortunes and painful days on his account"[54].

---

[50] Leo gramm., 257.

[51] VII. 5 ff., ed. *de Boor*, 20 f.; ed. *P. Karlin-Hayter* (Brussels, 1970), 38 ff.

[52] Ed. *Kurtz*, 5 f., §§ 8—10.

[53] „The Chronological Accuracy," 101 ff.

[54] Leo gramm., 260 f.

On August 21, Basil fell victim to a plot which left him with fatal wounds[55]. The practical arrangements were probably in the hands of Stylianus Zaoutzas, the father of Leo's mistress, but Leo must have been aware of what was going on.

The first act of the new reign was to collect the remains of Michael III at Chrysopolis and convey them with full imperial honors to the church of the H. Apostles. Leo even forced his brothers to accompany the procession[56]. Such were the relations between Leo and Basil.

Finally, we come to the Funeral Oration, delivered when Leo was twenty-two, i. e. in 888. He tells us that Basil was the most splendid man that ever lived and that he was descended from the royal house of Armenia; that Eudocia was the most beautiful, aristocratic and virtuous woman that ever lived; Michael could have married her, but Divine Providence had predestined her for another; that Basil and Eudocia attained to the imperial dignity against their wishes and without doing any violence; and that then Michael departed from life by God's „inscrutable judgment", etc[57]. Now, this is the document, redolent of filial affection, on which Adontz based the legitimacy of Leo VI. We may imagine that the young man was pretty embarrassed at having to tell such a string of lies and half-truths. Why did he do so? The answer is clear: he had gone too far in dissociating himself from his predecessor, in suggesting to all and sundry that he was not Basil's son. The interests of state and dynasty had to be safeguarded, and it was probably Stylianus Zaoutzas himself, Basil's murderer, who suggested the speech.

★

We may now attempt to draw some conclusions. We have encountered two men called Inger, the first being a metropolitan of Nicaea ca. 825, while the second was Eudocia's father, somehow related[58] to the Martinakioi, an iconoclast family that claimed a distant kinship with the Amorian dynasty. The name Martinakes („little Martin") points to a western or a Balkan[59]

[55] *Vogt*, „La jeunesse," 38 ff. As pointed out by Jenkins, „The Chronological Accuracy," 103 n. 57, Basil's murder is explicitly recorded by Tabari: *Vasiliev*, Byzanze et les Arabes, II/2, 10.

[56] Leo gramm., 262 f.

[57] *A. Vogt* and *I. Hausherr*, Oraison funèbre de Basile Ier, Orient. Christ., 36/1 (No. 77), 1932, 44, 52, 54, 56. On close reading certain passages of the Oration yield interesting insights, e.g. the statement on p. 56, οὐ βιασάμενοι οὐδὲ ἅρπαγμα τὴν ἀρχὴν ποιησάμενοι, ἀλλ' ἄκοντες ἐπὶ τοῦτο καταστάντες. If our explanation of the events is correct, Basil may well have been in two minds about accepting the crown on Michael's terms in 866.

[58] The statement of Scylitzes, quoted by us *supra*, p. 20 (θυγάτηρ . . . Ἴγγερος, τοῦ γένους καταγομένου τῶν Μαρτινακίων) suggests it was Inger rather than, say, his wife, who belonged to the clan of the Martinakioi. Since, however, we are dealing with a derivative and uncritically edited text, it may be unwise to lay too much stress on the masculine form of καταγομένου.

[59] On the occurrence of the name Martin in the Balkans cf., e. g., *E. Follieri* and *I. Dujčev*, „Un' acolutia inedita per i martiri di Bulgaria dell' anno 813"' Byzantion, 33 (1963), 84, verse 211.

origin. If it is granted that Inger is a nordic name (and I can find no other explanation of it)[60], we would have to assume that at least one Scandinavian or north German family reached Constantinople by the end of the eighth century at the latest, converted to Christianity and married into Byzantine gentry. This is several decades earlier than any previously postulated contacts between the Northmen and Byzantium. It may also throw some light on the embassy of 839: the Rhos who came to Constantinople perhaps the previous year may have been well received because they found a fellow-countryman at the court of Theophilus.

It would be tempting to imagine Eudocia Ingerina as a Scandinavian beauty and to attribute to her influence the atmosphere of jollity and drunkenness (so different from normal Byzantine *mores*) that prevailed at the court of Michael III. That, however, may be too fanciful an interpretation. If we are right in believing that Eudocia was of partly Scandinavian orgin, it would follow in any case that there was some nordic blood in the veins of the „Macedonian“ dynasty. As for the paternity of Leo VI, we shall never, of course, know the truth beyond any reasonable doubt: but the evidence as we have it gives stronger support to Michael's claim than it does to Basil's.

[60] For a partial list of names ending in — ερ see *Dornseiff* and *B. Hansen*, Rückläufiges Wörterbuch d. griech. Eigennamen (Berlin, 1957), 122. They are mostly Latin (e.g. Κέλερ, Νίγερ, Ποῦλχερ), Germanic (ʽΡάδιγερ, ʽΡεκίμερ, ʽΡιγίμερ, etc.) Turcic (Ἴλιγερ) and Semitic. On Κοῦβερ, Γοῦβερ, Γοῦμερ see. *I. Dujčev*, „Nai-ranni vrůzki meždu Půrvobůlgari i Slavjani,“ Bůlg. Akad. na Naukite, Izv. na Arkheol. Inst., 19 (1955), 333. A few names beginning in Ing-, such as Ιγγας, Ιγγασις, Ιγγαμις occur in southern Asia Minor (*L. Zgusta*, Kleinasiatische Personennamen, Prague, 1964, № 472 ff.), but I do not believe that they are relevant to our problem.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

ЈОВАНКА КАЛИЋ

ОБЛАСТ СМИЛИС У XII ВЕКУ

Историјско дело Јована Кинама добро је познато у светској и нашој науци. Од првог издања у XVII веку, а нарочито после вредних коментара које му је приложио Du Cange уз издање 1670. године, оно је почело да привлачи пажњу стручне јавности која готово несмањеним интензитетом и данас проучава његов садржај. Богатство тема којима се Кинам бави, обиље података којима их обрађује, ширина простора на којима их тражи и поуздана обавештеност коју у њих уграђује, огромно су продужили научни живот његова дела. Оно почива на полетном добу Јована II и Манојла I Комнина, у њему налази сигурне подстицаје и широке оквире, поистовећује се са њим. Његово ауторитативно казивање махом је прихватано као историјска стварност једног доба, претварало се у чињенице које је и наша наука уграђивала у темеље својих сазнања о српској историји XII века, ређе је оно оспоравано, а изузетно подвргавано свестраној анализи. Чини се да је упознавање Кинамовог начина мишљења досада нашло сувише мало места приликом тумачења његових података.

Овом приликом, међутим, скренули бисмо пажњу на једну особину Јована Кинама, која је код нас остала мање истражена, а чини основу његовог начина приказивања догађаја. Он настоји да своје излагање веже за одређено тле, да га конкретизује географским подацима које је имао или могао добити. Захваљујући личном интересовању, изгледа и образовању, оставио је за собом дело које, поред осталог, показује да је веома добро познавао прилике на Балканском Полуострву, *простор* у коме су се догађаји збивали. Ниједан други писац епохе Комнина није оставио толико података о балканским градовима, утврђењима, о путевима, као што је то он учинио. Приказујући византијску политику на Балкану, он је пером пратио царску војску од бојишта до бојишта, кроз беспућа непријатељске земље, кроз насеља противника, приказивао је упоришта побуњених царских поданика, тврђаве око којих су вођене борбе. Тако су вести о Расу, Галичу, Никави, његова обавештења о Дрини, Босни, о путевима византијске офанзиве према Тари, о Сеченици, о далматинским градовима, уграђени у његов текст[1].

[1] I. Cinnamus, Bonnae 1836, 12; 102—103; 104—113; 248 и друго. *В. Ћоровић*, Питање о хронологији у делима св. Саве, Годишњица Н. Чупића 49 (1940) 51,

Кинам их читаоцима представља на својеврстан начин. Мање позната места, локалитети о којима се у Византији није много знало, помињу се најчешће уз допунска обавештења о положају или облику имена, док се старим и добро знаним балканским градовима такви подаци не прилажу[2]. Поред тога, Кинам је пажљиво приказивао балканска подручја трудећи се да своја знања што прецизније и изрази. То је његов добро познати сажети начин излагања у коме се избегава све што је непотребно, али у коме се назире зналачка употреба појединих израза намењених разним топонимима. У његовим описима предела, тврђава или путева, нема богатства речи и мисли попут оних који прате царева дела, на пример. Они садрже, међутим, поред давно запажених података, и друге појединости које могу да допринесу бољем упознавању и самог Кинамовог текста, и што је још важније, онога што је он имао пред очима. У сваком случају допринос Јована Кинама историјској географији наших земаља је велики. Чини се да досада није тачно оцењен.

Ако би требало издвојити области за које се Кинам највише интересовао и које је најбоље познавао, онда су то несумњиво Цариградски друм и погранична област око Дунава и Саве. Са подручјем старе Рашке то и јесу најчешћа попришта борби Јована II и Манојла I Комнина. Ту се градила и разграђивала византијска политика на Балкану до 1180. године. Када је почетком XII века Угарска чврсто закорачила на тле свог балканског суседа потчињавајући Хрватску, Босну, затим приближавајући се рашким жупанима, Византија је имала два фронта против Угарске: онај видљиви у пограничним областима дуж Саве и Дунава, и онај мање видљив — у делатности побуњених словенских поданика. И један и други могао се одржавати једино поседовањем главних комуникација, пре свега Цариградског друма. Његова безбедност била је услов за било какве акције на Балкану. Управо због тога су му Јован II и Манојло I посвећивали изузетну пажњу. Старе тврђаве дуж пута постале су важна војна средишта из којих се будно пратила ситуација у околним областима. Кинамови подаци о Београду, Браничеву и Нишу то јасно показују. Византија их је у XII веку у више наврата градила, пажљиво одржавала и грчевито бранила[3]. Од

запажа да Кинам у односу на Србе има топографске податке који изненађују својом одређеношћу, али се сам њима посебно није бавио.

[2] Кинам посебно не објашњава положај Београда, Браничева, Ниша, Раса, али то сматра потребним када помиње Темпон (Cinn. 11), Горњачку клисуру (Cinn. 13), Дрину (Cinn. 104), Босну (Cinn. 104), Земун (Cinn. 114), Срем (Cinn. 114), Дендру (Cinn. 204), Петрик (Cinn. 217), Бач (Cinn. 222), итд. Када преузима домаће називе појединих места, он то обично и наглашава: Καχὴ σκάλα (Cinn. 13); планина Темисис (Cinn. 117); Десин јарак (Cinn. 214), или само додаје „по имену“ Смилис, Бач, Дрина, Земун, итд.

[3] Београд је у XII веку у више наврата дограђиван, после рушења обнављан: *Ј. Калић-Мијушковић*, Београд у средњем веку, Београд 1967, 43—56. Недавно су у Београду откривени остаци те градитељске делатности Комнина: *M. Birtašević*, Beogradska tvrđava, Gornji grad, Arheološki pregled 10 (1968) 195. Браничево је такође доживело више обнова, додуше и већа разарања: Cinn. 12; Cinn. 118; Nicetae

јачине њихових бедема и опремљености војних посада зависила је у многоме судбина самог друма и државних граница. Њиме су византијске војске небројено пута пролазиле у XII веку. Савремени писци бележе углавном царске походе. Па и њих је тада било више него раније. Цар Јован II је у два маха лично предводио своје одреде у борбама око Браничева и Београда[4], а Манојло I је то чинио још чешће[5]. Сам Кинам је тим путем прошао бар једном[6]. Познавао га је добро. Његова обавештења о успутним тврђавама, важним раскршћима и приликама које су га окруживале спадају међу најпрецизније вести које о њему у то време постоје[7].

У склопу Кинамовог излагања о Цариградском друму и подручју кроз које се он протезао, налази се један загонетан податак. Писац помиње једну мању област по имену Σμήλης[8]. То је део Манојлове офанзиве у рату против Угарске, неважна појединост која, по правилу, није привлачила пажњу научника. Само у неколико детаљнијих прегледа ратних операција византијске војске забележена је вест о Смилису. Помишљало се да би Свилајнац могао бити Смилис. Претпостављало се да га треба тражити у области између Велике Мораве и Кучајске

Choniatae, rec. I. Bekker, Bonnae 1835, 177—178 и др. О Нишу су се Јован II и Манојло I посебно старали. Грађен је и дограђиван и у мирно време, као и у доба ратова. Тако, поред осталих вести, привлачи пажњу податак Н. Хонијата да је 1165. године Манојло I наредио двојици поверљивих људи да надгледају радове у Нишу, који је тада опасан зидовима: Chon. 178.

Поред ових великих и старих утврђења постојали су и мањи војни логори. Тако су новија истраживања у Ћуприји, на локалитету Касарна уз само ушће Раванице у Мораву, показала да је старо римско утврђење било коришћено за војне потребе и у XII веку: *D. Piletić*, Rimski kastrum Ćuprija — Horreum Margi, Vesnik Vojnog Muzeja u Beogradu 15 (1969) 37—38.

[4] Cinn. 10—12; Chon. 24—25.

[5] Cinn. 113—114; 119; 131—133; 217; 240; Chon. 122—123; 166—167; 173—174. Веће одреде војске упућивао је цар Манојло I на обале Дунава у више наврата.

[6] Cinn. 241; 245.

[7] Кинамов пут „који води у Угарску" је очигледно Цариградски друм којим се преко Ниша најбрже стизало на обале Дунава. Код Ниша се, како тачно бележи Кинам, одвајао пут за Србију (Cinn. 212. 16—18; 213. 3—6). Занимљиво је да К. Јиречек, који је написао најбољи рад о Цариградском друму, није запазио овај вредан Кинамов податак о рачвању путева у нишкој области (*К. Јиречек*, Војна цеста од Београда за Цариград, Зборник К. Јиречека I, Београд 1959, 73—189). Користио га је узгред *Љ. Ковачевић*, Неколика питања о Стевану Немањи, Глас СКА 58 (1900) 172. Кинам није прецизирао на који пут према Србији мисли, па су могућна разна тумачења — да је реч о путу који је водио из Ниша низ Топлицу до Раса (Новог Пазара); може се помишљати и на пут којим се дуж Западне Мораве и Ибра стизало у средиште Рашке. Уп. *Ст. Новаковић*, Српске области X и XII века, Гласник СУД 48 (1880) 121; *Р. Новаковић*, О неким питањима граница Србије крајем XII и почетком XIII века, Зборник Филозофског факултета IX—1 (1967) 123, који указује на врло повољан пут који је из Топлице водио у Рас.

[8] Кинам каже да је то област Σμήλης ὄνομα (Cinn. 131. 11). У индексу издања Кинамовог дела у Бонском корпусу наводи се име „Smele" (o. c. 408). *В. Г. Васильевский*, Союз двух империй (1148—1155), Труды В. Г. Васильевского IV, Ленинград 1930, 71, помишљао је да је то место „Смила". Анализа слично забележених топонима у Кинамовом тексту показује да је реч о номинативу (Σμήλης), а не о генитиву. Уп. Cinn. 114. 8 (Ζεύγμινον ὄνομα); Cinn. 222. 5 (ὄνομα Παγάτζιον) и др.

планине.[9] Тек у новије време је запажено да то неће бити тачно и да је положај Смилиса сасвим непознат.[10]

Пошто Кинам вест о Смилису уклапа у догађаје које је добро познавао и прилике о којима је релативно опширно писао, потребно је да се они размотре. То је једини начин да се Смилис открије.

Боравак византијске војске у Смилису епизода је византијско-угарског рата од 1151—1155. године. Припада другом делу тога рата, догађајима у којима је видну улогу имао царев сродник Андроник Комнин. Наиме, Андроник Комнин је као дукс византијске пограничне области према Угарској преговарао са угарским краљем о акцији коју је намеравао да предузме у борби за цариградски престо. Андроник је своме саговорнику обећавао предају области којом је управљао. По Кинаму била је то област Браничева и Ниша, а по Хонијату — Београда и Браничева[11]. Како је, међутим, заверечничка делатност Андроникова окончана његовим хапшењем, то обећање дато угарском краљу није могло бити остварено. На то је угарски краљ прешао у офанзиву 1154. године, пошто је претходно сакупио велику војску.[12] Мета напада је било Браничево. По Кинамовом мишљењу читав напад је био у вези са договором претходно постигнутим у тајним преговорима саучесника завере.[13]

Догађаји су захтевали хитну интервенцију Византије. Добро припремљени противник имао је све изгледе да наумљено и оствари. Манојло I је одмах похитао на Дунав.[14] Ниш тада очигледно није био нападнут[15], али се такав напад могао убрзо очекивати с обзиром на димензије угарске офанзиве и споразум који је Геза II имао са Андроником Комнином.

---

[9] *Карпов*, Византийские историки. Труд Иоанна Киннама, С. Петербург 1859, 125; *В. Г. Васильевский*, Союз двух империй, 71. Он је упозорио на село Смиловце, али га је везивао за област Свилајнца. *F. Chalandon*, Les Comnènes II: Jean II Comnène (1118—1143) et Manuel I Comnène (1143—1180), Paris 1912, 412, такође прихвата да је реч о дан. Свилајнцу.

[10] *М. Динић*, Браничево у средњем веку, Пожаревац 1958, 15, тачно примећује да је Смилис „непознато место", што значи да је одбацио раније извршену убикацију која је Смилис везивала за Свилајнац.

[11] Cinn. 126; Chon. 132.

[12] По Кинаму угарски краљ је сакупио војску од Чеха, Саксонаца и многих других народа (Cinn. 130—131). Овај податак који указује на велике ратне припреме које су претходиле борбама 1154. године, потврђује и допуњује Abū-Hamid al-Andalusi, који је учествовао у акцијама Гезе II на прикупљању најамничке војске (Abu Hamid el Granadino y su Relación de viaje por tierras eurasiaticas, ed. C. E. Dubler, Madrid 1953, 38; 73). Уп. *J. Калић*, Подаци Абу Хамида о приликама у јужној Угарској средином XII века, Зборник за историју Матице Српске 4 (1971) 34—35.

[13] Cinn. 130. 23—131. 3.

[14] Cinn. 131.

[15] То произлази посредно из Кинамове тврдње да су Угри били напали само Браничево. Цар је страховао за тај град: Cinn. 131. И читав даљи ток операција 1154. године указује на то да су борбе вођене у области Браничева и Београда. До Ниша Угри тада нису стигли углавном захваљујући брзој противофанзиви Манојла I те године.

Читава византијска противофанзива изведена је са великом журбом. Положај бранилаца Браничева био је незавидан. Нема сумње да је царска војска хитајући према бојишту користила најкраћи пут према Браничеву — стари Цариградски друм — којим су Манојлове војске толико пута пролазиле према граничним областима.

На путу према Браничеву, каже Кинам том приликом, „постоји један крај, довољно утврђен, по имену Смилис". Цар је одлучио да га запоседне и од њега направи упориште за борбу против Угара (Хуна)[16]. Цар је одмах упутио поруку становницима Браничева настојећи да охрабри отпор бранилаца[17]. Операцијама је руководио лично Манојло I[18]. Угри су се на вест о приближавању непријатеља повукли према Београду, где су потукли један део византијске војске, а затим су напустили поприште борби и вратили се у Угарску[19].

Према току догађаја како нам их је представио Кинам, Смилис се налазио на путу, или поред њега, којим је Манојлова војска ишла према Браничеву. Треба га тражити на подручју између Ниша који Угри још нису били напали, и Браничева у који се Манојло са својим снагама упутио.

За Смилис се каже да је χῶρος ἐρυμνότητος ἱκανῶς ἔχων[20]. Именица χῶρος значи „омеђен простор", „место", „крај", „земља", понекад и селиште[21]. Да бисмо открили које би од ових значења дошло у обзир размотрили смо начин употребе те речи у Кинамовом излагању[22].

1. Кинам је употребио реч χῶρος да ближе означи жупу Лугомир[23]. Византијска војска је упућена διὰ τοῦ Λογγομηροῦ λεγομένου

[16] Cinn. 131. 10—12: ἔστι τις χῶρος ἐρυμνότητος ἱκανῶς ἔχων Σμήλης ὄνομα. τοῦτον ἔγνω καταλαβὼν ὁρμητήριον τῆς ἐπὶ τοὺς Οὔννους θέσθαι ἐκδρομῆς.

[17] Cinn. 131.

[18] Кинам нигде изричито не каже где се Манојло I налазио током ових операција. Он је на вест о упаду Угара и борбама око Браничева одмах кренуо на Дунав. Довољно војске није имао да се одмах упусти у борбу са нападачима. Зато је одлучио да запоседне Смилис и да га учини упориштем за даље борбе. Одмах затим се каже да је упутио писмо становницима Браничева најављујући свој брзи долазак, што значи да цар још није приспео пред тај град: Cinn. 131. Изгледа јасно да се Манојло I задржао у Смилису, у логору који је ту постављен, руководећи одатле даљим борбама. Тако је овај текст схватио и *F. Chalandon*, Les Comnènes II, 412, али је све то везивао за Свилајнац. Када је Манојло I упутио Василија Цинцилука да гони непријатеља који се од Браничева повлачио према Београду, Кинам додаје да је цар иза њега спорије напредовао са осталом војском: Cinn. 132. 5—6. Хонијат је уопштенији у приказивању ових догађаја: Chon. 134. Цар није лично учествовао у борбама, он је њима управљао. Налазио се негде у близини.

[19] Cinn. 130—133; Chon. 133—134.

[20] Уп. нап. 16.

[21] *M. A. Bailly*, Dictionnaire grec-français, Paris 1903, s. v. *H. G. Lidell-R. Scott*, Oxford 1901, s. v. *W. Pape*, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig 1911, s. v. *F. Miklosich*, Lexicon paleaoslovenico-graeco-latinum, Vindobonae 1863—1865, 836, који наводи да словенској речи „селишта", између осталог одговара и χῶρος. За анализу значења речи „селишта" у српским документима уп. *Р. Михаљчић*, Селишта, Зборник Филозофског факултета у Београду IX—1 (1967) 174—178.

[22] Овом приликом одабрали смо топониме са нашег подручја, оне који се могу тачније лоцирати.

[23] Cinn. 104. 4—5.

χώρου διαβιβάζειν, што такође упућује на закључак да је у питању „крај", „област", а не „место". Као жупа Лугомир се помиње у повељи Стефана Првовенчаног издатој манастиру Жичи[24]. Обухватала је доњи ток реке Лугомир.

2. Још јасније се може уочити значење речи χῶρος у Кинамовом тексту који се односи на Ниш. Када је 1163. године цар Манојло са војском кренуо према Угарској да своме штићенику Стефану IV пружи непосреднију подршку, стигавши у *град* Ниш одлучио је да се позабави држањем рашког жупана Десе[25]. Да би читаоцима објаснио због чега је цар управо ту, у граду Нишу, одлучио да се заустави, писац одмах додаје: ἄγει γάρ πως ἐφ' ἑκατέρας Παιονικὴν τε καὶ Σερβικὴν, ὁ χῶρος οὗτος, καὶ ἔστιν ἀμφοτέραις ἐντεῦθεν δέον ἐνιέναι[26]. Цар се улогорио у близини Ниша, на месту које се налазило између два поменута пута[27]. Путеви за Угарску и Србију стичу се у нишкој области (χῶρος), кроз њу се мора проћи да би се стигло у обе земље. Кинам је овде употребио реч χῶρος да би означио једно подручје, мању област.

3. Још једном је Кинам употребио реч χῶρος за пределе који се могу идентификовати. Цар Манојло I је 1164. године на свом походу кроз Срем логоровао код Титела, а затим ἐπί τινα χῶρον Πετρίκον καλούμενον καταλαβών, ἐνταῦθα ἐσκήνου.[28] Да би ближе објаснио положај Петрика, писац је одмах додао: ἔστι δὲ ὁ χῶρος οὗτος τῆς εἰς τὴν ἐνδοτέρω Παιονίαν παρελεύσεως ὅρος ὁ πρῶτος[29]. Петрик се налазио у области у којој се касније развио Баноштор[30]. Пада у очи да Кинам за Петрик каже да је χῶρος, а Бач назива полисом[31]

Изложени примери упућују на закључак да реч χῶρος у Кинамовом тексту треба схватити као „област", „крај", „подручје", свакако не територију само једног утврђења или града. Према томе и χῶρος ... Σμήλης треба схватити као „област Смилис", неки мањи крај. Кинам је и сам прешао пут од Ниша до Браничева и то после операција вођених 1154. године. Ако је наша убикација тачна, Кинам је и лично познавао тај крај.

Анализа Кинамовог текста о Смилису и догађајима који су се одвијали око њега 1154. године показује да га треба тражити дуж пута којим се царска војска кретала од Ниша према Браничеву. У тој области

---

[24] *Ст. Новаковић*, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912, 572.

[25] Cinn. 212. 14—16.

[26] Cinn. 212. 16—18.

[27] Cinn. 213. 3—6. Кинам пишући о Манојловом боравку у области Ниша 1163. године помиње *град* Ниш (πόλις) и област Ниша (χῶρος). Нишка област се јавља и у многим другим изворима. Овде наводимо само *Кинамово* поимање ствари.

[28] Cinn. 217. 16—17.

[29] Cinn. 217. 18—19.

[30] Уп. *Ј. Калић*, Јован Кинам, Византијски извори за историју народа Југославије IV, Београд, 1971, 68, нап. 169.

[31] Cinn. 222. 5. Уп. *Š. Nad*, Iskopavanja srednjovekovne tvrđave u Baču, Arheološki pregled 1 (1959) 147—151; *исти*, Тврђава Бач, Рад Војвођанских музеја 10 (1961) 89—115.

се у XIV веку, у доба кнеза Лазара, помиње село Смиловци. Српски владар га је даровао своме манастиру Раваници међу многобројним поседима које му је завештао[32]. И данас постоји село Смиловац. Налази се у сливу Јовановачке реке, североисточно од Сталаћа, на месту где Крчева река прима воде оближњег потока. Смиловац је удаљен 6,5 км од Плочника[33]. Данашње село Смиловац веома је близу Јовановца односно вероватне трасе старог Цариградског пута.

Кинамов податак да је χῶρος Σμήλης био довољно утврђен (ἐρυμνότητος ἱκανῶς ἔχων) обавезује да се на деоници Цариградског пута Параћин—Ражањ, уз коју се пружала област Смилис, потраже евентуална утврђења која је писац могао имати у виду. Мање је вероватно да је Кинам мислио на природну неприступачност терена[34].

Стари антички пут је на деоници Horreum Margi — Naissus прелазио више мањих река. Међу њима се налазила и Јовановачка река, десна притока Велике Мораве. Управо на месту на коме је друм премошћавао ту реку развило се у новије време насеље Јовановац, које је пре тога носило име Шупељак[35]. На Пајтингеровој карти римских путева налази се место Praesidium Dasmini које би, како је то у науци већ запажено, по положају одговарало данашњем Јовановцу[36]. Било је удаљено 17 миља од Horreum Margi. У допунама које је Пајтингеровој карти дао Географ из Равене помиње се место „Dasmiani[37]. Један антички натпис помиње место „Dasminum“ у коме су разбојници погубили једног пролазника[38].

Знатно касније, код Прокопија, налази се вест да је цар Јустинијан градећи утврђења у близини Ниша, између осталих, изградио и тврђаву Δούσμανες[39]. Неки научници су претпоставили да би то могао бити Praesidium Dasmini претходних векова[40].

---

[32] *В. Петковић*, Старине (записи, натписи, листине), Народни Музеј у Београду, Београд 1923, 55. Уп. *Г. Шкриванић*, Раваничко властелинство, Историјски часопис 16—17 (1970) 238.

[33] Секција Параћин, размера 1:75.000. Међу селима алексиначко-ражањског среза помиње се у XIX веку село Смиловац са 112 пореских глава: *М. Ђ. Милићевић*, Кнежевина Србија, Београд 1876, 810. Он је навео да на левој страни Јовановачке (Шупељачке) реке „има према мосту којим иде пут алексиначко-београдски, на једном врху, стара градина која се зове Градац“ (стр. 787). Уп. *Т. Ђорђевић*, Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша (1815—1839), Српски етнографски зборник, Насеља и порекло становништва, књ. 22 (1926), 437.

[34] *В. Г. Васильевский*, Союз двух империй 71.

[35] *К. Јиречек*, Војна цеста 87.

[36] Ib. *K. Patsch*, RE IV, Stuttgart 1901, 2221; *F. Kanitz*, Römische Studien in Serbien, Wien 1892, 73, који поред осталог упозорава да је Praesidium Dasmini „лежао на брегу високом 335 м., ограђеном зидинама, источно од Јовановца“.

[37] Ravennatis Anonymi Cosmographia, ed. M. Pinder-G. Parthey, Berolini 1860, 192. 2.

[38] *Н. Вулић*, Антички споменици наше земље, Споменик СКА 77 (1934) 24. Уп. *A. Mocsy*, Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970, 194.

[39] Procopii opera, ed. J. Haury, Lipsiae 1913 (De aedificiis), IV 4, p. 122.

[40] *Ф. Баришић*, Прокопије, Византиски извори за историју народа Југославије I, Београд 1955, 62. *F. Papazoglu*, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba izd. Akademije nauka i umjetnosti BiH, Djela XXX, Sarajevo 1969, 191.

Археолошка истраживања у сливу Јовановачке реке нису никад вршена. Због тога корисна запажања добронамерних путника XIX века не могу бити научно проверена. Још је F. Kanitz забележио да се у близини Јовановца налази брдо Градац на коме се уочавају зидине[41]. Драгашевић је касније запазио не само „једно конусно брдо, на темену чијем има развалина" него и остатке римског каструма код Јовановца[42]. Недавно пронађени миљоказ у селу Брачину, недалеко од Смиловца, могао би да допринесе бољем упознавању трасе пута од Ћуприје према Нишу[43].

У средњем веку извори на путу Браничево — Ниш помињу само Равно (Ћуприју), Ражањ и Бован. Ништа се не зна о успутним насељима, станицама, утврђењима[44]. Релативно споро напредују истраживања и на ширем подручју које окружује пут Ћуприја — Ражањ. Обогаћена су знања само о насељима која су се развила у долини реке Црнице. Ту је откривена некропола у селу Лешју, посведочена са око 70 гробова, која припада несумњиво и житељима XII века. То најбоље потврђују примерци накита византијског порекла, недвосмислено датираних новцем краља Беле II (1131—1141)[45]. Новија археолошка ископавања у Ћуприји, на локалитету „Касарне", открила су да је Византија у XII веку користила стари војни логор који је на том месту постојао[46].

Међутим, у турско доба нешто је више података који оцртавају трасу Цариградског пута на деоници Параћин — Ражањ. Према најновијим истраживањима пут се, изгледа, пружао правцем Параћин — Сикирица — Брачин — Претрковац — Шупељак (Јовановац) — Ражањ[47]. Шупељак (дан. Јовановац) налази се већ у првом турском попису становника тога краја (1516. године). Наводи се да је тада имао 33 куће. Касније се у близини развило још једно село, па се помиње Мали Шупељак и Шупељак. У Шупељку је 1566. године коначила турска војска[48]. Међутим, указали бисмо на један драгоцени податак који је забележен у турском дефтеру насталом седамдесетих година XVI века, а који није нашао одговарајуће место у напорима да се открије права траса поме-

[41] *F. Kanitz*, Römische Studien in Serbien 73. Уп. и *М. и Д. Гарашанин*, Археолошка налазишта у Србији, Београд 1951, 197.

[42] *Драгашевић*, Археологијско-географијска истраживања, Гласник СУД 45 (1877) 31—32; 73.

[43] Усмено саопштење М. Максимовића, дипл. студ. археологије, коме и овом приликом захваљујем на љубазно датом обавештењу.

[44] Уп. *К. Јиречек*, Војна цеста 132—133.

[45] *Д. Милошевић*, Заштитна ископавања у Поповцу (код Параћина), Зборник радова Народног Музеја 2 (1958—59) 125; *иста*, Средњовековна некропола у селу Лешју код Параћина, Зборник радова Народног Музеја 3 (1960—61, обј. 1962), 141—162. Уп. и *С. Ерцеговић-Павловић*, Гроздолике византијске наушнице у Србији, Старинар 18 (1967), Београд 1968, 83—89. Има их у Браничеву, Лешју и другде.

[46] Уп. истраживања *Dr D. Piletića*, Rimski kastrum Ćuprija — Horreum Margi, Vesnik Vojnog Muzeja u Beogradu 15 (1969) 30; 34; 37—8.

[47] *О. Зиројевић*, Цариградски друм од Београда до Софије (1459—1683), Зборник Историјског Музеја Србије 7 (1970) 158—161.

[48] *О. Зиројевић*, о. с. 160—161.

нутог друма односно насеља која су крај њега постојала[49]. Реч је управо о Смиловцу за који се изричито наводи да се налази на „царском путу" који води у Истамбул. Становници тога села нису могли да подносе насиља и зулуме пролазника, па су се разбежали. Село је остало пусто, па је затим санџак-бег Скадра Хасан-паша ту подигао један караван-сарај. Довео је „номаде и људе из Београда да би чували и одржавали *мосӣ који се налази у близини сӣоменуӣоī села*". Притом су нови становници Смиловца ослобођени неких дажбина[50].

Мост за који се турске власти овом приликом залажу очигледно је мост преко Јовановачке реке, а он се заиста налазио „у близини" Смиловца: Јовановац је удаљен од Смиловца 5 км. Смиловац је делио судбину оближњег друма — нестајао је са неподношљивим приликама насиља, а обнављао се када су власти бранећи друм удахњивале живот успутним селима. Хасан-пашина акција сликовито приказује вероватно само једно оживљавање Смиловца, а било их је у његовој прошлости, с обзиром на близину важног друма, вероватно много.

Анализа Кинамова текста показала је да χῶρος Σμήλης треба схватити као „област Смилис" у XII веку. Мислимо да је треба тражити у подручју у коме се у Лазарево време налазило село Смиловци и у коме се и данас развија истоимено насеље. То је простор који је географски јасно омеђен. Пружа се уз Крчеву и Јовановачку реку до Јовановца и Плочника, односно вероватне трасе античког пута, на коме се ту, изгледа, налазила станица — Praesidium Dasmini. Источно од Смиловца нема насеља. То су брдовити предели који се простиру до високог Ртња (1560 м).

Област Смилис налазила се уз трасу старог Војног пута. Стварајући ту своје упориште 1154. године, цар Манојло I је одабрао стратегијски важну област. Одатле је на најбољи начин могао да контролише не само пут којим су Угри од Браничева могли продрети до Ниша, него и пут којим се дуж Западне Мораве продирало у српске земље. Чини се да је византијском владару било потребно и једно и друго. Угарска офанзива код Браничева је 1154. године била неочекиваних размера и брза, а угарско-српско савезништво нежељени пратилац таквих прилика. Једном већ успостављена угарско-српска сарадња (1149. и 1150. године) показала се ефикасном на бојном пољу. Цар Манојло је имао све разлоге да спречи њихово евентуално удруживање 1154. године. Боравећи у области Смиловца он је то могао лакше остварити[51].

Кинам је једини византијски писац који помиње χῶρος Σμήλης. О имену ове области може се мало шта одређеније рећи. Ако је наша

---

[49] Ib.

[50] *М. Васић*, Становништво крушевачког санџака, Крушевац кроз векове, Зборник реферата са Симпозијума одржаног од 4. до 9. окт. 1971, Крушевац 1972, 57

[51] Поређења ради вреди истаћи да је 1150. године, када је цар Манојло I настојао да спречи спајање угарских помоћних одреда са снагама рашког жупана Уроша II, византијска војска из Ниша упућена према Браничеву, а затим преко жупе Лугомира даље према Сави и Дрини: Cinn. 104.

убикација тачна и ако је Кинамов Σμήλης обласно име за подручје села Смиловца из XIV века, односно данашњег насеља, онда се намеће закључак да порекло имена ове области треба тражити у личном имену Смил, које се у нашим средњовековним споменицима, и не само у њима, често јавља[52]. Оно се сачувало и у имену једног села — Смилова, које се помиње у повељи цара Уроша из 1356. године[53]. Тако би једно словенско име било посведочено Кинамовим вестима о догађајима из XII века у области која се сличним примерима не може често похвалити.

JOVANKA KALIĆ

LA RÉGION DE SMELES AU XII[e] SIÈCLE

Résumé

Depuis longtemps l'oeuvre historique de Jean Kinnamos fut l'objet des études scientifiques. La richesse des thèmes qu'il traite, l'abondance des données dont il se sert, l'étendue géographique du terrain sur lequel il les cherche et son information sûre et précise ont contribué à ce que la vie scientifique de son oeuvre soit prolongée considérablement. Pourtant, on doit constater que son texte relatif à l'histoire des peuples balkaniques reste insuffisamment étudié.

L'auteur souligne l'importance des données de Jean Kinnamos pour la géographie historique des pays balkaniques. L'écrivain byzantin connaissait bien les régions slaves de l'Empire. Il a laissé une quantité de données relatives aux routes balkaniques, aux villes, aux forteresses, aux toponymes

---

52 У XIV веку помиње се ковач Смил на властелинству манастира св. Арханђела: *Сш. Новаковић*, Законски споменици, 694; познат је челник Смил који се помиње међу властелом Вука Бранковића: *Љ. Сшојановић*, Старе српске повеље и писма I, Београд 1929, 139; 142—145; затим Смил, дубровачки гласник: *Ј. Тадић*, Писма и упутства Дубровачке републике I, Београд 1935, 148; 163; 166; 173 и другде. Као презиме се такође налази у документима — Павле Смиловић 1421. године: *Љ. Сшојановић*, Старе српске повеље и писма I, 225. Загребачки епископ Иван Смил: *F. Šišić*, Nekoliko isprava iz početka XV st., Starine JAZU 39 (1938) 154—155. У Угарској се 1386. године помиње „magister Smilo, Comes et capitaneus Posoniensis": *G. Fejer*, Codex diplomaticus X/1, 324. Примера има доста. Уп. *Ђ. Даничић*. Рјечник из књижевних старина српских III, 134; *F. Miklosich*, Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen, Wien 1864, 59; *W. Lubas*, Słowotwórstwo południowosłowiańskich nazw miejscowych z sufiksami -ci, -ovci, -inci itp., Katowice 1971, 106; 127.

53 *Сш. Новаковић*, Законски споменици 309. Постоји и Смилача. Помиње се као међа села Рукомије. Манастир Рукомије постоји и данас 9 км северно од Пожаревца: *Г. Шкриванић*, Раваничко властелинство 246.

divers que la science n'a pas pu toujours expliquer. En les présentant aux lecteurs il les introduit différemment. Les localités qui ne furent pas trop connues à Byzance Jean Kinnamos fait suivre des renseignements complémentaires touchant leur position ou bien la forme du nom, tandis que cette sorte d'information manque pour les villes balkaniques anciennes et bien connues.

Dans le texte traitant la guerre byzantino-hongroise de 1151 à 1155, Jean Kinnamos mentionne le χῶρος Σμήλης comme terrain d'arrêt durant l'offensive byzantine contre l'ennemi qui menaçait Braničevo. Cette région est restée inconnue jusqu'à nos jours. Après une analyse detaillée des événements de l'année 1154, l'auteur conclut que la région de Smeles se trouvait sur la route Niš—Braničevo ou bien à côté de celle-ci.

Dans la région à travers laquelle passait la route Niš—Braničevo les sources du XIV^e siècle mentionnent le village Smilovci. Même aujourd'hui, il existe un villlage Smilovac, à 5 km de la ville Jovanovac, indiquant probablement la vieille direction de l'ancienne route. Sur la carte des routes romaines (Tab. Peut.) on trouve inscrit Praesidium Dasmini qui, d'après sa location, pourrait correspondre à Jovanovac de nos jours. Le Géographe de Ravenne cite un toponyme Dasmiani, Procope connaissait la forteresse Δούσμανες, tandis qu'un texte épigraphique parle d'une station Dasminum sur la route Viminacium-Naissus.

A côté du village Jovanovac on a trouvé les ruines des murailles romaines et médiévales. Il est certain que le village de Jovanovac se trouvait, à l'époque turque, sur la route principale Niš—Braničevo.

L'auteur tire la conclusion qu'il faut chercher la région de Smeles sur le territoire où le village Smilovci est mentionné au cours du XIV^e siècle et sur lequel se trouve aujourd'hui une agglomération du même nom.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

А. П. КАЖДАН

СЕВАСТОКРАТОРЫ И ДЕСПОТЫ В ВИЗАНТИИ XII В.

— Несколько дополнений —

1

Вопрос о византийских севастократорах был специально рассмотрен в статье Б. Ферьянчича, опубликованной в ЗРВИ XI (1968), 141—192. К использованному им списку можно прибавить еще несколько лиц:

1) Одно из писем Глики адресовано севастократору Мануилу, в котором К. Крумбахер не без оснований видит сына Андроника I[1].

2) Составитель сигилия, ориентировочно датируемого 1200 г., — севастократор Никифор Комнин Петралифа, внук Марии Комнины Цусмены[2].

3) Севастократор Иоанн Петралифа упомянут в позднем и полном легенд „Житии Феодоры Петралифы"[3]. Судя по житию, это человек знатного рода, занимавший при Ангелах пост наместника Македонии и Фессалии.

2

Византийский титул „деспот" был предметом ряда специальных исследований[4]. Принято считать, что этот титул впервые был пожалован

[1] *K. Krumbacher*, Michael Glykas, München, 1895, S. 434 f. Ср. рецензию *В.Г. Васильевского:* Виз. врем. 6 (1899), стр. 533.

[2] *F. Dölger*, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, München 1948, № 33 = *J. Bompaire*, Actes de Xéropotamou, Paris 1964, № 8. О трудности датировки сигилия см. *J. Bompaire*, Op. cit., p. 68 sq. См. о нем также *F. Dölger*, Paraspora, Ettal 1961, S. 167, A. 42.

[3] *J.A.C. Buchon*, Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée, Paris 1843, t. II, p. 402. 1—6. См. о нем *D. Nicol*, The Despotate of Epirus, Oxford 1957, p. 215 f.

[4] *G. Ostrogorsky*, Urum—Despotes, Byz. Z. 44 (1951); *R. Guilland*, Recherches sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin: Le despote, Rev. des ét. byzi.

Алексею Беле, жениху Марии, дочери Мануила I[5], но Л. Стирнон высказал сомнение в том, что венгерский принц действительно удостоился титула деспота; первым подлинным обладателем этого титула он считает лишь Алексея Палеолога[6].

Как известно, сообщение о пожаловании титула деспота Беле содержится только у Киннама, согласно которому Мануил I дал Беле новое имя Алексея и провозгласил его деспотом (δεσπότης ἀνεβοήθη)[7]. Вряд ли есть основания вслед за Стирноном сомневаться в официальном характере употребленной Киннамом титулатуры. Со своей стороны, я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что писатель не говорит о *введении* Мануилом нового титула: словоупотребление кажется ему привычным.

Я бы не стал настаивать на возможности такого истолкования краткой заметки Киннама, если бы не то обстоятельство, что титул деспота и в самом деле встречается в применении к ряду видных вельмож Комниновского времени еще до Алексея-Белы.

1) Никифор Мелисин, претендент на императорский престол с 1080 г., заключил с Алексеем I договор, по которому он получил титул кесаря[8]. Однако Феофилакт Ифест в письме, адресованном кесарю Мелисину, наделяет своего адресата эпитетами, которые обычно прилагались к царю: „твоя царственность", „солнце", „боговенчанный деспот"[9]. Можно было бы отвести эти эпитеты как риторические гиперболы, если бы не сохранилась печать, т. е. памятник официального характера, на котором Никифор Мелисин назван деспотом[10].

2) Андроник Комнин, второй сын Иоанна II, умерший раньше отца, носил, как известно, титул севастократора. В стихах Продрома он именуется также деспотом[11].

3) Полководец Мануила I Мануил Анема погиб в 1149 г. Его именовали стратархом и даже великим стратархом[12]. Он был женат на

---

17 (1959) (перепечатано в его Recherches sur les institutions byzantines, Berlin—Amsterdam, 1967, t. II, p. 1—24); *L. Stiernon*, Les origines du despotat d'Epire, Rev. des ét. byz. 17 (1959); *Б. Ферјанчић*, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд, 1960.

[5] См. *G. Ostrogorsky*, Geschichte des byzantinischen Staates, München 1963, S. 320. *P.S. Năsturel*, Valaques, Coumans et Byzantins sous le règne de Manuel Comnène, Byzantina 1 (1969), p. 177, n. 34, называет Белу протостратором, но это недоразумение: Бела, по словам Киннама, на которого ссылается Нэстурел, лишь участвовал в экспедиции, которую возглавлял протостратор Алексей (Cinn., p. 260. 3—5), — то есть Аксух.

[6] Рецензия на кн. Б. Ферьянчича: Rev. des ét. byz. 21 (1963), p. 292.

[7] Cinn., p. 215. 11.

[8] *F. Dölger*, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, T. 2, München—Berlin 1925, № 1063.

[9] *J.P. Migne*, Patrol. gr., t. 126, col. 517C—520A. Cf. ibid., col. 512C—513A.

[10] *W. H. Waddington*, Nicéphore Melissène, prétendant au trône de Byzance, Rev. numismatique 8 (1863), p. 393.

[11] *E. Miller*, Poésies inédites de Théodore Prodrome, Annuaire de l'Assoc. pour l'encouragement des ét. grecques en France 17 (1883), p. 34.6, 37.24.

[12] *С.Д.Пападимитриу*, Феодор Продром, Одесса 1905, стр. 352—354. Ср. *R. Guilland*, Recherches..., I, p. 394.

дочери Иоанна II Феодоре и как царский зять удостоился титула протосевастоипертата[13]. Однако Продром и Григорий Монах в эпитафиях Анеме называют его деспотом[14].

4) Константин Ангел был при Мануиле I одним из первых лиц в государстве.. Муж Феодоры, младшей дочери Алексея I, он носил титул севастоипертата[15]. В 1154 г. он возглавлял флот, посланный против норманнов, но действовал неудачно и попал в плен. Ромуальд Салернский, рассказывая об этом эпизоде, называет Константина царским родственником, магистром флота и деспотом[16]. Свидетельство Ромуальда можно был бы отвести, считая норманского хрониста неосведомленным — однако оно неожиданным образом совпадает с сигиллографическим свидетельством: В. Лоран атрибуирует зятю Алексея I печать деспота Константина Ангела[17]. Лоран, правда, не признает „деспота" официальным титулом Константина, однако совпадение с Ромуальдом несколько ослабляет его скептицизм.

5) Неизданная речь Григория Антиоха (Barocci 195, fol. 4—8) представляет собой эпитафию Андронику Кондостефану (в монашестве Акакию), который в надписании назван деспотом и зятем могущественного и святого царя[18]. Возможно, что он был современником Мануила I, однако до публикации речи следует воздержаться от отождествления Андроника.

6) Печать Иоанна Комнина, занимавшего должность тата, называет его сыном деспота Ватаца и порфиросияющей Евдокии Комнин[19]. Если идентифицировать Евдокию с сестрой Мануила I, вышедшей за Феодора Ватаца[20], то Феодор, полководец Мануила I, также носил титул деспота.

---

[13] *С.Д.Пападимитриу*, Об авторстве дидактического стихотворения Spaneas, Летопись истор.-филол. общества при Новороссийском унив. 8,5 (1900), стр. 340 и сл.; *L. Stiernon*, Notes de titulature et de prosopographie byzantines. Sébaste et Gambros, Rev. des ét. byz. 23 (1965), p. 224, n. 13.

[14] *E. Miller*, Poésies..., p. 55 tit.; A.B.G. Δύο ἐπιστολαὶ τῶν μεταγενεστέρων βυζαντιακῶν χρόνων, Ἡμερολόγιον τῆς Ἀνατολῆς 5 (1886), p. 184.

[15] См. о нем *Г.А.Острогорский*, Возвышение рода Ангелов, Юбилейный сб. Рус. археол. общества в Королевстве Югославии, Белград 1936, стр. 113 и сл. Ср. также *L. Stiernon*, Constantin Ange (pan)sebastohypertate, Rev. des ét. byz. 19 (1961), p. 273—283.

[16] Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XIX, p. 424.

[17] *V. Laurent*, Les sceaux byzantins du Médaillier Vatican, Città del Vaticano 1962, № 55.

[18] Титул речи был любезно списан для меня Р. Браунингом (письмо от 6.IV. 1966). См. *D. Polemis*, Ἀνεπίγραφοι στίχοι εἰς τὸν θάνατον Ἰωάννου Βρυεννίου τοῦ Καταχαλῶν, Ἐπετ. Ἑταιρ. Βυζ. Σπ. 35 (1966/7), p. 107, n.1.

[19] *Б.А.Панченко*, Каталог моливдовулов, Изв. Рус. археол. инст. в Константинополе 13 (1908), стр. 95, № 347; *V. Laurent*, Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine, Athènes-Bucarest 1932—1937, № 400.

[20] См. *R. Guilland*, Recherches... II, p.16. Ср. *R. Guilland*, Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Sur quelques titres du Bas Empire byzantin, Jahrb. der Österr. Byz. Ges. 16 (1967), S. 149.

Таким образом, можно видеть, что титул деспота появляется не только в поэтических произведениях, но также в риторике и на печатях еще до пожалования его Алексею-Беле. Каждый в отдельности из этих шести случаев мог бы быть оспорен, хотя весьма показательно, что некоторые лица названы деспотами в разных и независимых источниках. Однако сравнительная многочисленность упоминаний деспотов в конце XI — середине XII в. заставляет допустить возможность того, что этот титул приобрел официальное значение раньше, чем мы это допускали до недавнего времени.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

БОЖИДАР ФЕРЈАНЧИЋ

ЈОШ ЈЕДНОМ О ПОЧЕЦИМА ТИТУЛЕ ДЕСПОТА

Сјајна епоха династије Комнина (1081—1185), обележена великим војним успесима, донела је и многе унутрашње промене које оцртавају нову слику структуре Византијског царства, а остају делимично уграђене и у темеље његовог каснијег развитка. Владари из те војничке династије реформишу и компликовани систем византијских функција и титула. Увођењем нових чинова промењен је сам врх титуларне лествице, јер су достојанства севастократора и деспота потиснула на треће место титулу кесара, познату још из ранијих векова византијске историје. Достојанство севастократора установио је цар Алексије I Комнин (1081—1118) да би већ на почетку владе (1081) њиме одликовао старијег брата Исака[1]. Нову промену унео је Манојло I Комнин (1143—1180) који је створио посебну почасну титулу деспота (δεσπότης) и ставио је у сам врх титуларне пирамиде одмах иза цара. Та нова највиша титула, која ће свој сјај и углед задржати до краја византијске историје, прво је дата угарском принцу Бели Алексију (1163) кога је Манојло I Комнин оженио својом ћерком и одредио за наследника престола[2]. О овој последњој промени говори само Јован Кинам и то укратко, али веродостојност његовог податка не изазива сумње, па се с правом сматра да је угарски принц Бела Алексије био први носилац новог деспотског чина[3].

Иако је већина истраживача прихватила чињеницу да је титула деспота уведена почетком друге половине XII века, ипак су се јављале извесне сумње и покушаји да се та важна промена у самом врху визан-

[1] Anne Comnène, Alexiade I, ed. *B. Leib*, Paris 1937, 113 sq.; Б. *Ферјанчић*, Севастократори у Византији, ЗРВИ 11 (1968) 142 сл.

[2] I. Cinnamus, ed. *A. Meineke*, Bonnae 1835, 215; *G. Ostrogorsky*, Urum-Despotes. Die Anfänge der Despoteswürde in Byzanz, Byz. Z. 44 (1951) 454 (=Сабрана дела III, 206 сл.); *R. Guilland*, Recherches sur les institutions byzantines II, Berlin 1967, 1—2; *Б. Ферјанчић*, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1960, 27 сл.

[3] В. на пр. *E. Stein*, Untersuchungen zur spätbyzantinischen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte, Mitt. zur osman. Geschichte 2 (1923—25) 31; *Г. Осшроіорски*, Автократор и самодржац, Глас САН 164 (1935) 99 (=Сабрана дела IV, 283); *А. Соловјев — В. Мошин*, Грчке повеље српских владара, Београд 1936, 413; *F. Dölger*, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, München 1948, 76; *Г. Осшроіорски*, Историја Византије, Београд 1959, 364 и многи други аутори.

тијске титуларне лествице датира знатно раније. Још је мађарски византолог Е. Дарко претпоставио да на угарској круни св. Стефана стоји натпис Γέωβιτζ δεσπότης, па да је према томе и Гејза I (1071) добио од византијског цара Михајла VII Дуке деспотски венац.[4] Да би објаснио овај, уствари погрешно прочитан натпис,[5] Е. Дарко доказује да је титула деспота уведена пре 1071. године, при чему се позива на Михајла Псела који каже да је цар Михајло V Калафат (1041—1042) царицу Зоју називао господарицом, а стрица Јована Орфанотрофа својим господарем (ὁ ἐμός, γάρ φησι, δεσπότης)[6].

Ревизија хронологије почетака титуле деспота коју је предложио Е. Дарко није, сем ретких изузетака[7], прихваћена у византолошкој науци. Већина истраживача сматра да реч деспот (δεσπότης) у историји ученог Михајла Псела нема значење самосталне титуле, већ да је употребљена у широком смислу — господар, како се често среће у византијским текстовима и после 1163. године. Уосталом, већ сам Михајло Псел нешто раније констатује да се и цар Михајло IV Пафлагонац (1034—1041) понашао као потчињени према своме брату Јовану Орфанотрофу и да га је називао господарем (καὶ δεσπότην ἀνακαλῶν)[8].

Међутим, почевши од истог Михајла Псела у наративним изворима има јасних доказа да је све до 1081. године старо достојанство кесара сачувало први ранг у хијерархијској лествици, када је увођењем нове титуле севастократора потиснуто на друго место. Сам Михајло Псел наводи речи Јована Орфанотрофа који каже своме брату цару Михајлу IV Пафлагонцу да би зету Стефану, када не би прерано умро, доделио „друго достојанство кесара“ (τὴν δευτέραν ἀρχὴν ..... τοῦ καίσαρος)[9].

Историчар кесар Нићифор Вријеније описује покушаје новог цара Нићифора III Вотанијата (1078—1081) да се споразуме са Нићифором Вријенијем, претендентом који се налазио у европским деловима царства. Цар је преко специјалних изасланика нудио Нићифору Вријенију после царства друго достојанство кесара, чиме би био одређен и за наследника престола.[10]. У спису Ане Комнине опширно су описани услови под које-

[4] *E. Darkó*, Die Bedeutung des unteren Teiles der ungarischen heiligen Krone, Seminarium Kondakovianum 8 (1936) 68, n. 34.

[5] *Gy. Moravcsik*, A magyar szent korona görög feliratai, Egyet Phil. Kozdöny 59 (1935) 154, 156; Byz. Z. 35 (1935) 469—471; *Ферјанчић*, Деспоти 28, н. 4.

[6] M. Psellos, Chronographie I, *ed. E. Renauld*, Paris 1936, 88.

[7] Један од таквих је *L. Bréhier*, Les institutions de l'Empire byzantin, Paris 1948, 140. У погледима Л. Брејеа постоји чудна противуречност, јер он непосредно пре тога констатује да је Манојло I Комнин 1163. године увео титулу деспота „en faveur de son gendre le prince hongrois Béla, auquel il destinait sa succession“. Ту контрадикцију уочава *Ostrogorsky*, Urum-Despotes 450 (= Сабрана дела III, 207).

[8] M. Psellos I, 71; *Ostrogorsky*, Urum-Despotes 450 (= Сабрана дела III, 207 сл.).

[9] M. Psellos I, 66; *Ostrogorsky*, Urum-Despotes 451 (= Сабрана дела III, 208).

[10] N. Bryennius, ed. *A. Meineke*, Bonnae 1836, 132: καὶ νῦν μὲν τὴν μετὰ βασιλείαν δευτέραν τιμὴν λάμβανε, φημὶ δὴ τὴν τοῦ καίσαρος. Исти писац употребљава израз деспот (δεσπότης) у значењу господара, као на пр. у опису похода против узурпатора Василакија (1078); тада је Алексије Комнин носио писмена и златним печатом потврђена обећања Нићифора III Вотанијата да ће свако од архоната имати титулу коју је и раније носио, као и да ће остати господар (δεσπότης) имања која је раније поседовао. Cf. ibid. 147.

ма је њен отац Алексије I, непосредно по преузимању власти, установио нови чин севастократора и ставио га изнад кесарске титуле. У току борбе за царски престо Алексије Комнин имао је супарника у личности свога зета Никифора Мелисина који је деловао у Малој Азији и Алексије Комнин му је предложио да заједничким снагама воде борбу против Никифора III Вотанијата, а као награду му је обећао достојанство кесара. Када је априла 1081. године преузео власт у престоници Алексије I Комнин је морао да испуни обећање дато зету Никифору Мелисину, а истовремено је желео да свога старијег брата и верног сарадника Исака подари неким високим достојанством. Пошто осим кесарског такво достојанство није постојало (ἕτερον δὲ ἀξίωμα πλὴν τοῦ καίσαρος οὐκ ἦν) Алексије I Комнин уводи титулу севастократора коју додељује старијем брату Исаку[11]. Тиме га је достојно наградио за помоћ на тешком путу до царског престола, а истовремено је одржао обећање дато Никифору Мелисину, додељујући му стару титулу кесара која је, додуше, сада потиснута на друго место хијерархијске лествице.

Сви ти подаци историчара епохе Комнина недвосмислено показују да у византијском титуларном систему тада још није постојало достојанство деспота. Цар Никифор III Вотанијат могао је да своме супарнику и претенденту Никифору Вријенију нуди чин кесара који је долазио одмах иза царског и понекад означавао и наследника престола, а Алексије I Комнин је увођењем титуле севастократора, којој је дао највиши ранг, потиснуо старо достојанство кесара на друго место. Треба уз то да се подсетимо на чињеницу да Никифор Вријеније приказује историју уздизања Комнина тек око 1137. године, а да Ана Комнина пише своју Алексијаду за владе цара Манојла I Комнина (1143—1180). Ни учена принцеза, а ни њен супруг кесар Никифор Вријеније не знају за достојанство деспота и то из простог разлога што оно још не постоји у првој половини XII века.

Не бисмо се поново враћали проблему почетка деспотске титуле, када не би А. Каждан у свом чланку у овом броју Зборника радова Византолошког института настојао да докаже да деспотско достојанство као почасна титула постоји већ знатно пре Манојла I. Ово се схватање очигледно коси са горе наведеним изворним подацима, па смо сматрали да је потребно да темељније размотримо аргументе које износи истакнути совјетски византолог.

Већ на почетку излагања А. Каждан, коментаришући пасус који Јован Кинам посвећује Бели Алексију и његовој деспотској титули, подвлачи да византијски историчар „не говорит о введении Мануилом нового титула, словоупотребление кажется ему привычным“. Аутор наглашава да не би инсистирао на овој чињеници да се титула деспота и иначе не среће у изворима и пре Беле Алексија (1163), а везана за неке чланове или рођаке царске породице Комнина[12]. Полазећи од низа примера употребе речи деспот (δεσπότης) у византијским изворима краја

[11] Anne Comnène I, 113; *Ostrogorsky*, Urum-Despotes 451 (= Сабрана дела III, 208 сл.); *Фердинчић*, Севастократори 142 сл.; *Guilland*, Recherches II, 1 sq.

[12] *А. Каждан*, Севастократоры и деспоты в Византии XII века. Несколько дополнений, ЗРВИ 14/5 (1973) 42.

XI и прве половине XII века, А. Каждан сматра да она већ означава посебну почасну титулу и на крају свог чланка закључује „да је ова титула добила званично значење раније него што смо то доскоро сматрали"[13]. Пошто на основу тих примера А. Каждан долази до нових закључака о почетку те титуле, анализираћемо их оним редом којим су изнети у његовом прилогу.

Као први пример појаве термина деспот (δεσπότης) у значењу посебне почасне титуле А. Каждан наводи добро познату личност Нићифора Мелисина, зета Алексија I Комнина, али и његовог супарника у борби за власт, коме је цар по преузимању престола (1081) доделио титулу кесара. Аутор пре свега упозорава да Теофилакт Охридски у неким писмима придаје Нићифору Мелисину царске епитете (твоје царство, сунце, богомвенчани деспот), али додаје да се ти изрази могу схватити и као беседничке хиперболе ученог архиепископа[14]. Шта више, према недавно изнетом мишљењу С. Маслева ти царски епитети, као и још неки елементи у тексту писама, показују да су она уствари упућена самом цару Алексију I Комнину[14a].

Много већи значај А. Каждан придаје једном „печату", дакле званичном споменику, на коме Нићифор Мелисин има епитет деспота. При томе се позива на давно објављени чланак В. Вадингтона о царском претенденту Нићифору Мелисину.[15] У Југославији нисмо нашли ову публикацију, али смо љубазношћу В. Лорана и А. Коминиса добили тачна обавештења о томе комаду, на чему им и овде најлепше захваљујемо. У питању није печат, већ један комад сребрног новца са натписом Θεοτόκε βοήθει Νικηφόρῳ δεσπότι τῷ Μελισσινῷ[16]. Пошто се ради о новцу, онда за термин деспот (δεσπότης) постоји само једно објашњење, сасвим различито од оног које предлаже А. Каждан. Крајем 1080. године Нићифор Мелисин се у Малој Азији дигао против цара Нићифора III Вотанијата и у покушајима да се докопа царске власти његови људи су га прогласили за цара[17]. Желећи да се својим присталицама а и читавом византијском свету представи као прави василевс, Нићифор Мелисин у томе кратком периоду одмах преузима све прерогативе царске власти, па и ковање новца, о чему сведочи и овај драгоцени примерак сребрњака. Узурпатор Нићифор Мелисин кује новац као цар, а познато је да се епитет деспот, који је првобитно и припадао само василевсу, јавља често на царским новцима друге половине XI и читавог XII века.[18] Дакле, на овом сребр-

[13] Исто, стр. 44.

[14] Migne PG 126, col. 512—513, 517—520; *Каждан*, н.д. 42.

[14a] *S. Maslev*, Les lettres de Théophylacte de Bulgarie à Nicéphore Mélissènos, Revue des études byzantines 30 (1972) 179—186.

[15] *W. H. Waddington*, Nicéphore Mélissène, prétendant au trône de Byzance, Revue Numismatique 8 (1863) 393.

[16] Преносимо читање В. Лорана које се у једној, за нас безначајној нијанси, разликује од читања у новом издању овог новца. Cf. C. *Morrisson*, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale II, Paris 1970, 663.

[17] О томе в. Bryennius 158; Anne Comnène I, 87 sq. Cf. *E. Christophilopoulou*, Ἐκλογή, ἀναγόρευσις καὶ στέψις τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος, Атина 1956, 156.

[18] Види примере новаца царева из друге половине XI века, као и из династије Комнина: *Morrisson*, Catalogue II, 625—722.

ном новцу епитет деспот је одраз претензије Нићифора Мелисина на царску власт, а никако се не може схватити у смислу посебне почасне титуле, како то предлаже А. Каждан.

Међу тобожњим носиоцима деспотске титуле пре 1163. године А. Каждан наводи севастократора Андроника[19], другог сина цара Јована II Комнина (1118—1143), истичући да се он назива деспотом у стиховима Теодора Продрома. Заиста, у једној песми Теодор Продром слави врлине и образовање севастократора Андроника Комнина и каже „. . . ἡ δε μείζων μοι χάρας σεβαστοκρατόρειος εὐαρμοστία πορφυροφυοῦς 'Ανδρονίκου δεσπότου".[20] Многе своје стихове Теодор Продром је посветио ученој Ирини, супрузи севастократора Андроника Комнина, па у једној песми уздиже њену срећу, јер је „ἠχοῦσα κλῆρον εὐτυχῆ συζυγίαν σεβαστοκρατοῦς 'Ανδρονίκου δεσπότου"[21]. Сасвим је јасно да је у оба случаја реч деспот (δεσπότης) употребљена у своме најопштијем значењу — господар и да никако не означава посебну дворску титулу; песник изричито наводи стварну Андроникову титулу севастократора.

Андроник Комнин је умро већ 1142. године. Никита Хонијат кратко бележи његову смрт не спомињући титулу са којом је Андроник напустио овоземаљски свет.[22] Међутим, у актима са седница синода у Цариграду (12. маја 1157), сазваног поводом јеретичког учења Сотерика Пантевгена, наводи се присуство нећака цара Манојла I Комнина а синова τοῦ ἀοιδίμου σεβαστοκράτορος κυροῦ 'Ανδρονίκου.[23] Ти подаци званичних докумената јасно показују да је Андроник Комнин до краја живота имао достојанство севастократора, највише после царског у тадашњем византијском свету.

Желећи да већим бројем доказа поткрепи изнету тезу о ранијем почетку деспотског чина, А. Каждан наводи и околност да се Манојло Анема назива деспотом у списима Теодора Продрома и Григорија Монаха; Манојло Анема је био супруг Теодоре, треће кћери цара Јована II Комнина.[24] У наслову једне песме Теодора Продрома се каже „'Επιτύμβιοι ἐκ προσώπου τῆς θυγατρὸς τοῦ δεσπότου τοῦ ἀποχομένου 'Ανεμᾶ καὶ τῆς κυρᾶς Θεοδώρας, ἥτις συνεζεύχθη τῷ 'Αγγέλῳ", али у самом тексту

[19] О његовој каријери в. *Фержанчић*, Севастократори 157 сл.

[20] *E. Miller*, Poésies inédites de Théodore Prodrome, Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France 17 (1883) 33—34. Захваљујемо колеги Љ. Максимовићу који је у Атини консултовао ову публикацију, неприступачну у Југославији.

[21] Ibid. 37. У стиховима Теодора Продрома за саму Ирину се више пута наглашава да је севастократориса, дакле супруга севастократора. Cf. ibid. 35 sq.

[22] N. Choniates, ed. *I. Bekker*, Bonnae 1835, 51.

[23] Migne PG 140, col. 177. Цареви нећаци а синови „покојног севастократора Андроника" присутни су и на седницама синода од 2. и 6. марта 1166 (cf. ibid. 236, 252), као и од 30. јануара и 18. фебруара 1170. године. Cf. *L. Petit*, Documents inédits sur le concile de 1166 et ses derniers adversaires, Виз. врем. 11 (1904) 479, 490.

[24] *С. Пападимитриу*, Феодор Продром, Одесса 1905, 352—4; *F. Chalandon*, Les Comnènes II: Jean II Comnène (1118—1143) et Manuel I Comnène (1143—1180), Paris 1912, 12; *L. Stiernon*, Notes de prosopographie et de titulature byzantines. Constantin Ange (pan)sébastoypertate, Revue des études byzantines 19 (1961) 280.

песме Манојлу Анеми се не придаје никаква титула.[25] Писмо Григорија Монаха, игумана манастира са острва Оксије близу Цариграда, упућено је „порфирородној госпођи Теодори поводом смрти паниперпротосевастоипертата господина Анеме"; учени игуман на више места у писму назива цареву ћерку Теодору својом господарицом (δέσποινά μου), а и покојног Манојла Анему својим преблаженим господарем (παμμακάριστός μου δεσπότης).[26] Дакле, у стиховима Теодора Продрома и у писму игумана Григорија Монаха реч деспот има шире значење господара, а не означава посебну титулу Манојла Анеме. Зет цара Манојла I Комнина Манојло Анема је прво био стратарх и велики стратарх, а пред смрт (+1149) добио је звучну титулу паниперпротосевастоипертата са којом је забележен једино у писму Григорија Монаха, написаном поводом његове смрти.

Међу тобожњим подацима о титули деспота пре њеног додељивања угарском принцу Бели Алексију А. Каждан се нарочито зауставља на случају Константина Анђела, супруга Теодоре, најмлађе ћерке цара Алексија I Комнина.[27] Историчари Јован Кинам и Никита Хонијат на неколико места описују учешће Константина Анђела у походима византијске војске, али нигде не наводе титулу коју је он носио.[28] А. Каждан се најпре позива на Ромуалда Салернског који говори о поразу византијске флоте 1154. године, када је нормански краљ победио царске бродове „et Angelum Despoti magistrum stolii et consanguinem imperatoris cum multis aliis captivos in Siciliam duxit"[29].

Ни сам наш аутор не придаје велики значај податку западног писца који, као што се то често догађа, није морао имати тачне представе о компликованом титуларном систему Византије а ни о свим значењима речи деспот. А. Каждан много више полаже на околност да је Константин Анђео назван деспотом и на једном печату, дакле на споменику званичног

---

[25] *Miller*, Poésies inédites 55 tit. *С. Пападимитриу*, ʽΟ Πρόδρομος τοῦ Μαρκιανοῦ κώδικος XI, 22, Виз. врем. 10 (1903) 110 бележи наслов једне Продромове песме (ʼΕπιτύμβιος αἶνος ὁμοῦ καὶ θρῆνος εἰς τὸν πανευτυχέστατον γαμβρὸν τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος ʽΡωμαίων ʼΙωάννου τοῦ πορφυρογεννήτου, κύριον Μανουὴλ τοῦ ʼΑνεμᾶν). Дугачка песма Теодора Продрома посвећена је Манојлу Анеми, царевом зету, стратарху и великом стратарху. Cf. M. Philae carmina II, ed. *E. Miller*, Parisiis 1857, 357, 359; Guilland, Recherches I, 394.

[26] „πρὸς τὴν πορφυρογέννητον κυρίαν Θεοδώραν ἐπὶ τῶ θανάτῳ τοῦ πανυπερπρωτοσεβαστοϋπερτάτου δεσπότου τοῦ ʼΑνεμᾶ". Cf. ABG, Δύο ἐπιστολαὶ τῶν μεταγενεστέρων βυζαντιακῶν χρόνων, ʽΗμερολόγιον τῆς ʼΑνατολῆς 5 (1885—6) 184; *Sp. Lambros*, Γρηγορίου Μοναχοῦ καὶ καθηγουμένου τῆς ἐν τῇ ʼΟξείᾳ νήσῳ σεβασμίας μονῆς τοῦ Βουλγάριου, Νέος ʽΕλληνομνήμων 16 (1922) 397—402.

[27] О личности пансевастоипертата Константина Анђела, као и његовог сина Константина уп. *Г. Острогорский*, Возвышение рода Ангелов, Юбилейный сборник Русского археол. общества в Королевстве Югославии, Белград 1936, 112—114 (=Сабрана дела, III, 335—338). Не изгледа убедљиво мишљење (cf. *Stiernon*, Constantin Ange 273—4; *V. Laurent*, Les sceaux byzantins du médaillier Vatican, Città del Vaticano 1962, 41 sq.) да је уствари у питању исто лице које се јавља као пансевастоипертат и као севастоипертат.

[28] Cinnamus 119; Choniates 126 sq. Cf. *Острогорский*, Возвышение 112—114 (= Сабрана дела III, 325—328); *Stiernon*, Constantin Ange 273 sq.; *Laurent*, o.c. 41.

[29] MGH SS XIX, 424; *Каждан*, н.д. 43.

карактера. Међутим, натпис тога печата + Γραφὰς σφραγίζω δεσπότου Κωνσταντίνου || Κλέος φέροντος πανσεβαστοϋπερτάτου јасно и недвосмислено одређује и значење епитета деспот (δεσπότης) у односу на личност Константина Анђела који има титулу пансевастоипертата. То је тачно уочио већ издавач печата В. Лоран, наглашавајући да је Константин Анђео био пансевастоипертат, што „nous avertit qu'il faut voir dans ce mot (δεσπότης) un mot commun désignant non le successeur présomptif du trône, mais tout bonnement le propriétaire du sceau".[30] Дакле, печат сведочи да је Константин Анђео поседовао достојанство пансевастоипертата, а реч деспот (δεσπότης) је и овде употребљена у општијем значењу — господар, што се сусреће и иначе на метричким натписима печата. Царског зета Константина Анђела са титулом пансевастоипертата спомињу и неки други извори. Седници цариградског синода од 6. маја 1166. године присуствовали су и Јован, Алексије, Андроник и Исак, нећаци цара Манојла I Комнина а синови „љубазног тече царства ми пансевастоипертата господина Константина Анђела".[31]

Тражећи примере појаве титуле деспота пре 1163. године, А. Каждан се позива и на метрички натпис са печата који гласи Σφραγὶς Κομνηνοῦ τατᾶ Χαριτωνύμου || ὃς Βατάτζου προῆλθεν δεσπότου κλάδος || καὶ πορφυραυγοῦς Κομνηνῆς Εὐδοκίας.[32] У тумачењу података овог натписа А. Каждан прихвата ранија мишљења да је овде споменут Теодор Ватац, супруг Евдокије, сестре Манојла I Комнина, који је као царски зет наводно добио високо достојанство деспота.[33] Иако је Теодор Ватац могао постати деспот и после установљења те високе титуле (1163), тешко је поверовати да је она одмах додељена и царевом зету по сестри, јер је првобитно намењена царевом зету Бели Алексију, наследнику престола.

Те сумње потпуно потврђују подаци других извора о Теодору Ватацу. У опису његовог учешћа у неким ратним походима (1151. и 1158) наративни извори му не придају никакву титулу,[34] али је изричито наводе записници са синода одржаног марта 1166. године у Цариграду. Седници од 2. марта присуствовао је и Андроник Комнин, царев нећак а син „пансевастоипертата господина Теодора Ватаца"[35], док су на седници од 6. марта били, између осталих, и цареви нећаци а синови „блаженог љубазног зета светог му царства пансевастоипертата господина Теодора

---

[30] *Laurent*, o.c. 40—42, № 55.

[31] „τοῦ περιποθήτου θείου τῆς ἁγίας αὐτοῦ βασιλείας τοῦ πανσεβαστοϋπερτάτου κυροῦ Κωνσταντίνου τοῦ Ἀγγέλου". Cf. Migne PG 140, col. 253; *Острогорский*, Возвышение 115 (= Сабрана дела III, 329).

[32] *V. Laurent*, Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine, Athènes 1932, 142, № 400.

[33] *Каждан*, н.д. 43. То су већ претпостављали *Laurent*, Bulles métriques 142; *Guilland*, Recherches II, 16; *R. Guilland*, Etudes sur l'histoire administrative de l'empire byzantin. Sur quelques titres du Bas Empire: le mémorialiste, ἐπὶ τῶν ἀναμνήσεων, le myrtaite et les tatas, Jahrbuch der österr. byz. Gesellschaft 16 (1967) 149.

[34] Cinnamus 114, 180 sq. Cf. *Chalandon*, o.c. 12, 404, 442 sq.

[35] Migne PG 140, col. 236: τοῦ πανσεβαστοϋπερτάτου κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Βατάτζου.

Ватаца".[36] Дакле, Теодор Ватац, зет цара Манојла I Комнина, умро је свакако пре марта 1166. године и на своме животном путу није даље напредовао од чина пансевастоипертата.[37] Пошто Теодор Ватац очигледно никада није носио деспотско достојанство, то се термин деспот (δεσπότης) на наведеном метричком печатном натпису мора схватити у своме најширем значењу — господара,[38] или се у личности „деспота Ватаца" мора тражити неки други каснији припадник те аристократске породице, који је имао чин деспота.

Пажљивије посматрање аргумената А. Каждана о појави титуле деспота у византијским текстовима пре 1163. године показало је да се ни у једном од наведених примера не ради о тој високој дворској титули. На сребрном новцу узурпатор Нићифор Мелисин (1080) употребљава епитет деспот (δεσπότης) као царску титулу, а у свим осталим случајевима тај епитет има широко значење — господара, јер споменути чланови или рођаци царске породице Комнина носе у ствари, као што смо видели, друге дворске титуле. Уосталом, стара грчка реч деспот (δεσπότης) појављује се у томе значењу у неким специфичним текстовима чак и после 1163. године.[39]

Према томе А. Каждан није донео ниједан аргумент који би мењао наша схватања о почецима деспотског достојанства у Византији, а самим тим и о његовом карактеру. Јер, у првим деценијама свог постојања, до 1204. године, чин деспота у Византији је искључиво додељиван царевим зетовима, који су уједно и наследници престола. Први носилац чина деспота је угарски принц Бела Алексије, који је требало да наследи престо Манојла I Комнина, па је зато цар желео да га као свога зета и наследника подари неком новом високом титулом. Упадљиво је да новоустановљено достојанство Беле Алексија одговара угарској титули urum (господар) коју су у суседној земљи имали наследници престола.[40] Свакако да је титула деспота, додељена наследнику престола, од почетка имала особит значај, због чега се одмах нашла на челу византијске титуларне пирамиде. О угледу нове титуле сведочи и чињеница да је међу учесницима седнице синода од марта 1166. године царев претстолонаследник деспот Бела Алексије наведен одвојено и пре осталих достојанственика, чланова или рођака царске породице.[41]

---

[36] Ibid. col. 253: τοῦ μακαρίτου περιποθήτου γαμβροῦ τῆς ἁγίας αὐτοῦ βασιλείας τοῦ πανσεβαστοϋπερτάτου κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Βατάτζου. Синоду од 30. јануара 1170. године присутствовао је Андроник Комнин, царев нећак и син „пансеваста севаста господина Теодора Ватаца". Cf. *Petit*, Documents inédits 479.

[37] То тачно констатује *Stiernon*, Constantin Ange 280, n. 48.

[38] Епитет деспот (δεσπότης) свакако има исто значење и у наслову неиздатог говора који је Григорије Антиох посветио царевом зету Андронику Кондостефану. Cf. *D. Polemis*, Ἀνεπίγραφοι στίχοι εἰς τὸν θάνατον Ἰωάννου Βρυεννίου τοῦ Καταχαλῶν, ΕΕΒΣ 35 (1966—7) 107, n. 1. Тај говор још није издат, па и сам А. Каждан са великом резервом наводи овај податак. Уп. *Каждан*, н.д. 43.

[39] Уп. *Ферјанчић*, Деспоти 5—8.

[40] *Ostrogorsky*, Urum-Despotes 454 sq. (=Сабрана дела III, 211—213).

[41] Migne PG 140, col. 252. Седница је одржана у присуству τοῦ δεσπότου καὶ περιποθήτου γαμβροῦ τῆς ἁγίας αὐτοῦ βασιλείας κυροῦ Ἀλεξίου.

BOŽIDAR FERJANČIĆ

DE NOUVEAU SUR LES DÉBUTS DU TITRE DE DESPOTE

Résumé

L'époque de la dynastie des Comnènes a apporté de nombreux changements dans le système des titres byzantins. Les dignités honorifiques de sébastocrator et de despote, placées au sommet de l'hiérarchie des titres, furent alors introduites. L'empereur Manuel I[er] Comnène fit de l'ancienne épithète impériale de despote (δεσπότης) un titre honorifique spécial, auquel il réserva le plus haut rang et le décerna, d'après Kinnamos, à son gendre et héritier au trône, le prince hongrois Béla Alexis (1163). Cette chronologie généralement acceptée des débuts du titre de despote est confirmée par les informations provenant des sources narratives de l'époque précéndente. Nicéphore Bryennios nous apprend que l'empereur Nicéphore III Botaniates (1078) voulait offrir au prétendant Nicéphore Bryennios, le grand-père de l'historien, le titre de césar, celui-ci se trouvant immédiatement au-dessous du titre impérial. Dans sa description de l'introduction de la nouvelle et plus haute dignité de sébastocrator par l'empereur Alexis I[er] (1081), Anne Comnène précise que jusqu'à ce temps il n'existait pas de titre plus haut que celui de césar.

Dans une contribution publiée dans ce numéro du Recueil des travaux de l'Institut des études byzantines, A. Každan tente de mettre en doute les résultats admis jusqu'à present sur les débuts du titre de despote. Il signale plusiers exemples tirés de l'époque des Comnènes, où l'on voit l'épithète de despote attribuée à certains membres de la famille impériale, d'où il arrive à conclure que cette dignité avait été introduite bien avant 1163. Toutefois, l'analyse des textes rhétoriques et de légendes des monnaies et des sceaux cités par lui nous mène vers des conslusions tout à fait opposées de celles qu'il propose. En premier lieu, le titre de despote sur la monnai d'argent de Nicéphore Mélissène est l'expression évidente de ses prétentions au trône impérial, vu que vers la fin de 1080, il s'élève contre Nicéphore III Botaniates et se proclame empereur. Dans les autres exemples où l'on rencontre l'épithète de despote attribuée à des membres de la famille impériale, cet ancien mot grec n'a pas encore obtenu la signification de titre aulique spécial et est employé dans le sens très général de „seigneur". En effet, tous ces personnages, portent dans les mêmes textes des titres pompeux introduits à l'époque des Comnènes (sébastocrator, panhypersébastos, etc.), ou bien on les retrouve avec ces mêmes titres dans d'autres sources contemporaines. Bref, aucun des arguments avançés par A. Každan ne peut mettre en doute le fait que le prince hongrois Béla Alexis (1163) fût le premier à porter le titre byzantin de despote et que, jusqu'en 1204, cette dignité la plus haute après celui de l'empereur n'était destinée qu'aux gendres impériaux, qui en même temps étaient les héritiers du trône.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

Г. ДМИТРИЕВ

К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯН В ЛАТИНСКОЙ ГРЕЦИИ

Вопрос об уровне податей и повинностей, а также о сохранении или изменении условий крестьянской зависимости в латинской Греции, их смягчении или ухудшении для крестьян уже привлекал внимание историков и получил в их трудах различное и противоречивое освещение. При недостатке или отсутствии византийских источников византиноведы обращались к источникам более позднего латинского периода и старались извлечь из них сведения об особенностях византийского феодализма предшествующей эпохи[1].

Целый ряд византинистов (среди них Г. Острогорский[2], Ж. Лоньон[3], Б. Горянов[4] и другие) считает, что завоеватели сохранили византийские подати, повинности и условия крестьянской зависимости. В то же время другие историки (А. Беньон[5], П. Топпинг[6], А. Гуревич[7]) утверждают, что византийские крестьяне были низведены завоевателями до положения рабов, и, следовательно, признают, что в результате завоевания в условиях их положения произошли глубокие изменения, сделавшие их существование неимоверно тяжелым. И те, и другие оценки опираются на отдельные отрывочные или разрозненные сведения. Этим обусловливается потребность привести соответствующие сведения источников более систематически.

---

[1] Cf. *D.A. Zakythinos*, Le despotat grec de Morée, T. II. Vie et institutions, Athènes, 1953, pp. 186 etc.; См. также *А.П.Каждан*, Поземельные отношения в Византии XIII—XIV вв., М., 1952, стр. 125.

[2] *G. Ostrogorsky*, Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1952, SS. 338—339.

[3] *J. Longnon*, L'Empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, Paris, 1949, pp. 209 etc.

[4] *Б.Т.Горянов*, Поздневизантийский феодализм, М., 1962, стр. 53.

[5] См. примечания к опубликованным им „Иерусалимским ассизам" (Assises de Jérusalem).

[6] *P.W. Topping*, Commentary on Feudal Institutions of Frankish Greece, Feudal Institutions as Revealed in the Assises of Romania, Philadelphia, 1949, p. 173.

[7] См. его рецензию „Фальсификация истории Латинской империи" (Византийский временник, Т. V, 1952, стр. 289).

Эти противоречивые оценки соотношения положения крестьян до и после завоевания встречаются у одного и того же историка. По словам Н. П. Соколова, Венеция проводила "политику сохранения в своих колониях прежнего статуса социальных отношений[8]. „Она заботилась лишь о том, чтобы новые и старые феодалы не изменяли создавшихся отношений“[9]. Однако, вслед затем оказывается, что „на Крите венецианские феодалы обращались со своими париками, как с рабами“[10], тогда как автор, по-видимому, совсем не считает рабами византийских париков. Из этого следует, что венецианцы заботились не только о сохранении сложившихся отношений, но и об их изменении. В данном случае отмеченное противоречие выступает в более резкой форме, поскольку принадлежит одному автору.

Эти противоречивые мнения, оценки и известная путаница в общих представлениях объясняются, помимо указанной выше разрозненности сведений используемых источников, отсутствием анализа экономических, социальных и психологических стимулов, обусловливавших то и другое поведение завоевателей, их ту и другую политику. Эта проблема также ставится в данной статье.

Для данной эпохи греко—византийские источники сочетаются с западными (на латинском и старофранцузском языках, на венецианском и арагонском диалектах). Наконец, перенесенные на Кипр обычаи и законы Иерусалимского королевства были переработаны на острове и действовали на греческом языке. Тема статьи требует разностороннего использования этих разноязычных источников.

*

Западные завоеватели встретились на территории империи с византийскими феодальными порядками. Их пережитки, в первую очередь, и рассматриваются в статье по источникам латинского времени.

В районе Лампсака, расположенного вблизи Константинополя, сохранялся слой византийских земледельцев. Согласно перечню доходов по этой области, податями здесь облагались владельцы полных наделов — зевгараты (seugarati), которые насчитывались в числе 21, и воидаты (uoidati)[11], держатели мелких участков, которых было 52. Сумма платежей первых исчислялась в 208 перперов, вторых — в 251[12].

---

[8] *Н.П.Соколов*, Колониальная политика Венеции в XIII в., Средние века. Сборник, вып. V, 1954, стр. 185.

[9] Там же, стр. 183.

[10] Там же, стр. 187.

[11] О зевгаратах и воидатах в византийский период см. Actes de Lavra, ed. par *G. Rouillard et P. Collomp*, Paris, 1937, № 45 etc. *Г. Острогорски*, Размена поседа и сељака у хрисовуљи цара Алексија I Комнина, Историјски часопис, 5, 1954—1955 стр. 20 и сл.; *Г.Г.Литаврин*, Болгария и Византия в XI—XII вв., М., 1960, стр. 169 и сл.

[12] Tributa Lamsacenorum, Fontes rerum austriacarum. II. Abteilung. Diplomataria et acta. XIII. Band, Wien, 1856, p. 208.

Общая сумма доходов распределялась между зависевшими от Венеции феодалами и самой этой сеньерией[13].

В Византийской империи существовал слой арендаторов—емфитевтов (ἀναχαμπτιχῶς ἔχοντες)[14]. По акту двух договаривающихся сторон, землевладельца и арендатора, относящемуся к 1217 г., последний получал в емфитевзис (ἐπαναχάμπτειν), на срок 25 лет, три модия земли, взяв на себя обязанность возделывать эту землю и выращивать на ней виноградник, с соответствующей ежегодной выплатой после трехлетнего срока[15]. В Лампсаке времени латинского господства, как это показал Д. А. Закитинос, встречается ежегодный денежный платеж за виноградники, выступающий под термином anacapsi (от греч. ἀνάχαμψις[16]). По всей очевидности, здесь сохранился и слой указанных выше греческих емфитевтов.

В ряде случаев завоеватели подтверждали прежние подати и повинности местного зависимого населения и обещали не увеличивать их[17]. Об этом содержит сведения и греческая версия „Морейской хроники"[18]. Такому сохранению прежнего уровня податей и повинностей содействовало вхождение греческих архонтов в состав господствующего класса в завоеванной стране. Под Коринфом имелись держания, поделенные между греческими и латинскими феодалами[19].

В латинской Морее крестьяне были закрепощены. По „Ассизам Романии" бежавший крестьянин мог быть возвращен сеньером[20]. Срок и связанная с ним возможность возвращения истекали только с 30—летней давностью побега[21]. Этот же срок давности действовал в византийском праве, по которому бежавшие крестьяне, не возвращенные в течение 30 лет, считались свободными[22].

---

[13] Tributa Lampsacenorum..., p. 208.

[14] *D.A. Zakythinos*, Le despotat grec de Morée.T.II,p.186.

[15] Ibid., p. 187.

[16] „.. le mot ἀνάχαμψις semble désigner une redevance annuelle en argent, calculée en hyperpères" (ibid., p.p. 186—187).

[17] Pactum Adrianopolitanum, Fontes rerum austriacarum, XIII. B. II. Abteil., p. 18. Concessio castri Corphonensis..., ibid., p. 57. *G. Ostrogorsky*, Geschichte des Byzantinischen Staates, München, 1952, S.S. 338—339. *J. Longnon*, L'Empire latin de Constantinople..., p.p. 209 etc. *Б.Т.Горянов*, Поздневизантийский феодализм, М., 1962, стр. 53.

[18] The Chronicle of Morea, 1647 etc. Edited by J.Schmitt, London, 1904, p. 113. Соответствующие сведения содержат также французская и итальянская версии „Морейской хроники". См. Le livre de la conqueste, Recherches historiques de la principauté de Morée, ed. *Buchon*, T.I., Paris, 1845, p. 39 Versione italiana inedita della Cronaca di Morea, Chroniques gréco-romanes, ed. *Ch. Hopf*, Berlin, 1873, p. 425.

[19] *D. A. Zakythinos*, Le despotat grec de Morée. T. II, p. 193.

[20] Assises de Romanie, ed. *G. Recoura*, Paris, 1930, 176, p. 270. *J. Longnon*, L'Empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, p. 210. *Б. Т. Горянов*, Поздневизантийский феодализм, М., 1963, стр. 54.

[21] Assises de Romanie, 182, p.p. 273—274. *J. Longnon*, L'Empire latin de Constantinople, p. 211.

[22] Πεῖρα, XV, 2, 3. *K. E. Zachariä von Lingenthal*, Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Berlin, 1892, S. 260. *В. Васильевский*, Материалы для внутренней истории византийского государства, Журнал министерства народного просвещения, CCII, 1879, стр. 162.

На Кипре XIII в. типиком монастыря св. Марии епископии Томассии засвидетельствованы денежная подать, выплачивавшаяся монастырю и сохранившая название византийского поземельного налога (κανών) и, помимо этого, еще различные приношения[23]. Эти подати выплачивали 24 парика, переданные монастырю еще Мануилом I[24]. Совершенно очевидно, что парики были крепостными уже в византийскую эпоху и сохранили это состояние после латинского завоевания. В латинских источниках они нередко называются сервами (serfs). Какая-то часть сервов латинского Кипра унаследовала свое крепостное состояние от византийской эпохи. Парики на этом острове должны были отдавать сеньерам 1/3 урожая и были обязаны другими поборами и приношениями[25].

На острове имелся слой крестьян, которые назывались перпериарами. Они были лично свободными крестьянами и не выполняли барщинных работ, но несли те же самые поборы и другие повинности, что и парики. Дополнительно к этому они еще выплачивали подать в 15 перперов[26]. Лефтеры, также будучи лично свободными крестьянами, обязаны были отдавать 1/5 или 1/10 урожая[27]. Эти различные категории крестьян, несомненно, возникли в византийскую эпоху.

Некоторые византийские особенности положения крестьян можно установить и по источникам, относящимся к истории Крита. По договору дуки Крита с греческими феодалами, заключенному в 1219 году, крестьяне должны были отдавать 1/5 часть урожая с посевов, такую же долю приплода скота и произведенного сыра[28]. Греческие феодалы не могли не сохранять какой-то традиции податного обложения византийского времени, даже если она и подвергалась видоизменению.

В договоре с Алексеем Калергисом (1299 г.) формулируется положение, по которому земледелец, выращивающий виноградник на не принадлежавшей ему земле, обязан был отдавать землевладельцу половину урожая[29]. Испольная аренда часто встречается и по византийским источникам, очевидно, она и в данном случае имеет византийское происхождение[30]. Алексею Калергису предоставлялось право на полу-

---

[23] Τυπικὴ διάταξις Νείλου ἱερομονάχου καὶ καθιγουμένου καὶ κτήτορος τῆς σεβασμίας μονῆς τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου τοῦ Μαχαιρᾶ, M. M, V, 423—424.

[24] Ibid.

[25] *G. Hill*, A History of Cyprus, Vol. II, Cambr., 1948, 8—9.

[26] *N. Iorga*, Le village byzantin, Etudes byzantines, II, Bucarest, 1940, p. 397. *G. Hill*, op. cit. p. 9.

[27] *N. Iorga*, op. cit., 396—397; *G. Hill*, op. cit., 10.

[28] Hoc est pactum, quod Dominicus Delphino duca Crete fecit con Constantino Seuasto et Theodoro Melissino et alliis grecis, Fontes rerum austriacarum. II, XIII, B., p. 212.

[29] Pax Alexii Calergii, Das Archiv des Herzogs von Kandia, hrsg. von *E. Gerland*, 1899, S. 125.

[30] *Е.Э.Липшиц*, Славянская колонизация..., Византийский сборник, М.—Л., 1945, стр. 123. *K.M. Setton*. On the Importance of Land Tenure and Agrarian Ta-

чение приношений — haniscia, обозначавшихся латинизированным греческим термином[31]. Термин говорит о поборе византийского времени.

По указанному выше договору дуки Крита с греческими феодалами (1219 г.), крестьяне должны были выплачивать 1 перпер с боваты земли — сбор, выступавший под названием византийского поземельного налога акростих (ἀκρόστιχον)[32]. В данном случае византийский налог превратился в феодальную ренту, которую взимали греческие же феодалы. Такому превращению этот налог подвергался и в Византийской империи, и это его появление в виде денежной ренты является исторически обусловленным видоизменением податного обложения в греческой среде. В кратком изложении постановлений венецианского сената неоднократно говорится об обязанности крестьян выплачивать 1 перпер[33]. При этом подчеркивалась связь этой подати с крестьянским состоянием: поселившиеся на Крите греческие моряки не считались крестьянами и были свободны от указанной подати[34]. Как можно полагать, это обложение в 1 перпер было превращенной формой византийского налога (акростих). Вместе с тем, оно свидетельствует о широком распространении этого поземельного налога на Крите византийской эпохи.

В 1399 г. в сенате рассматривалось прошение Джованни и Стефано Каркофилака, требовавших освобождения от уплаты 1 перпера. По их словам, их отец Иммануил Каркофилака подвергался принуждению со стороны дуки Джованни Санудо в 1333 г. платить 1 перпер в качестве принадлежащего республике крестьянина, но он доказал, что является сыном архонта (archondopoulo, от греческого ἀρχοντόπουλος) и был освобожден от этой подати. Тем не менее, камерарии Кандии снова требовали ее выплаты. Совет республики предоставил рассмотрение этого дела местным властям[35]. В данном случае венецианские власти покушались на права греческих феодалов, имевшие византийское происхождение. Подать в 1 перпер выплачивалась либо феодалам, либо республике, в соответствии с тем, от кого крестьяне зависели, и, следовательно, выступала то в виде феодальной ренты, то в виде налога. В последнем случае она совсем не отличалась от византийского налога.

Крестьяне Крита оставались крепостными и в XVI веке. Добиваясь сохранения крепостной зависимости, феодалы острова в декабре 1515 г. отправили в Венецию прошение, в котором связывали начала

---

xation in the Byzantine Empire, American Journal of Philology, LXXIV, 3 (1953) 237. *P. Lemerle*, Esquisse pour l'histoire agraire de Byzance..., Revue historique, CCXIX (1958) 56 etc. *А. П. Каждан*, Деревня и город в Византии IX—X вв., М., 1960, стр. 89 и след. *Е.Э.Липшиц*, Очерки истории византийского общества и культуры, М.—Л., 1961, стр. 70 и след.

[31] Pax Alexii Calergii, p. 125.

[32] Hoc est pactum..., p. 212.

[33] Le rubriche dei Libri Misti del senato perduti, Archivio veneto. Tomo 18. Parte I, 1879, pp. 59—60.

[34] Ibid., p. 61.

[35] Régestes des délibérations du sénat de Venise, ed. *F. Thiriet*, I, Paris, La Hague, 1959, № 350, p. 93.

крепостничества на острове с византийской эпохой и с политикой императоров. „Прежде всего, мы разъясняем, — говорилось в их прошении, — что парики[36] созданы мудрейшими князьями и императорами ввиду бесплодности здешней местности и для ее защиты“[37]. „И во избежание всяких неприятностей, а также для того, чтобы все части острова были заселены и обработаны, и были созданы парики, которые всегда находились в этом состоянии“[38]. Феодалы не только связывали крепостное состояние крестьян острова с положением римских колонов, но и возводили его нормы к положениям Аристотеля[39]. Идеологи господствующего сословия в интересах своего господства старались представить крепостничество вечным и приписывали его объяснение авторитетному в ту эпоху философу древности. Вместе с тем, его византийское происхождение не вызывало у них сомнений. Остров Корфу, отличавшийся плодородием[40], в конце XIV века снова перешел под власть Венеции[41]. Источники свидетельствуют о барщине на этом острове. В 1387 г. венецианский сенат подтвердил привилегии, предоставленные византийским императором и Карлом III Неаполитанским в пользу общины 32 греческих священников на Корфу. Последние освобождались от барщины и других повинностей. При этом в постановлении подчеркивалось, что масса корфиотов несла эти повинности[42]. Совершенно очевидно, что и под властью императора корфиоты выполняли какие-то барщинные работы, поскольку освобождение от них было привилегией. Этот вывод подтверждается постановлением сената 1391 г., согласно которому крестьяне этого острова не должны были выполнять других барщинных работ, кроме тех, которые были наложены на них издавна[43]. Тем же самым решением священники Николай и Феодор Пайатаки освобождались от разного рода повинностей и обязанностей за ежегодную выплату двух перперов[44].

На завоеванных территориях, таким образом, сохранялись некоторые категории византийского зависимого крестьянства. Греческие феодалы оставляли крестьян принадлежавших им владений в их прежнем положении, сохраняя прежние подати и повинности, которые для них были традиционными. Подати и повинности, по всей очевиднос-

---

[36] Речь идет о социальном положении париков, о парикии как состоянии крепостной зависимости.

[37] Mémoire présenté au gouvernement vénitien par les nobles de l'île de Candie sur l'importance et la nécessité du servage (parichia), Secrets d'État de Venise, ed. *V. Lamansky*, St. Petersbourg, 1884, p. 1035.

[38] Ibid.

[39] Ibid.

[40] *H.J-W. Jervis*, History of the Island of Corfu, London, 1852, p. 88. *Б. Крекић*, Дубровник и Левант, Београд, 1956, стр. 74.

[41] Остров Корфу находился под властью Венеции в 1206—1214 гг. и затем с 1386 г. по 1797 г.

[42] *F. Thiriet*, Régestes des délibérations du sénat de Venise, I, № 719, p. 176.

[43] Ibid., № 785.

[44] Ibid.

ти, оставались прежними и в греческих монастырях, где они были освящены старой монастырской традицией. Завоеватели, в некоторых случаях, обещали сохранять их на прежнем уровне. Однако, наряду с этим закреплением традиционных условий положения византийского крестьянства, имела место совсем другая практика и иная теория.

*

Латинские феодалы во многих случаях увеличивали подати и повинности местного крестьянства. Арагонская версия Морейской хроники сообщает о том, что Вильгельм Шамплитт рассматривал вопрос о преимуществе подчинения заселенной территории перед ее разграблением и разорением[45]. Если бароны не имели уверенности по данному вопросу, то сохранение податей и повинностей на прежнем уровне могло у них вызывать еще большие колебания[46]. Действовавшие в Морее „Ассизы Романии" юридически закрепляли практику произвольного распоряжения со стороны сеньера имуществом крестьянина: сеньер мог распоряжаться его держанием и всем его имуществом и мог лишить крестьянина их[47]. Это положение свода законов предоставляло латинским феодалам определенные права, превосходившие те, которые император и архонты имели на основе законов империи в XII веке[48].

Возросший — в сравнении с византийским прошлым — спрос на хлеб побуждал увеличивать барщину на Крите в ранний период венецианского господства[49]. Целый ряд потребностей портов транзитной торговли вызывал увеличение или введение трудовой повинности в области Корона и Модона: обозначение барщины в пользу государства (officium parapisino) свидетельствует об ее венецианском происхождении[50]. Постановления сената о том, что венецианские чиновники на этой территории должны покупать целый ряд предметов, а не получать их бесплатно,[51] дают основание предполагать, что до этого времени (1362 г.) имела распространение практика их произвольного присвоения. С XIII

[45] Libro de los fechos et conquistas del principado de la Morea, 108, Chronique de Morée, ed. *A. Morel-Fatio*, Genève, 1885, p. 27.

[46] Виллардуэн сообщает о том, что завоеватели причиняли населению всякое зло. Cf. Villehardouin, La conquête de Constantinople, LXVII, Historiens et chroniqueurs du moyen âge, ed. *A. Pauphilet*, Paris, 1952, p. 159.

[47] Assises de Romanie, 197, pp. 281—282.

[48] Так, согласно грамоте, выданной Михаилом VIII Палеологом в 1262 г., император мог распоряжаться теми землями, которые жители держали за годовую ренту владельцу или государству, тогда как его права на патримониальные земли были ограничены, и его распоряжение землей этого рода (например, передача монастырю или кому-либо другому) могло оказаться незаконным (Imperator tuetur iura monasterii..., Joannes Selagita, dux..., Imperator Michael Paleologus confirmat monasterio liberam possessionem..., M M VI, 210 sq.). См. также рецензию *Д. Ангелова*, Byzantinoslavica XXV, 1 (1964) 117—118. Что касается архонтов, то их права на предоставлявшиеся им фискальные (не матримониальные) земли были ограничены властью императора.

[49] Cf. Régestes des délibérations du sénat de Venise, I.

[50] Ibid., I, № 386, p. 100.

[51] Ibid., I, № 386, pp. 100—101.

в.[52] по XIV в.[53] повысилась барщина на Кипре. В XIV — XV вв. тоже самое произошло и на Корфу[54].

На Кипре латинские сеньеры установили те формы феодального контроля над брачными отношениями крепостных, которые были распространены в Западной Европе XI—XII вв. Латинские бароны, переселившиеся в своей значительной части на Кипр из Иерусалимского королевства, ввели на этом острове обычаи и законы королевства. При этом действовавшие на Кипре обычаи и законы были не только приспособлены к местным условиям на острове, не только фиксировали сложившиеся на острове феодальные отношения, но и действовали на греческом языке. Параллельно им действовали своды иерусалимских законов и трактаты юристов, в особенности, широко популярный трактат Жана д'Ибелина, имевший силу в его французской и итальянской версии. Обычаи и законы Кипра предусматривали случай, когда крепостная выходила замуж в другую сеньерию. Ее новый господин при этом должен был возместить ее потерю прежнему владельцу такой же или лучшей крепостной брачного возраста. Если муж этой крестьянки умирал, а сама она возвращалась в прежнюю сеньерию, владелец данной взамен крепостной не мог препятствовать ее возвращению[55].

Этот обмен крепостной невесты, в случае ее выхода замуж в другую сеньерию, соответствовал наиболее архаическим формам крепостной зависимости в Западной Европе, предшествовавшим побору в виде формарьяжа, который должны были платить вступавшие в брак крепостные.

Эта западная форма получила на Кипре своеобразное юридическое развитие. Необходимость возмещать уход в другую сеньерию была отменена королевским указом 1468. г., хотя и после этого вдова должна была возвращаться в прежнюю сеньерию в случае смерти мужа[56]. Таким образом латинские завоеватели не только ввели на Кипре архаическую форму крепостной зависимости, исторически предшествовавшую западноевропейскому формарьяжу, но и закрепили ее на острове на несколько столетий, тогда как в странах Западной Европы сменивший эту архаическую форму формарьяж прекратил свое существование в XII—XIII вв.

По „Ассизам Романии" в латинской Морее действовал менморт[57] в той его форме, которая была распространена в Вермадуа[58], Анжу и Мане[59] и в ряде других французских княжеств.

[52] Document relatif au service militaire, Chap. II, Assises de Jérusalem, ed. *A. Beugnot*, Paris, 1842, p. 430.

[53] *N. Iorga*, Le village byzantin, op.cit., p. 396.

[54] Régestes des délibérations du sénat de Venise, II, № 1559, p. 131.

[55] Livre de Jean d'Ibelin, chap. CCLIII, Assises de Jérusalem, ed. *A. Beugnot*, T.I, Paris, 1841, pp. 404—405; chap. CCLIV, p. 405.

[56] *G. Hill*, A History of Cyprus, Vol. II, Cambr., 1948, p. 9.

[57] Assises de Romanie, 184, pp. 274—275; 185, p. 275.

[58] Coustumes des pays de Vermendois et ceux des environs, IX^{e} chap., 139, ed. *C.-J Beautemps-Beaupré*, Paris, 1858, pp. 79—80.

[59] Ce sunt les coustumes d'Anyon et du Maigne. XIII^{e} siècle, 105 Coustumes et institutions de l'Anjou et du Maine. T.I, ed. *C.-J. Beautemps-Beaupré*, Paris, 1877, p. 126—127.

Таким образом, завоеватели, допуская сохранение традиционных податей и повинностей византийского крестьянства, в то же самое время, увеличивали их, вводили новые повинности и распространяли на местное население неизвестные ему тяжелые западноевропейские формы крепостиой зависимости и регулировавшие их обычаи.

Рассмотренные особенности крестьянских податей и повинностей в латинский период свидетельствуют о том, что в положении крестьянства этой эпохи совмещались тенденции сохранения податей и повинностей на прежнем уровне и их увеличения. Обе они были обусловлены социально-экономическими отношениями латинского периода.

Греческие архонты стремились удержать свое господствующее положение над крестьянами и свои привилегии и поэтому старались в наибольшей степени сохранять старые порядки. Они сохраняли также традиционные подати и повинности. Удерживали их и греческие монастыри. В свою очередь латинские сеньеры были вынуждены сохранять их на прежнем уровне, поскольку, в случае повышения старых податей и введения новых повинностей, они наталкивались на сопротивление крестьян, их бунты и восстания, переходившие на Крите в крестьянскую войну.

Вместе с тем, в ходе четвертого крестового похода завоеватели беспощадно грабили местное население. С Запада на Восток, а затем и из Палестины на византийские территории переносились более суровые обычаи крепостной зависимости. Развитие товарно-денежных отношений в XIII—XIV вв., проникновение в восточное Средиземноморье итальянских капиталистических компаний и увеличение спроса на сельскохозяйственные продукты этого района создавали в среде феодалов стимул к увеличению производства хлеба и других продуктов земледелия, а также к повышению податей и различных повинностей и, в том числе, к введению или увеличению барщины. В ряде латинских областей восточного Средиземноморья эта тенденция стала господствующей. Она вызывала упадок традиционных византийских отношений.

В двух отмеченных тенденциях социально-экономического развития латинской Греции, выступавших в то же самое время и как тенденции сохранения, закрепления, видоизменения и трансформации отношений византийского феодализма, в том числе, византийских податей и повинностей, проявлялись своеобразные, сложные и противоречивые особенности развития этой завоеванной страны; в них находили выражение самые различные элементы ее общественных отношений — принесенные завоевателями с Запада, сохранившиеся от византийского прошлого, оформившиеся в виде синтеза различных явлений прошлого и настоящего, представлявшие диалектическое единство и поверхностное наслоение. До латинского завоевания византийский феодализм совершал свой своеобразный путь исторического развития. Завоевание

и принесенные завоевателями общественные отношения продолжили некоторые его тенденции и ускорили их. Вместе с тем, они задержали или приостановили другие тенденции этого развития. Господство латинских баронов и рыцарей усилило местную аристократию в ее борьбе против горожан и ослабило последних. Наконец, в феодализме данного района распространилось и расширилось искусственное совмещение различных особенностей, элементов и явлений общественных отношений византийского и западноевропейского феодализма. Развитие феодальных отношений в Греции стало более органическим в поздневизантийскую эпоху, которая была недолговечной.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

HERBERT HUNGER

BYZANTINISCHES EHERECHT IM 14. JAHRHUNDERT: THEORIE UND PRAXIS

Die enge Verflechtung und gegenseitige Beeinflussung von staatlicher und kirchlicher Gesetzgebung in Byzanz führte im Laufe der Jahrhunderte zu einer weitgehenden Verchristlichung des Rechtslebens und der Rechtsauffassungen. Vor wenigen Jahren habe ich diese Entwicklung für das byzantinische Eherecht in einem Vortrag in der „Österr. Gesellschaft für Kirchenrecht" nachzuzeichnen versucht.[1] Es wäre ein Irrtum, anzunehmen, daß in der Palaiologenzeit irgendwelche bemerkenswerten Änderungen im byzantinischen Eherecht eingetreten sind. Ein Vergleich der Hexabiblos des Konstantinos Harmenopulos und des Syntagma des Matthaios Blastares (beide 14. Jh.) in Bezug auf eherechtliche Bestimmungen mit den bis dahin gültigen Nomoi und Kanones bestätigt diese Behauptung. Das 14. Jh. ist jedoch auf Grund der besonderen Quellenlage für das Studium der eherechtlichen Verhältnisse in Byzanz und der diesbezüglichen Praxis im Alltagsleben besser geeignet als andere Zeiträume. In dem von 1315 bis 1402 reichenden Konstantinopler Patriarchatsregister, das vor mehr als einem Jahrhundert von F. Miklosich und J. Müller in den Acta et diplomata graeca medii aevi I. II. Wien 1860—61 (= MM) ediert wurde, besitzen wir reiches Material für unsere Fragestellung, das zugleich interessante Einblicke in die sozialen Verhältnisse der byzantinischen Spätzeit gewährt.

Die Kernfrage, um die es in den meisten Fällen geht, die ich heute behandeln möchte, betrifft die Gültigkeit einer Ehe. Sie war bekanntlich von verschiedenen Voraussetzungen abhängig, die auf gesetzlichen Bestimmungen beruhten. So war seit der Synode von 1166 jede Ehe unter Seitenverwandten einschließlich des 7. Grades verboten.[2] Die dritte und noch mehr die 4. Ehe (τριγαμία und τετραγαμία) wurde von der Kirche als sukzessive Polygamie angesehen und grundsätzlich untersagt bzw. bestraft.[3] In der Praxis hielt man sich in mittelbyzantinischer Zeit in der Regel an den sogenannten Tomos τῆς ἑνώσεως von 921, der dem Tetragamie-

[1] *H. Hunger*, Christliches und Nicht-Christliches im byzantinischen Eherecht, in: Österr. Archiv für Kirchenrecht. 18 (1967) 305—325.
[2] *Grumel*, Regestes 1068 vom 11. April 1166.
[3] *J. Zhishman*, Das Eherecht der orientalischen Kirche, Wien 1864, S. 435 ff.

Streit aus der Regierungszeit Leons VI. ein Ende setzen sollte. Das von Staat und Kirche für die Gültigkeit der Ehe geforderte Mindestalter war seit Justinian — abgesehen von einer variatio in der Ekloge[4] — für den männlichen Teil das vollendete 14., für den weiblichen Teil das vollendete 12. Lebensjahr.[5]

Voraussetzung für die kirchliche Gültigkeit einer Ehe wurde im Laufe des 8. und 9. Jh. auch die kirchliche Einsegnung (εὐλογία, ἱερολογία, στεφάνωμα). Jedenfalls erhebt die 89. Novelle Kaiser Leons VI. eindeutig diese Forderung.[6] Mit der Übernahme dieser für die Rechtmäßigkeit der Ehe unerläßlichen Funktion unterzog sich der Priester natürlich auch der Verantwortung, nur jene Personen einzusegnen, bei denen keinerlei Ehehindernisse vorlagen und u. a. auch die oben genannten Bedingungen für die Gültigkeit der Ehe erfüllt waren. Diese Aufgabe und die damit verbundenen Recherchen erforderten Umsicht und Geduld, aber auch Kenntnis der kanonischen Bestimmungen, kurzum Eigenschaften, die man nicht von vornherein bei jedem Popen voraussetzen konnte.

Die diesbezüglichen Dokumente des Konstantinopler Patriarchatsregisters informieren uns nun über die allgemeinen und besonderen Maßnahmen, welche die Patriarchen bzw. die von ihnen präsidierte Synode im 14. Jh. ergriffen, um die Disziplin der Geistlichkeit in Fragen des Eherechts einigermaßen aufrecht zu erhalten. Patriarch Athanasios I., der überhaupt für seine strengen Grundsätze in allen Angelegenheiten der äußeren und inneren Disziplin bekannt ist, — z. B. verlangte er in einer Eingabe von Kaiser Andronikos II. die strenge Bestrafung aller außerehelichen Geschlechtsverbindungen durch staatliche Gerichte[7] — ließ von der Synode die Entscheidung aussprechen, daß Ehen ohne Wissen und Mitwirkung des Ortsgeistlichen in Zukunft nicht mehr gültig sein sollten. Dieser Synodalbeschluß wurde von Kaiser Andronikos II. bestätigt.[8] Der Ortsgeistliche erhielt zu diesem Zweck ein Formular, die Bulla (βούλλα, στεφανοχάρτι), mit dem er von seiner vorgesetzten Behörde ermächtigt wurde, die Trauung vorzunehmen. Der urkunden- und kanzleibeflissene Patriarch Matthaios I. (1397—1410) verfügte die Einrichtung von Heiratsmatrikeln, die uns im Patriarchatsregister für die Zeit vom 8. August 1399 bis 24. Jänner 1400[9] und vom 1. Februar 1400 bis 30. April 1400[10] überliefert sind. Hier wurden jeweils genannt der Geistliche, dem die Bulla übermittelt wurde (ἐδόθη; bzw. ἔλαβε βούλλαν), ferner die Namen der Brautleute und die Art der Ehe (ob erste oder 2. Ehe).

---

[4] Ekloge II 1.

[5] *Zhishman*, Eherecht, S. 202.

[6] Leon VI., Nov. 89, S. 295—297, ed. P. Noailles — A. Dain, Paris 1944.

[7] *Laurent*, Regestes 1607, Nr. 2. 3 vom Oktober 1304 (Paris 1971, S. 389). *Zepi*, JGR I 535 γ'. *Rhalles-Potles* V 123 f. Harmenopulos VI 3, 8. *Dölger*, Regesten 2295, Nr. 2. 3 (Mai 1306). — Über die beiden Rezensionen und die schwierige Frage der Chronologie: *Laurent*, a. O., S. 392—395.

[8] *Laurent*, Regestes 1607, Nr. 11. *Zepi*, JGR I 536 ια'. *Rhalles-Potles* V 126, Anm. *Dölger*, Regesten 2295, Nr. 11.

[9] MM II 522, S. 297—299.

[10] MM II 527, S. 303—304.

Leider brechen diese Matrikeln sehr bald ab.[11] Man kann sich übrigens trotz der außergewöhnlichen Verhältnisse in jenen Jahren — Konstantinopel war seit 1394 von den Türken blockiert — kaum denken, daß dies alle damals im Bereich des Patriarchats d. h. der Hauptstadt vollzogenen Eheschließungen gewesen sein sollten; ich zählte für die genannten 9 Monate 41 Ehepaare. Sei dem wie immer, daß es sich bei dem Instrument der Bulla zugleich um eine Möglichkeit der Disziplinierung handelte, ersehen wir zunächst aus folgendem Synodalbeschluß vom 20. 1. 1383: „An demselben Tag wurde von seinem priesterlichen Amt für ein Jahr suspendiert der Pope des Kynegos-Bezirkes, da er ohne Bulle die Tochter des Megas Primikerios Asan mit Rhaul eingesegnet hat, und zwar weil es sich um eine zu einem Teil verbotene Ehe handelt."[12] Die Enthebung vom Amt für ein Jahr bedeutete für den Geistlichen nicht nur eine moralische, sondern gewiß auch eine materielle Strafe, da er in dieser Zeit keinerlei Anspruch auf Anteile an Benefizien hatte.[13] Trotzdem gab es unzuverlässige Typen wie jenen Konstantinos Kabasilas, seines Zeichens Protopapas τῶν Βλαχερνῶν,[14] den man wegen sonstiger Verfehlungen, aber auch wegen der Einsegnungen ohne Bulla durch ein schriftliches Versprechen festlegen wollte, — wie sich zeigen sollte, allerdings ohne Erfolg.[15] Die vom Patriarchen bzw. vom Bischof ausgehende Ermächtigung zur Einsegnung der Ehe in Form der Bulla wurde in der Praxis vom Megas Chartophylax erteilt. Dieser schickte einen Beauftragten mit der Bulla ab, der — vielleicht nur in Zweifelsfällen — erst nach Einziehung von Erkundigungen bei den Brautleuten das Formular dem Geistlichen aushändigen durfte. So verstehe ich die fallweise Notiz in den Matrikeln: ἀπεστάλη δὲ ὁ N. N. εἰς τοῦτο oder ähnlich.[16] An den Chartophylax wandte man sich also in besonders schwierigen Fällen. Unverschämte Kleriker verstanden es, gelegentlich sogar sich gegen den Willen des Chartophylax durchzusetzen: so der Priester Machetares, der sich dem Chartophylax gegenüber respektlos benahm und zuletzt die Entsendung eines Vertrauensmannes namens Paradeisos mit der Bulla verhinderte, indem er selbst das

[11] Im Codex fehlen darnach nicht 4 Folien (vgl. MM II, S. 304, Anm.), sondern drei: *J. Darrouzès*, Le registre synodal du patriarcat byzantin au XIVe siècle, Étude paléographique et diplomatique, Paris 1971, S. 14.

[12] MM II 360/V, S. 51. Zum Kynegos s. *Janin*, Constantinople byzantine, Paris² 1964, S. 377.

[13] Zu den Benefizien in Byzanz (κληρικᾶτα) vgl. *Beck*, Kirche, S. 85 f. und die dort zitierten Arbeiten von *E. Herman*. Der Klerus lebte von Stiftungen, daneben von freiwilligen Gaben der Gläubigen und Stolgebühren.

[14] Der Protopapas gehörte zu den mittleren bzw. unteren Rängen der kirchlichen Hierarchie; vgl. *J. Darrouzès*, Recherches sur les ΟΦΦΙΚΙΑ de l'église byzantine, Paris 1970, S. 116. 119. 121 u. ö. Eine Notiz im Cod. Batop. 754, f. 202v (*Darrouzès*, a. O., S. 575) unterscheidet zwischen μέγας πρωτοπαπᾶς und μικρὸς πρωτοπαπᾶς; dazu *Darrouzès*, a. O., S. 293. — Die Bezeichnung τῶν Βλαχερνῶν bezieht sich auf den Blachernenpalast und die mit ihm verbundene berühmte Theotokos-Kirche: *Janin*, Églises, S. 169—179.

[15] MM II 361, S. 51 ff.; 53, 23—26: πρὸς ταῦτα ἀνεγνώσθησαν συνοδικῶς αἱ ἐν τῷ παρόντι κώδικι γεγραμμέναι ὑποσχέσεις αὐτοῦ, ἃς πολλάκις ἐποίησεν ὑποσχεθείς, μήτε παράνομόν τι ποιῆσαι, μήτε εὐλογῆσαί τινα χωρὶς βούλλης.

[16] MM II 522, S. 297, 14. 18; 299, 12.

Dokument an sich riß und die Einsegnung gegen den Willen des Chartophylax vollzog.[17] Sowohl gegen diesen Machetares wie gegen Konstantinos Kabasilas wurde von Synode und Patriarch die uneingeschränkte Absetzung (Deposition; παντελὴς καθαίρεσις) ausgesprochen.

Eine generelle Maßnahme zur Hebung der Disziplin der Kleriker stellte die von Patriarch Kallistos I. 1350 veranlaßte Einsetzung von Exarchen zur besseren Kontrolle der Geistlichkeit dar.[18] Allerdings deutet die schon knapp 2 Jahre später erfolgte ernste Verwarnung eines solchen Exarchos, des Tabularios Skutariotes, darauf hin, wie schwer sich diese Visitatoren durchsetzen konnten. Der Patriarch erklärte verärgert, daß sich an den Mißständen nichts geändert habe und er, wenn es so weiter gehe, den Exarchen zur Verantwortung ziehen und allenfalls seiner Ämter entheben werde.[19] Im Dezember 1357 ließ sich der Patriarch nach einer 4. (!) strengen Verwarnung von allen Exarchen und verantwortlichen Priestern schriftlich bescheinigen, daß sie im Falle weiterer Pflichtverletzungen mit der Absetzung (Deposition) zu rechnen hätten[20] Dies beweist die geringe Wirksamkeit und Durchschlagskraft der vom Patriarchen eingesetzten Visitatoren, die in der Regel auf persönliche Freundschaften, Verwandtschaft und andere Beziehungen Rücksicht nahmen.[21]

Beobachten wir zunächst Theorie und Praxis in der Frage der Verwandtschaftsgrade als Ehehindernis. Seitenverwandstschaft bis zum 7. Grad bildete seit dem 12. Jh. ein Hindernis für die Gültigkeit einer Eheschließung. Dem entspricht die Erledigung einer Anfrage an die Synode von 1325, in der Seitenverwandtschaft (Verschwägerung) des 6. Grades festgestellt und der Vollzug der Ehe im Hinblick auf die Vermengung der Verwandtschaftsnamen (σύγχυσις τῶν ὀνομάτων) für die bereits Verlobten untersagt wurde.[22]

Im Juli 1389 setzte die Synode einen Priester namens Manuel ab, weil er eine Ehe der Blutsverwandtschaft 4. Grades eingesegnet hatte.[23] Es wird betont, daß der Megas Chartophylax diese Eheschließung zu ver-

---

[17] MM II 360, S. 49. Die Entsendung des Vertrauensmannes wird als alte Konvention bezeichnet (S. 49, 18—20): ἠβουλήθη καὶ ὁ Παράδεισος ἀπελθεῖν μετὰ τῆς βούλλης ἐκεῖσε, καθώς ἐστιν ἀνέκαθεν σύνηθες.
MM II, S. 55, 19 erscheint Paradeisos als Primikerios.

[18] MM I 135, S. 306—312.

[19] MM I 138, S. 318—320. — Ταβουλ(λ)άριος und — praktisch gleichbedeutend — νομικός sind Titel, die im Metropolitanklerus häufig auftreten: *Darrouzès*, a. O., S. 120, A. 4. Im 14. Jahrhundert waren viele ταβουλλάριοι zugleich Priester. Aber auch die Notare auf dem Lande hießen so: *Darrouzès*, a. O., S. 381 f.

[20] MM I 167, S. 368—375.

[21] A. O., S. 369, 8 ff.

[22] MM I 63/VI, S. 139 f.

[23] Im gedruckten Text bei MM steht fälschlich „5. Grad", πέμπτου βαθμοῦ: MM II, S. 138, 22. Da es sich aber um die Heirat von Cousin (ἐξάδελφον) und Cousine handelt, liegt vermutlich ein Versehen des Patriarchatsnotars (?) vor. — Der Pope Manuel war aus dem Land der Saurer gekommen: ἀπὸ τῆς χώρας τῶν Σαυρῶν. Σαῦροι erscheinen in der Kirchengeschichte des Gelasios I 4, 2 = S. 8, 29 Loeschke—Heinemann.

hindern suchte, und daß zunächst kein Priester in der Stadt es wagte, sie zu vollziehen.

Während man hier mit aller Strenge vorging, bediente man sich in einem anderen Falle, der zwar nicht datiert ist, aber ziemlich sicher aus dem letzten Jahrzehnt des 14. Jh. stammen dürfte, der bekannten Oikonomia. Ein gewisser Merxos, Cousin des Kaisers, hatte eine Ehe geschlossen, die wegen des Verwandtschaftsgrades (διὰ τὴν ἐγγύτητα τῶν βαθμῶν) verboten war. Der Erzbischof von Ohrid gab der unkanonischen Ehe seinen Segen und ein an den Patriarchen gesandter Mönch Athanasios sollte diesen über das fait accompli informieren. In diesem Fall wurde keine Entscheidung der Synode evoziert; vielmehr erledigte der Patriarch die Sache durch ein persönliches Schreiben an den Verwandten des Kaisers. Zwar betonte er bei aller Höflichkeit, daß es sich um einen schwierigen und außergewöhnlichen Fall handle (τὸ μὲν οὖν πρᾶγμα βαρὺ ἔδοξεν εἰς ἡμᾶς καὶ ἀσύνηθες) und daß diese Ehe wegen des Verwandtschaftsgrades verboten sei. Da die Eheschließung jedoch im Interesse der Christen — angesichts der Besetzung des Landes durch die Türken — gewesen sei und der Emir selbst den Adressaten zu dieser Handlung gedrängt habe[24], wolle der Patriarch nicht anders entscheiden als der Erzbischof von Ohrid, der die unerbittliche Notwendigkeit dieser Heirat (διὰ τὰς τοιαύτας ἀπαραιτήτους ἀνάγκας) erkannt habe. Seinerseits empfehle er den Eheleuten ein frommes Leben und gute Werke, u. a. das Loskaufen von Gefangenen.[25] Der Patriarch vergaß auch nicht den unmittelbaren Anlaß für seine Oikonomia zu erwähnen, nämlich die massive Intervention von Kaiser und Kaiserin.[26] Wir haben es also mit einem Fall zu tun, wo die Praxis des Eherechts mit Rücksicht auf die soziale Stellung der Betroffenen — der Adressat wird als Angehöriger der Oberschicht mit ἡ εὐγένειά σας angeredet — von der Theorie eindeutig abwich.[27]

Zur Frage der mehrfachen sukzessiven Ehe besitzen wir im Patriarchatsregister das interessante Protokoll einer Synode, die etwa 1360 zusammengetreten war.[28] In den vorangegangenen Jahrhunderten hatte man sich in der Regel an den Tomos τῆς ἑνώσεως von 921 gehalten, der 997 in einem neuen Tomos vom Patriarchen Sisinnios und auch vom Kaiser Basileios II. nochmals bestätigt wurde. Nach diesen Tomoi war die 4. Ehe (τετραγαμία) unter allen Umständen untersagt, und wer eine solche Ehe einging, wurde aus der Kirche ausgeschlossen. Aber auch die 3. Ehe (τριγαμία) unterlag hinsichtlich des Alters der Partner und bezüglich der schon vorhandenen Kinder verschiedenen Einschränkungen und Kirchenstrafen. Anlaß für die Einberufung der oben genannten Synode war eine Eingabe des Metropoliten von Chalkedon und des designierten Metropoliten von Thessalonike Neilos Kabasilas, die aus einer Liste von 3. und 4. Ehen sowie sonst nicht erlaubten Ehen (ἀθεμιτογαμίαι) bestand, die in der jüngeren

[24] καὶ ἐβιάσθητε δὲ παρὰ τοῦ μεγάλου ἀμηρᾶ.
[25] MM II, S. 231, 7 f.: καὶ ἐξαγοράζητε αἰχμάλωτα καὶ ἐλευθεροῦτε αὐτά.
[26] ἠγωνίσαντο: wahrscheinlich Manuel II. und Helene.
[27] A. O., S. 230, 25.
[28] MM I 181, S. 416—423. *Dölger*, Regesten 3077. *Darrouzès*, Registre, S. 110, Anm. 50.

Vergangenheit geschlossen worden waren. Die Antragsteller verlangten Bereinigung dieser unkanonischen Vorkommnisse. An sich war die theoretische Entscheidung auf Grund der bisher gültigen Tomoi nicht schwer, und man versteht es durchaus, daß die Antragsteller und ein weiterer Synodale die Fassung eines strengen Beschlusses forderten, der mit den Mißständen aufräumen sollte. Es entbehrt nun nicht der Pikanterie, daß sowohl der Patriarch von Konstantinopel als auch der als Gast anwesende Patriarch von Jerusalem und die übrigen Synodalen die Meinung vertraten, daß die angeführten Übertretungen ohnehin mit Kirchenstrafen belegt würden, daß der Patriarch stets auf die Einhaltung der Kirchendisziplin achte,[29] und daß man mit einem solchen Synodalbeschluß Verwirrung stifte,[30] der Kirche überhebliche Vorwürfe mache,[31] sowie Ärgernisse und Unannehmlichkeiten für die Kirche hervorrufe.[32] Die freie Diskussion (παρρησιάζεσθαι) und wiederholte Behandlung (ἀεὶ παρεισάγεσθαι) dieser Themen führe nicht nur zur Verwirrung (ταραχὴν ἐπεγείρει), sondern belaste die Kirche mit überheblichem Tadel.[33] Offenbar waren sich die meisten Synodalen dessen bewußt, daß auch in dieser Frage des Eherechts, nämlich der mehrfachen sukzessiven Ehen, Theorie und Praxis sich zu ihrer Zeit voneinander unterschieden. Die Diskussion dieser Differenzen und ihre Aufnahme in Synodalbeschlüsse erschien ihnen eher als Überbetriebsamkeit (πολυπραγμονεύεσθαι, S. 420, 20) und für das Ansehen der Kirche nicht opportun.

Wohl aber wurde verschiedentlich auf die Notwendigkeit des gemeinsamen Vorgehens von Patriarch und Kaiser hingewiesen, zumal ja auch frühere Kaiser in Fragen des Eherechts mit der Kirche konform gegangen waren.[34] Daß wir uns hier in einem der Bereiche finden, wo man von einer reinlichen Trennung der kaiserlichen und patriarchalen Kompetenzen weit entfernt war, geht aus einem Passus dieses Protokolls hervor, in dem sich der Patriarch dagegen verwahrt, daß das kaiserliche Prostagma mit der Aufforderung zur Einberufung der Synode auch eine Behandlung des Gegenstandes im Sinne der Antragsteller bedinge, wo er selbst doch stets in den vergangenen Jahren, auch gemeinsam mit der Synode, diese Fragen des Eherechts geprüft und die nötigen Urteile veranlaßt habe.[35]

---

[29] Diese Behauptung wird durch das Patriarchatsregister bestätigt: 1. Verwarnung des Exarchen Skutariotes durch Patriarch Kallistos 1352. Hier ist ausdrücklich von den mehrfachen Ehen die Rede, gegen die der Patriarch schon früher (πέρυσι) Stellung genommen habe (MM I, S. 318, 27 f.): ἵνα γένωνται ἐκ τοῦ μέσου καὶ διορθωθῶσιν αἱ· τριγαμίαι, αἱ ἀθεμιτογαμίαι, αἱ τετραγαμίαι, αἱ πολυγαμίαι, αἱ μοιχοζευξίαι κτλ.
2.) 4. und letzte Verwarnung der Exarchen 1357 (MM I, S. 368, 30—32): φιλανθρωπίᾳ δὲ ὅμως χρησαμένη ἡ μετριότης ἡμῶν οὐ μόνον τὴν πρώτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην εἰσήγησιν, ἀλλὰ καὶ τετάρτην ποιεῖται τὴν σήμερον ἤδη καὶ τελευταίαν κτλ.

[30] MM I, S. 417, 29: σύγχυσιν μόνον ἐπάγον.

[31] A. O., S. 419, 11 f.: ὡς προστρίβεσθαι ἐντεῦθεν ὕβριν καὶ κατηγορίαν τῇ ἐκκλησίᾳ θεοῦ.

[32] A. O., S. 420, 21 σκάνδαλα καὶ ὀχλήσεις.

[33] A. O., S. 422 f.: μῶμον καὶ ὕβριν τῇ ἐκκλησίᾳ προστρίβει θεοῦ.

[34] A. O., S. 418, 28: πλὴν μετὰ βασιλικῆς ἰσχύος; 419, 5: παρὰ τῆς βασιλικῆς δυνάμεως; ferner 422, 9 f.

[35] MM I 422, 16—24. Zu ähnlichen Kompetenzüberschneidungen im 11. und 12. Jahrhundert vgl. *J. Darrouzès*, Documents inédits d'ecclésiologie byzantine, Paris 1966, S. 53 u. ö.

Außer diesem Synodalprotokoll gibt es noch einzelne Entscheidungen zu Fällen der sukzessiven mehrfachen Ehe aus dem 14. Jh. 1393 gestattete Patriarch Antonios IV. einem Petenten die 3. Ehe in Anbetracht seiner Jugend (διὰ τὸ νέον αὐτὸν εἶναι), unter der Auflage, daß er für sein aus einer früheren Ehe vorhandenes Kind sorgen werde.[36] Bemerkenwert scheint mir im Hinblick auf die Bestimmungen des Tomos τῆς ἑνώσεως, daß das Alter des Ehemanns nicht angegeben wurde, ferner, daß ein Kind aus einer früheren Ehe vorhanden war.

Wenige Jahre zuvor (1389) wandte sich ein Heiratskandidat, dem der Megas Chartophylax die Ehe verwehrt hatte, an den Patriarchen und die Synode. Nach zwei gültigen Ehen hatte der Betreffende eine formlose Verlobung ohne kirchliche Intervention geschlossen; das Band zwischen den Verlobten bestand in diesen Fällen in dem Austausch von Kreuzen, oft Brustkreuzen (Enkolpia).[37] Während der Megas Chartophylax dieses Verlöbnis als 3. Ehe zählte und eine „Tetragamie" ablehnte, kam die Synode „nach genauer Prüfung" zu dem Beschluß, daß es sich jetzt nur um eine 3. Ehe handle, da das Verlöbnis ohne kirchliche Einsegnung (εὐχὴ ἱερατική) und nur im Rahmen eines Festmahles erfolgt sei (ἀλλὰ ἁπλῶς ἐν συμποσίῳ πεποιήκασι τοῦτο). Immerhin würde man aber auch hier mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Tomus unionis zumindest eine Bemerkung über die Zulässigkeit der 3. Ehe in Bezug auf Alter und Kinder oder Kinderlosigkeit erwarten. Es scheint hier doch eine gewisse Liberalität bzw. Oikonomia nicht ungewöhnlich gewesen zu sein.

Skrupulöser war man in der Einschätzung solcher Verlöbnisse, wenn es sich um Kandidaten für den Priesterstand handelte. 1394 fragte ein Demetrios Asomatianos bei demselben Patriarchen Antonios IV. an, ob er zum Priester geweiht werden könne, wenn er ein rein ziviles Verlöbnis, das nur auf gegenseitigem Konsens beruhte (ψιλή τις συμφωνία καὶ συγκατάθεσις) wegen der Minderjährigkeit des Mädchens lösen und eine andere Frau heiraten werde. Obwohl ausdrücklich erklärt wurde, daß bei jenem Verlöbnis keine Kreuze, Enkolpia oder ähnliches ausgetauscht wurden, forderte der Patriarch den Metropoliten von Methymna auf, die Umstände bei jenem Verlöbnis genau zu überprüfen und ihm darüber Bericht zu erstatten, damit die Synode ein sicheres Urteil fällen könne.[38]

Wie weitherzig man in der Praxis sein konnte, besonders wenn es um materielle Interessen ging, zeigt jener Bischof von Cherson, der sich bestechen ließ (λαβὼν ἄσπρα ἱκανά) und die Einsegnung einer 5. Ehe (πενταγαμία) gestattete. Sein Vorgesetzter, der Metropolit von Gothia, berichtete dies dem Patriarchen, der seinerseits Kläger und Beklagten vor das Synodalgericht zitierte.[39]

---

[36] Die Immobilien hiefür werden aufgezählt: MM II 442, S. 176.

[37] MM II 403, S. 115 f.: διὰ δεσμοῦ ἐγκολπίων (115, 28).

[38] MM II 464, S. 212. Vgl. auch MM I 55, S. 98 f.: Die Anfrage eines Anagnosten, ob er zum Priester geweiht werden könne, wenn er ein Mädchen heirate, das seinerzeit im Alter von 5 Jahren auf Wunsch der Eltern mit einem 9-Jährigen verlobt worden war, worauf das Verlöbnis bereits nach einem Tag wegen Ungesetzlichkeit gelöst wurde. Vgl. ferner MM I 91, S. 196 f.

[39] MM II 505, S. 270, a. 1396.

Es mag manchmal ziemlich schwierig gewesen sein, den Charakter früherer Ehen und Verlöbnisse genau zu bestimmen. Die Geistlichen mußten sich bei diesen Recherchen oft auf Kollegen oder andere Vertrauenspersonen verlassen. Dies zeigt ein Fall der Verurteilung von zwei Priestern wegen einer Tetragamie anno 1383, wo sich der eine auf den anderen und dieser wieder auf die Eltern des Mädchens verlassen hatte. Die Synode setzte den zweiten ab und suspendierte den ersten für 6 Monate, da er durch seinen Amtsbruder hinters Licht geführt worden war.[40]

Zu den für die Gültigkeit einer Ehe bzw. eines Verlöbnisses erforderlichen Voraussetzungen gehörte auch das Mindestalter der Beteiligten. Für das bürgerliche Verlöbnis wurde das vollendete 7. Lebensjahr als Mindestalter des Mädchens verlangt.[41] Das kirchliche Verlöbnis, das für seine Gültigkeit der Einsegnung (εὐχολογία) bedurfte, hatte dieselbe Altersgrenze zur Voraussetzung wie die Eheschließung, nämlich das vollendete 12. Jahr für das Mädchen und das vollendete 14. Jahr für den Mann.[42] Bei der Neigung vieler Eltern, ihre Kinder schon sehr frühzeitig zu verloben, wurden die genannten Altersgrenzen oft vernachlässigt. In einem um das Jahr 1360 anzusetzenden Schreiben verwarnte der Patriarch von Konstantinopel nach einem langen Prooimion alle Priester, Ehen Minderjähriger nicht einzusegnen und bedrohte sie widrigenfalls mit Absetzung und völliger Amtsenthebung (καθηρημένος καὶ γεγυμνωμένος πάσης ἱερωσύνης). Laien, die an dem Zustandekommen einer solchen Ehe mitwirkten, sollten der Exkommunikation verfallen.[43] Der eherechtlichen Theorie entsprachen jene Synodalentscheidungen, in denen Verlöbnisse kleiner Mädchen unter 7 Jahren für null und nichtig erklärt wurden. So versuchte 1324 ein Andronikos Melanchrenos seine fünfjährige Adoptivtochter mit dem neunjährigen Sohn eines Johannes Chasologros von einer Prinzeninsel durch Austausch der Kreuze (διὰ σταυρικῶν δεσμῶν) zu verloben; die Kinder, die einander zudem gar nicht gesehen hatten, wurden um ihre Einwilligung nicht gefragt. Freilich löste der Tabellio schon nach einem Tag diese Verlobung wegen Minderjährigkeit des Mädchens als ungültig wieder auf.[44] In einem anderen Falle wollten die zum Vormund bestellten älteren Brüder den Demetrios Eskammatismenos durch bloßen Konsens (διὰ μόνης ψιλῆς συμφωνίας) mit einem minderjährigen Mädchen (κόρην ἀφήλικα παντελῶς) verloben. Als dieser den Sachverhalt sah, erklärte er bei der Kirchenbehörde in Thessalonike die Verlobung für hinfällig. Als er aber später heiratete und Priseter werden wollte, mußte er bei der Synode um Genehmigung anfragen. Voraus gingen vom Metropoliten von Thessalonike veranlaßte Nachforschungen bei mehreren Verwandten, die ergaben, daß jenes Mädchen zum Zeitpunkt der versuchten Verlobung 5 Jahre alt gewesen war und es sich obendrein nur um ein Ver-

---

40 MM II 360/III, S. 50 f.

41 *Zhishman*, Eherecht, S. 195 ff.

42 *Zhishman*, Eherecht, S. 200 ff.

43 MM I 174, S. 397—399. 1357 verpflichtete sich der Priester Κωνσταντῖνος ὁ Στρογγύλος, keine Minderjährigen ohne Bulle einzusegnen: MM I, S. 373, 19—31.

44 MM I 55/I, S. 98 f.

löbnis mit Konsens gehandelt hatte. Die Synode konnte daher erklären, daß der Priesterweihe des Eskammatismenos nichts im Wege stehe.[45]

Zur Gültigkeit eines kirchlichen Verlöbnisses war, wie gesagt, dasselbe Alter wie zur kirchlichen Eheschließung nötig. In diesem Sinne wurde vom Synodalgericht über die Eingabe der Witwe Apostolina entschieden, deren achtjährige Tochter von dem Priester Pantheres mit Theodoros Diakonites kirchlich verlobt worden war (δι' ἀρραβωνικῶν δεσμῶν). Die Klage spricht von mehrfachen Nachstellungen und Belästigungen des Mädchens durch den Bräutigam in den letzten 5 Jahren und von deren unüberwindlicher Abneigung ihm gegenüber. Diakonites verteidigte sich damit, daß die Schwiegermutter ihm das Zusammenleben mit seiner Braut (συνοίκησις) verwehrt habe. Die Synode erklärte das kirchliche Verlöbnis wegen Minderjährigkeit des Mädchens für ungültig und verurteilte den Priester zur Suspendierung vom Dienst.[46] Wie das psychologische Verhältnis der betroffenen Personen ausgesehen haben mag, steht auf einem anderen Blatt.

In der Praxis konnte sich die Ungeduld der Eltern, die ihre Kinder nicht früh genug unter der Haube sehen konnten, dabei aber von unrealistischen Vorstellungen ausgingen, für die jungen Leute verhängnisvoll auswirken. So versprachen zwei Geistliche ihre Kinder zum Ehebund, als das Mädchen noch elfjährig war, und daher weder ein kirchliches Verlöbnis noch die Ehe gültig geschlossen werden konnte. Der Vater der Braut vertraute diese dem Vater des Bräutigams an unter der Bedingung, daß die jungen Leute nicht vor dem Zeitpunkt intim verkehren dürften, zu dem die kirchliche Trauung erfolgen konnte. Da der Bräutigam nicht so lange wartete und das Mädchen schwanger wurde, brachte man den Fall vor das Synodalgericht. Hier wurde zunächst der Tatbestand unter Beiziehung einer Amme, „wie dies in solchen Fällen üblich war" (προσκληθείσης μαίας καὶ ἀνερευνησάσης αὐτήν, ὥσπερ ἐν τοῖς τοιούτοις εἴθισται), festgestellt, und dann die Lösung dieses Verhältnisses für alle Zukunft — „wegen der Minderjährigkeit der Frau und vor allem wegen der ihr zugefügten Schädigung" — verfügt. Dem Brautvater sollten alle mit einer Mitgift zusammenhängenden Auslagen ersetzt und außerdem das gesetzliche θεωρετροϋπόβολον[47] ausgezahlt werden.[48].

Im Zusammenhang mit der Frage der Gültigkeit einer Eheschließung waren — wie bereits erwähnt — oft schwierige Recherchen notwendig. Die höchste Instanz in kirchenrechtlichen Fragen, der Patriarch und das Synodalgericht, suchten in dieser Hinsicht stets korrekt zu verfahren. Manchmal scheinen diese Versuche — wenn man die Realität in Betracht zieht — allerdings zu weit gegangen zu sein. Als Beispiel dafür nenne ich jene Schreiben des Patriarchen Antonios IV. an den Metropoliten von Monembasia und dessen Suffragan, den Bischof von Methone, welche die Eheschließung des Johannes Kutrules betrafen. Kutrules wollte eine Frau

[45] MM I 91, S. 196 f.

[46] MM I 63/IV, S. 136 f.; ἐπεσχημένον τοῦ ἱερουργεῖν (137, 22 f.).

[47] Geschenk des Gatten als „pretium virginitatis": *Zhishman*, Eherecht, S. 657.

[48] MM I 63/I, S. 132 f.

heiraten, die vor 17 Jahren geschieden worden war, deren Mann aber noch lebte. Der Patriarch machte die Zustimmung zur Einsegnung der neuen Ehe davon abhängig, daß die erste Ehe kirchlich getrennt wurde und ferner, daß Kutrules nicht schon damals intime Beziehungen zu der Frau hatte und somit als der eigentliche Scheidungsgrund anzusehen war. Der Bischof von Methone, dessen bereits verstorbener Vorgänger die erste Ehe vor 17 Jahren mit einem Scheidungsprotokoll (διαζύγιον γράμμα) nach kanonischem Recht getrennt hatte, soll nun nach so langer Zeit Erkundigungen in einer so diffizilen Frage einziehen![49]

Verstöße gegen die Kirchendisziplin, in unserem Fall besonders Einsegnungen von nicht gültigen Ehen, konnten durch die persönlichen Verhältnisse des Priesters und besondere Umstände bedingt sein. Ein für die soziale Stellung des niederen Klerus charakteristisches Beispiel ist der Priester Gabras, der 1401 die 4. Ehe eines Protostrators einsegnete und damit gegen das Verbot der Tetragamie verstieß. Er wurde sofort suspendiert und der Fall vor das Patriarchatsgericht gebracht. Der Protostrator Kantakuzenos Phakrases gehörte zweifellos der Oberschicht im damaligen Byzanz an. Ob es jener Manuel Kantakuzenos Phakrases war, von dem sich noch ein schöner Reliefstein im Archäologischen Museum von Konstantinopel erhalten hat, bleibe dahingestellt.[50] Der Protostrator war jedenfalls Patron und Protektor des Geistlichen (κτήτορος αὐτοῦ καὶ οἱονεὶ δεσπότου καὶ κηδεμόνος). Er nahm nun alle Schuld auf sich und erklärte dem Patriarchen, daß er den Gabras mit Wein trunken gemacht und ihm dann ein Papier gezeigt habe, als ob er die Genehmigung in Form einer Bulla erhalten hätte. Da das Synodalgericht nicht vollzählig war, wurden die einzelnen Metropoliten um ihr Urteil gefragt. Einstimmigkeit herrschte darüber, daß der Priester hinters Licht geführt worden sei und deshalb nicht so bestraft werden könne wie einer, der wissentlich eine Tetragamie eingesegnet habe. Als Strafe für sein Vergehen wurde strenge Enthaltung vom Weingenuß für ein Jahr, verbunden mit einer Buße von täglich 50 Kniebeugen (μετάνοιαι) bzw. Abstinenz für ein halbes Jahr verbunden mit täglich 100 Kniebeugen, vorgeschlagen. Interessant ist die vom Metropoliten von Medeia beantragte Variante: zunächst Freispruch, aber Vormerkung im Patriarchatsregister mit Androhung der Relegierung im Wiederholungsfall. Was aber die Buße betreffe, solle auf seine Armut Rücksicht genommen werden (ἐπειδὴ πτωχός ἐστιν). Zwar solle er sich ein Jahr lang zu Hause des Weingenusses enthalten; da er aber auch als Maurer „im Pfusch“, wie wir heute sagen würden, arbeite (εἰ προσκληθείη δὲ διὰ τὴν τέχνην αὐτοῦ, οἰκοδόμος γάρ ἐστιν), solle er an solchen Tagen ein Krüglein[51] trinken dürfen. Ferner solle er täglich am Morgen und Abend zwei Bittgebete für seine eigene Person und für die Allgemeinheit (ὑπὲρ

[49] MM II 463, S. 210 f.

[50] Vgl. *D. M. Nicol*, The Byzantine Family of Kantakouzenos, Washington 1968, Nr. 47, S. 155 f. *H. Hunger*, Chortasmenos, Wien 1969, S. 102 f.

[51] καννίον: Sophron. Hierosol., Miracula Cyri et Joh. 44 = PG 87, 3592 C: εἶδος τοῦτο καθέστηκε κύλικος· οὕτω παρ' Ἀλεξανδρεῦσι λεγόμενον. Vgl. neugr. κανάτα = Krug.

ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ κοινοῦ) sprechen und 150 Kniebeugen zur Buße machen.[52] Hier fällt uns einmal die soziale Abhängigkeit des Geistlichen von dem wirtschaftlich und politisch Mächtigen auf. Daß er zu den Armen gehört und sich (und seine Familie?) durch nebenberufliche manuelle Arbeit erhalten muß, verdient besondere Beachtung. Daß der Sachverhalt zutrifft, ist wohl nicht zu bezweifeln, da nicht der Beklagte selbst, sondern ein Metropolit auf diese Verhältnisse anspielt. An der sozialen Stellung dieses Geistlichen würde sich auch nichts ändern, wenn — was ich nicht für ausgeschlossen halte — der Protostrator die ganze Geschichte nur fingiert hätte, um seinen Schützling zu decken.

Trunkenheit als Entschuldigung für die Einsegnung verbotener Ehen treffen wir noch einmal im Jahr 1400 im Patriarchatsregister an. Hier war es der Priester Benjamin, der dem Synodalgericht vorgeführt wurde, weil er unter Patriarch Antonios, dem Vorgänger des Patriarchen Matthaios I., solche Ehen eingesegnet hatte. Der Angeklagte berief sich darauf, unter Einwirkung von Alkoholgenuß einer Täuschung anheimgefallen zu sein (ὅτι τὰς φρένας ὑπὸ οἴνου διασεισθείς, ὡς δὲ καὶ ἀπατηθεὶς εὐλόγησε τὰ συνοικέσια). Er wurde zunächst sofort suspendiert und seine endgültige Bestrafung auf Grund einer genauen Untersuchung in Aussicht genommen.[53]

1383 wurde der Priestermönch Theodosios wegen maßloser Trunkenheit (διὰ τὴν ἄμετρον αὐτοῦ μέθην) vom Patriarchen suspendiert. Trotzdem ging er hin und zelebrierte (ἱερουργῶν) unerlaubterweise. Als Entschuldigungsgrund schützte er seine Armut vor (ἀπολογούμενος προεβάλετο πενίαν). Die Synode kam im Hinblick auf seine maßlose, ständige (διηνεκῆ) Trunkenheit zu dem Schluß, daß er der Priesterwürde, die bei ihm einem goldenen Ohrring im Rüssel eines Schweins zu vergleichen sei, verlustig gehen solle, und sprach seine völlige Absetzung (παντελῆ καθαίρεσιν) aus.[54] Sollte die Berufung auf die Mittellosigkeit hier nur eine Ausrede gewesen sein? Sinnvoll war sie jedenfalls nur, wenn der Priester aus dem ἱερουργεῖν im Rahmen von Benefizien auch materiellen Nutzen ziehen konnte.[55]

Schon die genannten Fälle deuten auf die sozial gedrückte Stellung der niedrigen Geistlichkeit im späten Byzanz hin. Besonders unterstrichen wird dieser Zustand durch den Fall jenes Priesters, der 1365 des Kirchendiebstahls (ἱεροσυλία) beschuldigt wurde. Der Beklagte gab als Entschuldigung an, daß er, seine Frau und seine Kinder seit 3 Tagen ohne Nahrung geblieben waren, und er in dieser Zwangslage den kostbaren Beschlag[56]

[52] MM II 643, S. 488—490. Die Bittgebete für die Allgemeinheit waren damals — 1401! — aktueller denn je.

[53] MM II 603, S. 433.

[54] MM II 360/IV, S. 51.

[55] Vgl. oben S. 67. Anläßlich der Einsetzung der Exarchen zur Hebung der Disziplin der Geistlichkeit nennt Patriarch Kallistos 1350 unter den verabscheuenswerten Verfehlungen der Priester: Falschheit, Geldgier und Trunksucht, Geschäftemacherei und Materialismus: MM I 135, S. 307, 33—308, 4.

[56] φεγγεῖον: Nimbus auf Ikonen, *DuCange*. — Prunkstab mit mondsichelförmigem Oberteil, *Reiske* in der Erklärung von De caer. S. 294, 17 in Bd. II, S. 696 f. unter Bezugnahme auf neugr. φεγγί, φεγγάρι = Mond. — An unserer Stelle handelt es sich offenbar um die Silberverkleidung der Ikone.

der Theotokos-Ikone in seiner Kirche abgenommen und zu Geld gemacht habe; das Geld habe er zum Kauf von Nahrungsmitteln verwendet. Das Urteil des Synodalgerichts lautete auf Absetzung und Ausstoßung aus dem Priesterstand.[57] Es erscheint beachtlich, daß die Verantwortung des Geistlichen keineswegs angezweifelt, aber auch nicht im geringsten kommentiert wurde. Der Text stellt nur lakonisch fest, daß der Verurteilte seine Strafe annahm: „Als er dieses Urteil gehört hatte, nahm er es an und versprach ausdrücklich[58], von nun an überhaupt nichts von heiligen Dingen anzurühren oder (irgendwie) Kirchendienst auszuüben."

Freilich, nicht alle Geistlichen zeigten sich so willfährig und bereit, die Entscheidungen ihrer Vorgesetzten zu respektieren. Dafür seien zum Abschluß zwei charakteristische Beispiele angeführt. 1383 erhob der Megas Chartophylax Anklage vor dem Synodalgericht gegen den Priester und ἐπὶ τῶν κρίσεων[59] Machetares: Dieser erschien eines Tages mit dem Baumeister Michael und dessen Sohn bei dem Chartophylax und erklärte vor Zeugen, der Junge sei unverheiratet, habe beim Bau am Goldenen Tor eine Frau, und zwar eine Waise aus der Gegend von Ennakosia[60], gefunden, und sei im Einvernehmen mit seinem Vater zu dem Entschluß gekommen, sie zu heiraten. Der Chartophylax möge ihm also die Bulla für den Vollzug der Einsegnung aushändigen. Auf den Einwand des Chartophylax, er möge genau prüfen, ob jene Waise in ihrer Heimat nicht einen Mann gehabt habe oder ob sie nicht doch Eltern habe und gegen deren Willen heiraten wolle, was beides zivilrechtlich verboten sei, antwortete Machetares, er habe das gründlich geprüft und zivilrechtlich wie kanonisch in Ordnung befunden. Der Chartophylax möge unbesorgt sein, er übernehme die Verantwortung; daher solle er ihm die Bulla übergeben und ihm die Sache anvertrauen. Nun habe der Chartophylax ihm unter der wiederholten Ermahnung die Bulle zugesagt. Als aber der Primikerios Paradeisos routinemäßig an Ort und Stelle nach dem Rechten sehen wollte, verspottete Machetares ihn mit den Worten: „Natürlich kannst Du das mehr und besser überprüfen als ich!". Er ließ den Paradeisos nicht mitkommen, riß die Bulle an sich und verschwand. Noch in derselben Nacht, zu unpassender Zeit (ἀωρὶ τῶν νυκτῶν), vermählte er den Sohn des Michael mit der Tochter des Papas Georgios Butzas, einer Nonne, die ins Kloster eingetreten war, weil sie von ihrem Mann, mit dem sie nur zivilrechtlich verlobt gewesen war (διὰ σταυρικῶν δεσμῶν), getrennt wurde, als dieser sich zum Priester weihen lassen wollte. Sie war als Nonne vor dem Patriarchen und der Synode erschienen und hatte erklärt, ihr Leben lang Nonne bleiben zu wollen; nachher hielt sie sich tatsächlich bereits über ein Jahr in einem

[57] MM I 218, S. 475: καθῃρημένον... καὶ ἀποτετμημένον τοῦ τῶν ἱερέων χοροῦ.

[58] αὐτοστομάτως, „mit eigenem Mund".

[59] Die Abgrenzung der Funktionen des ἐπὶ τῶν κρίσεων ist einigermaßen verschwommen; vgl. *Darrouzès*, Recherches sur les ΟΦΦΙΚΙΑ, S. 377 f. mit Anführung unserer Stelle.

[60] ἀπὸ τῆς χώρας τῶν Ἐνναχοσίων: Die Gegend um Rhegion westlich von Konstantinopel, am Marmara-Meer. Vgl. Kantakuz. Hist. I 219, 15 f.: ἐν τῷ περὶ τὸ Ῥήγιον Ἐννακόσια προσαγορευομένῳ χωρίῳ.

Nonnenkloster auf. Machetares suchte sich damit zu entschuldigen, daß er von seinem Freund Michael getäuscht worden sei; trotzdem wurde der Priester mit Absetzung (καθῃρέθη) bestraft.[61] Zugleich wurde der Vater der Braut, der Pope Butzas, der nach Zeugenaussagen dieser verbotenen Ehe Vorschub geleistet hatte, ebenfalls abgesetzt.[62]

Ein besonderer Fall von Penetranz und Unverschämtheit war der Protopapas der Blachernenkirche Konstantinos Kabasilas. Der als ἐπισκοπειανός[63] vom Patriarchen mit der Überwachung von Geistlichen betraute Priester und Ekklesiarches[64] Georgios Panormenos überreichte der Synode 1383 eine Anklageschrift gegen Konstantinos Kabasilas, die sich auf 5 Punkte stützte. Für unsere Materie ist der erste Punkt von Interesse. Ein Mann kam aus Anatolien (aus dem Osten), wo er Frau und Kinder hatte, nach Konstantinopel. Hier wollte er eine andere Frau ehelichen, aber kein Priester wagte es, ihn einzusegnen. Der Protopapas jedoch segnete ihn des Nachts, zu unpassender Zeit[65], ohne Bulle, d.h. ohne Genehmigung der kirchlichen Vorgesetzten, ein. Die weiteren Anklagepunkte bezogen sich auf unwürdiges Verhalten im Gotteshaus und obszöne Redensarten. Bei der Vernehmung suchte Kabasilas sich zu verantworten, indem er erklärte, er habe erfahren, daß sich die erste Frau gegen den Mann vergangen habe und er sich habe scheiden lassen. Im übrigen habe er die Einsegnung im Einvernehmen mit dem Tabullarios Theophilopulos durchgeführt, der keine zivilrechtlichen Bedenken geäußert habe. Als man nun von ihm eine Bulle verlangte, konnte er keine vorzeigen, forderte aber seinerseits die Einvernahme des Theophilopulos, dessen Aussage er akzeptieren wolle. Dieser erklärte jedoch (unter der Androhung der Exkommunikation), er habe diese Verbindung als gesetzwidrig bezeichnet, der Protopapas hingegen habe ihn bedrängt mit den Worten: „Es ist in Ordnung; ich werde es durchführen". Darauf habe Theophilopulos gesagt, er könne ihm nicht dazu raten, wenn er aber wolle, solle er nach Belieben handeln, wie schon so oft in ähnlichen Fällen. Daraufhin habe Kabasilas die Einsegnung vorgenommen. — Nun wurden der Synode schriftliche Versicherungen des Protopapas vorgelesen, nie mehr gesetzwidrig zu verfahren, noch jemand ohne Bulle einzusegnen. — Nach Behandlung der übrigen Anklagepunkte beschloß die Synode die Absetzung und den Verlust der Priesterwürde.[66]

Aber Konstantinos Kabasilas gab nicht so schnell auf. Es gelang ihm mit seiner Penetranz, bis zum Kaiser vorzudringen und dessen Intervention zu erbitten (ἐπεὶ καὶ εἰς τὰς θείας καὶ βασιλικὰς ἠνόχλησεν ἀκοάς).

[61] MM II 360/I, S. 48—50.

[62] MM II 360/II, S. 50.

[63] Zu den ἐπισκοπειανοί vgl. *Darrouzès*, a. O., S. 385 f. Sie unterstanden dem Chartophylax; wir finden sie in der Wohnung des Chartophylax versammelt, wo sie sich zu seiner Verfügung halten: MM II, S. 49, 2 f.

[64] Zum ἐκκλησιάρχης s. *Darrouzès*, a. O., S. 272 f., zum μέγας ἐκκλησιάρχης S. 285—288. Georgios Panormenos fungierte hier offenbar wie ein Exarch, obwohl dies nicht ausdrücklich gesagt wird.

[65] ἀωρὶ τῶν νυκτῶν, vgl. oben S. 76.

[66] MM II 361/I, S. 51—54.

Schon nach wenigen Tagen mußte die Synode neuerdings zusammentreten und über Möglichkeiten eines milderen Urteils beraten. Zeugen wurden einvernommen und von Abwesenden schriftliche Erklärungen angefordert. Da sich keine Veränderungen zugunsten des Angeklagten ergaben, sondern vielmehr neues belastendes Material hinzukam — darunter die interessante Bemerkung des Kabasilas nach der ersten Sitzung des Synodalgerichts, er werde zu den Franken oder Türken gehen, wenn man ihn nicht freispreche — faßte die Synode einen Beharrungsbeschluß.[67]

Auch jetzt gab sich Kabasilas noch nicht geschlagen. Er wurde bei 4 Metropoliten vorstellig, die an den ersten Sitzungen nicht teilgenommen hatten, in denen er verurteilt worden war. So trat die Synode am 27. Oktober der 8. Indiktion[68] wieder zusammen und behandelte den ganzen Fall in Gegenwart der erwähnten 4 Metropoliten. Das Ergebnis blieb jedoch die endgültige Verurteilung des Kabasilas im Sinne der vorausgegangenen Beschlüsse.[69]

Ein anderer wäre nun an seiner Rettung irre geworden; nicht so Kabasilas. Einmal mehr gelang es ihm, beim Kaiser ein geneigtes Ohr zu finden. Johannes V. entsandte sogar zwei Vertraute aus seiner näheren Umgebung, nämlich Konstantinos Asan und Alexios Kaballarios, die dem Patriarchen und der Synode, „im Auftrage des Kaisers" nahelegten, ein milderes Urteil über Kabasilas auszusprechen, oder falls dies nicht möglich sei, den ganzen Prozeß nochmals aufzurollen. So trat das Synodalgericht am 16. Oktober der 9. Indiktion (1385) neuerdings zusammen. Man erklärte sich bereit, die alten Zeugen nochmals einzuvernehmen, unter der Voraussetzung, daß sie im Falle des Zurückziehens ihrer Aussagen selbst den strengsten Strafen unterliegen sollten. Nun hatte Kabasilas sogar die Stirne zu behaupten, die Protokollierung der Zeugenaussagen sei seinerzeit falsch vorgenommen worden. Natürlich hielt man ihm entgegen, daß alle Synodalen die damaligen Zeugenaussagen gehört hätten und sie bestätigen könnten. Wenn die Zeugen sich nun eines anderen besinnen sollten, würde man sie zur Rechenschaft ziehen. Da die Zeugen bei ihren alten Aussagen blieben, versuchte Kabasilas, den Mann, um dessen Ehe es ging, zu falschen Aussagen zu verleiten; unter der Androhung der Exkommunikation gab dieser jedoch zu, bereits kirchlich verheiratet gewesen zu sein. Gegenüber Belastungszeugen zu anderen Anklagepunkten bediente sich der Protopapas eines Tricks: sie seien keine Zeugen, sondern seine erklärten Feinde. Da auch dies widerlegt werden konnte, entschied die Synode neuerdings wie vorher und betonte, daß das Verfahren nun ein für allemal abgeschlossen sei.[70] Trotz allem wagte Kabasilas einen letzten Vorstoß beim Kaiser. Die genannten Vertrauensmänner legten dem Patriarchen und der Synode brieflich nahe, dem Kabasilas, wenn er schon relegiert sei, zu gestatten, daß Epitrachelion zu tragen und — abgesehen von der Liturgie — andere pries-

[67] MM II 361/II, S. 54—56.

[68] 1384; wenn kein Fehler im Text vorliegt, war seit der ersten Sitzung der Synode mehr als ein Jahr vergangen.

[69] MM II 361/III, S. 56.

[70] MM II 361/IV, S. 56—59.

terliche Funktionen auszuüben. Pflichtgemäß beriet man auch darüber, kam aber zu der naheliegenden Entscheidung, daß einem Abgesetzten nicht das Zeichen priesterlicher Würde, nämlich das Epitrachelion, zugestanden werden könne, und daß ein Verurteilter und Ausgestoßener nicht für die Kaiser und für die übrigen Christen öffentliche Gebete sprechen dürfe. Unter deutlicher Bezugnahme auf die unverschämte Belästigung von Kaiser, Patriarch und Synode beschloß man, ihm in Zukunft überhaupt kein Gehör mehr zu geben.[71]

Dieser ganze höchst charakteristische Prozeß ist in der Handschrift mit Durchstreichung getilgt, jedoch so, daß man den Text noch lesen kann.[72] Der Fall zeigt einerseits, wie ganz anders der einfache Priester behandelt wurde, der keine Protektion hatte, als jener, der sich — auf Grund seiner gesellschaftlichen Stellung als Palastgeistlicher? — sogar die Intervention des Kaisers sichern konnte: Fünfmal mußte die Synode wegen seiner Querulanz zusammentreten, um schließlich nichts anderes festzustellen als in ihrer ersten Sitzung. Zum anderen haben wir es mit einem schönen Beispiel jenes verschwommenen Gleichgewichts von kaiserlicher und kirchlicher Kompetenz zu tun, wo zivilrechtliche und kirchenrechtliche Bestimmungen einander weitgehend überschnitten. Bei Differenzen kam es dann immer auf die Stärke und Position des jeweiligen Kaisers und Patriarchen an: Johannes V. war keineswegs der Kaiser, der der Synode seinen Willen aufgezwungen hätte. Im übrigen war dies in jener Zeit, da mit der sinkenden politischen Potenz des Reiches die Macht der Kirche sichtlich zunahm, kaum mehr möglich. So erklärt sich nicht nur die Festigkeit der Synode *in re*, sondern auch der Schlußpassus des letzten Protokolls, der indirekt dem Kaiser bedeutet, er möge sich nun nicht weiter für einen unverschämten Querulanten einsetzen.

---

[71] MM II 361/V, S. 60.

[72] Vgl. dazu *Darrouzès*, Registre, S. 285 f.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

G. OSTROGORSKY

DREI PRAKTIKA WELTLICHER GRUNDBESITZER AUS DER ERSTEN HÄLFTE DES 14. JAHRHUNDERTS

Als eine der aufschlussreichsten Quellengattungen für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der byzantinischen Spätzeit verdienen die Praktika eine besondere Aufmerksammkeit der byzantinistischen Forschung. Bieten sie doch den besten Einblick in die Struktur und Eigenart der byzantinischen Grundherrschaften, wie auch in die Lage ihrer Zinsbauern.

Bekanntlich haben die weitaus meisten der uns erhaltenen Praktika Klostergüter zum Gegenstand, wogegen Praktika, die sich auf Güter weltlicher Grundherren beziehen, eine seltene Ausnahme darstellen. Als ich mir vor bald 25 Jahren vornahm, die bis dahin bekannt gewordenen Praktika einer zusammenfassenden vergleichenden Untersuchung zu unterziehen[1], standen neben recht zahlreichen Kloster-Praktika lediglich zwei Praktika weltlicher Grosser zu Gebote: des Grossdomestikos Andronikos Dukas vom Juni 1073 und des Eparchen Michael Monomachos vom Januar 1333[2]. Nur dieses letztere bot ein geeignetes Material für eine Konfrontierung mit den verfügbaren Kloster-Praktika, die ja alle der byzantinischen Spätzeit, grösstenteils eben der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehören.

Glücklicherweise hat seither die Zahl der veröffentlichten Praktika wesentlich zugenommen, und neben mehreren beachtlichen Kloster-Praktika, unter denen die von F. Dölger vorgelegten hervorragend wichtigen Praktika des Iberon-Klosters besonders zu nennen sind[3], kamen auch zwei gleichfalls aus dem 14. Jahrhundert stammende Praktika weltlicher Grund-

[1] *Г. Острогорский*, Византийские писцовые книги, Byzantinoslavica 9 (1948) 203—306. Französiche Übersetzung in: *G. Ostrogorskij*, Pour la féodalité byzantine, Bruxelles 1954, p. 259—368 (im weiteren: Féodalité).

[2] Actes de Zographou, ed. *W. Regel*, *E. Kurtz* et *B. Korablev*, Nr. 29. Dass diese auf den Januar der 1. Indiktion datierte Urkunde in das Jahr 1333 gehört, wurde zwar von den Herausgebern selbst und auch von einigen späteren Forschern angezweifelt, darf aber heute als sicher angesehen werden. Vgl. Féodalité, 273; *Dölger*, Reg. 2791; *F. Barišić*, Jovan Vatac, protokinig, Zbornik Filoz. fak. XI-1 (1970) 283 f.

[3] *F. Dölger*, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts für das Athoskloster Iberon, Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Klasse, N. F. 28, München 1949 (im weiteren: *Dölger*, Sechs Praktika).

besitzer ans Licht. Paul Lemerle verdanken wir die Ausgabe und Untersuchung eines hochinteressanten Praktikons vom Januar 1342, das dem reichbegüterten Magnaten Johannes Margarites beim Ausbruch des Bürgerkrieges ein eingezogenes Pronoialehen des (Arsenios) Tzamplakon, eines Anhängers des Johannes Kantakuzenos, und einen konfiszierten Landbesitz des Kantakuzenos selbst überträgt[4]. Die Güter eines weit bescheideneren Besitzers registriert das von Peter Schreiner veröffentlichte sehr beachtenswerte Praktikon für einen gewissen Manuel Berilas, einen Angehörigen des Mega Allagion von Thessalonike[5].

Freilich bleiben unsere Nachrichten über die Grundherrschaften weltlicher Besitzer noch immer spärlich. Dennoch bedeuten die Veröffentlichungen von Lemerle und Schreiner eine sehr beträchtliche Bereicherung, denn sie ermöglichen nun eine vergleichende Betrachtung dreier zeitlich einander nahestehenden Praktika, die sich auf die Liegenschaften und Zinsbauern weltlicher Grundbesitzer beziehen. Die Wichtigkeit eines solchen Vergleichs hat schon Schreiner erkannt und in die Untersuchung, die er auf die Ausgabe des Berilas-Praktikons folgen lässt, wie wir noch sehen werden, die Praktika für M. Monomachos und J. Margarites mit einbezogen.

Bevor wir uns jedoch den Problemen zuwenden, die sich aus der Gegenüberstellung der drei Praktika ergeben, müssen wir zuerst das Datum und den Aussteller der Berilas-Praktikons bestimmen.

I

Das Ergebnis seiner kurzen Erörterung zur Datierungsfrage des Berilas-Praktikons fasst Schreiner mit betonter Vorsicht in dem Satz zusammen: „Das Dokument scheint mir am ehesten dem Jahr 1368 zuzugehören“[6]. Dieses Datum stützt sich nämlich, wie Schreiner selbst hervorhebt, einzig und allein darauf, dass das Praktikon an einer Stelle (Z. 26) beiläufig Besitzungen eines Pantokratorklosters (τῶν παντοκρατωρηνῶν οἰκημάτων) erwähnt. Schreiner möchte annehmen, dass es sich um das berühmte Pantokratorkloster auf dem Athos handle, und glaubt aufgrund dieser auf den ersten Blick vielleicht plausibel scheinenden, aber doch keineswegs siche-

[4] *P. Lemerle*, Un Praktikon inédit des Archives de Karakala (Janvier 1342) et la situation en Macédoine orientale au moment de l'usurpation de Cantacuzène, Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον I (1964) 278—98 (im weiteren: *Lemerle*, Un Praktikon inédit).

[5] *P. Schreiner*, Zwei unedierte Praktika aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Jahrbuch der Österr. Byzantinistik 19 (1970) 33—49. Der Text des Praktikons für M. Berilas ist S. 37—39 als Praktikon II veröffentlicht. Im Gegensatz zu diesem sehr wichtigen Dokument ist das fragmentarisch erhaltene Praktikon I (S. 34/5), wenigstens in der Gestalt, in der es auf uns gekommen ist, nicht von weiterem Belang: erhalten sind lediglich zwei unvollständige Grenzbeschreibungen (περιορισμοί) nicht näher identifizierbarer Besitzungen.

[6] *Schreiner*, a. a. O. 37.

ren Annahme das Stiftungsjahr dieses Athosklosters[7] als den terminus post quem für die Zusammenstellung des Praktikons ansehen zu dürfen. Da das Praktikon auf den Juni einer 6. Indiktion datiert ist, käme dann als sein Ausstellungsjahr frühestens 1368 in Frage. Die weiteren 6. Indiktionsjahre hält Schreiner im Hinblick auf die jeweilige politische Lage für weniger wahrscheinlich, schliesst jedoch auch die Jahre 1383 und 1413 nicht völlig aus.

Indessen zeigt der Text des Berilas-Praktikons eine so augenfällige Verwandtschaft mit mehreren der uns bekannten Praktika-Texten aus den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, dass seine Verlegung in die zweite Hälfte des 14. oder gar in den Anfang des 15. Jahrhunderts von vornherein höchst zweifelhaft erscheint[8].

Einen sicheren Anhalt für die Feststellung des genauen Jahresdatums des Praktikons gibt uns die Person des Beamten, der dieses Dokument ausgestellt und unterzeichnet hat. Seine Unterschrift lautet: ὁ δοῦλος τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως ἀπογραφεὺς τοῦ θέματος Θεσσαλονίκης Γεώργιος...[9]. Der Aussteller ist also Apographeus des Themas Thessalonike; sein Zuname lässt sich nicht mehr entziffern, wohl aber — glücklicherweise — sein Vorname Georgios. Dieser Name lässt nämlich sofort an den uns wohl bekannten Georgios Pharisaios denken, der im letzten Jahrzent der Regierung Andronikos' II. zunächst zusammen mit seinem älteren Kollegen, dem Sebastos Konstantinos Pergamenos, und dann allein als Apographeus des Themas Thessalonike amtierte.

Die Urkunden dieser beiden Beamten der byzantinischen Steuerverwaltung haben die byzantinistische diplomatische Forschung wiederholt beschäftigt[10]. Soweit unsere Kentnisse heute reichen, liefert ein Prostagma Andronikos' II. vom Oktober 1319 den ersten sicheren Nachweis für ihre gemeinsame Tätigkeit als Apographeis des Themas Thessalonike[11].

---

[7] Als solches wäre übrigens, was hier freilich von keinem Belang ist, nicht 1357, sondern wohl 1363 anzunehmen. Vgl. *L. Petit*, Actes de Pantocrator (Viz. Vrem. 10, 1903, Pril. 2), p. VII. S. auch *F. Dölger*, Mönchsland Athos, München 1943, 64.

[8] Ähnlich ist übrigens in dem Berilas-Praktikon und den Praktika aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts u. a. auch die Höhe der Steuersätze, was Schreiner auch schon aufgefallen zu sein scheint (vgl. seine Bemerkungen S. 44). Wäre unser Praktikon in der zweiten Hälfte des 14. oder zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstanden, so müssten die in ihm angegebenen Steuersätze mit Rücksicht auf den sinkenden Geldwert erheblich höher sein als in den älteren Praktika. In Ermangelung eines zeitlich näher liegenden brauchbaren Beispiels sei auf ein Praktikon für zwei Besitzungen der Lavra im Gebiet von Thessalonike aus dem J. 1420 hingewiesen, wo die Steuersätze um ein vielfaches höher sind als in den Praktika aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Vgl. Ἀλεξάνδρου Λαυριώτου, Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλλ. Φιλολ. Σύλλογος 25 (1897) 167—68. Dazu Féodalité, 321 f.

[9] *Schreiner*, a. a. O. 39: Praktikon II, Z. 34/5.

[10] Vgl. die Literaturangaben und Quellennachweise in der zusammenfassenden Notiz von *J. Bompaire*, Actes de Xéropotamou, Paris 1964, p. 169.

[11] *F. Dölger*, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, München 1948 (im weiteren: Dölger, Schatzk.) Nr. 17, beginnend mit der Anrede: Οἱ ποιούμενοι τὴν ἀπογραφικὴν ἀποκατάστασιν ἐν τῷ θέματι τῆς θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης, σύ τέ, σεβαστὲ κῦρ Κωνσταντῖνε Περγαμηνέ, καὶ σύ, Γεώργιε Φαρισσαῖε, οἴδατε...

Die letzten von ihnen gemensam ausgestellten Urkunden sind anscheinend die zwei noch unedierten Stücke im Archiv des Xenophontos-Klosters vom Februar 1321[12]. Noch im Laufe dieses Jahres scheint K. Pergamenos gestorben zu sein: ein Chrysobull Andronikos' II. vom Februar 1322 bezeichnet ihn asdrücklich als verstorben[13], und bereits in einem Horismos Andronikos' III vom August 1321 sehen wir Georgios Pharisaios als Apographeus des Themas Thessalonike allein amtieren[14].

Von den Urkunden, die G. Pharisaios allein anfertigte, lag uns bis vor kurzem nur ein im Dezember 1322 ausgestelltes Stück im Druck vor, das dem Zographou-Kloster in Ergänzung zu einem früheren Praktikon einige versehentlich ausgelassene Besitzungen zuweist[15]. Das von Schreiner entdeckte Praktikon wäre nun das zweite von G. Pharisaios allein unterzeichnete Dokument, dessen Text uns im Wortlaut vorliegt. Die Unterschrift auf der Zographou-Urkunde vom Dezember 1322 lautet: ὁ δοῦλος τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως ἀπογραφεὺς τοῦ θέματος Θεσσαλονίκης Γεώργιος Φαρισαῖος[16]. Sie stimmt also mit der Unterschrift auf dem Berilas-Praktikon bestens überein, deren fehlendes Ende folglich durch ὁ Φαρισαῖος zu ergänzen wäre. Indessen sind wir auch über einige unveröffentlichte Urkunden unterrichtet, die von G. Pharisaios allein herrühren. Nach einem Hinweis von Lemerle findet sich in einem Kodex des Archivs von Kutlumus die Kopie einer Urkunde des G. Pharisaios für das Esphigmenou-Kloster, die in den Dezember der 5. Indiktion, also des Jahres 1321 zurückreicht. Die Unterschrift lautet auch hier: ὁ δοῦλος κτλ. ἀπογραφεὺς τοῦ θέματος Θεσσαλονίκης Γεώργιος ὁ Φαρισαῖος[17]. Den wichtigen Angaben von V. Laurent über die noch unveröffentlichten Dokumente des Xenophontos-Klosters ist ferner zu entnehmen, dass sich darunter zwei von G. Pharisaios allein unterzeichnete Urkunden finden: die eine stammt aus der 6. Indiktion (ohne Monatsangabe), also aus dem Jahre 1322/3, die andere ist auf den Mai der 8. Indiktion, d.i. des Jahres 1325 datiert[18].

---

[12] Vgl. die Angaben von *V. Laurent*, REB 6 (1948) 83.

[13] Actes de Kutlumus, ed. *P. Lemerle*, Paris 1945, Nr. 11. 18: τοῦ τε σεβαστοῦ Περγαμηνοῦ ἐκείνου καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ebenso in dem wohl 1321 oder 1322 erlassenen Chrysobull Andronikos' II. für das Xenophontos-Kloster: Actes de Xénophon, ed. *L. Petit*, Nr. 8. 45 (über die Zuteilung und das annähernde Datum dieses Chrysobulls vgl. Féodalité, 265 f. und *Dölger*, Reg. 2473), und in einer Parakeleusis des Despoten Demetrios Palaiologos: *Dölger*, Schatzk. Nr. 28. 6 (Datum: ca 1322) = Actes de Xéropotamou, Nr. 21. 6 (Datum: 1322—1334).

[14] Actes de Chilandar, ed. *L. Petit*, Nr. 65. 17/8. Zur Zuteilung und Datierung dieses Dokuments *Dölger*, Reg. 2662.

[15] Actes de Zographou, Nr. 21.

[16] Die Unterschriften der von K. Pergamenos und G. Pharisaios gemeinsam ausgestellten Urkunden lauten regelmässig: οἱ δοῦλοι τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως ἀπογραφεῖς τοῦ θέματος Θεσσαλονίκης σεβαστὸς Κωνσταντῖνος ὁ Περγαμηνὸς καὶ Γεώργιος ὁ Φαρισαῖος: vgl. Actes de Zographou, Nr. 17 (Mai 1320); Actes de Chilandar, Nr. 55 (Mai 1320); *Dölger*, Sechs Praktika, P 592 und 599 (Sept. 1320, nicht 1321); Actes de Xéropotamou, ed. *Bompaire*, p. 172, Nr. 20. 70 (1320/1).

[17] *P. Lemerle*, Philippes et la Macédoine Orientale à l'époque chrétienne et byzantine, Paris 1945, 231, n. 8 (im weiteren: *Lemerle*, Philippes).

[18] *V. Laurent*, a. a. O. 83.

Unser Praktikon gehört also in die Zeit, als G. Pharisaios nach dem Tode seines Kollegen K. Pergamenos das Amt des Apographeus im Thema Thessalonike allein versah. Das Dokument ist auf den Juni der 6. Indiktion datiert und fällt folglich in den Juni des Jahres 1323[19], ist etwa gleichzeitig mit der ersten und nahezu zwei Jahre älter als die zweite unedierte Urkunde des G. Pharisaois für das Xenophontos-Kloster. Es lässt sich also vortrefflich in die Urkundenreihe des G. Pharisaios einordnen.

Die Richtigkeit der Lesung des Aussteller-Namens Γεώργιος in der Unterschrift des Praktikons steht — trotz des vorsichtigen Vorbehalts des Herausgebers[20] — ausser jedem Zweifel. Dass der Aussteller des Berilas-Praktikons kein anderer als Georgios Pharisaios ist, beweisen nämlich durchschlagend die weitgehenden wörtlichen Übereinstimmungen dieses Dokuments mit der vorerwähnten Urkunde des G. Pharisaios für das Zographou-Kloster vom Dezember 1322, wie auch mit den von ihm gemeinsam mit K. Pergamenos ausgestellten Urkunden.

Man darf nämlich nicht glauben, dass die Beamten der byzantinischen Finanzverwaltung die einleitenden Angaben, durch welche sie ihre Praktika einzuführen pflegten, ganz mechanisch, ohne jedes eigene Zutun aus fertigen Formeln und angelernten schablonenhaften Redewendungen übernahmen. Allerdings gingen sie von gewissen Formeln und Schablonen aus, doch waren diese keineswegs unveränderlich, sie wechselten vielmehr mit der Zeit und der Person des ausstellenden Beamten. Grössere wörtliche Übereinstimmungen der Eingangsformeln finden sich in der Regel in Urkunden, die einander zeitlich nahe stehen, und insbesondere in denen, die von denselben Ausstellern stammen.

Vergleichen wir die Eingangsformel des Berilas-Praktikons mit den Eingangsformeln eines von K. Pergamenos und G. Pharisaios für das Zographou-Kloster ausgestellten Praktikons vom Mai 1320 und der von G. Pharisaios demselben Kloster ausgegebenen Urkunde vom Dezember 1322. Ist doch diese Urkunde, wie schon erwähnt, das einzige notorisch von G. Pharisaios allein unterzeichnete Dokument, dessen Text uns heute im Druck vorliegt und das hier folglich zum Vergleich herangezogen werden kann. Wie ebenfalls schon erwähnt, bietet dieses Dokument nicht eine Gesamtbeschreibung der Güter des Zographou-Klosters, sondern teilt dem Kloster nur einige in einem früheren Praktikon versehentlich weggelassene Besitzungen zu:die für unseren Vergleich belanglosen näheren Angaben über diese Besitzungen führen wir in dem nachstehend zitierten Text nicht vollständig an.

---

[19] An einen späteren Indiktionszyklus dürfen wir, wie auch in allen vorher zitierten Fällen, schon deshalb nicht denken, weil G. Pharisaios in einer Urkunde vom Sept. 1334 als verstorben angeführt wird. Cf. Actes d'Esphigménou, ed. *L. Petit* et *W. Regel*, Nr. 8. 13.

[20] Vgl. *Schreiner*, a. a. O. 41 (Bemerkung zu Z. 55).

Praktikon des M. Berilas
(Schreiner, Praktikon II. 1—6)

'Επεὶ ὡρίσθην παρὰ τοῦ κρατ(αιοῦ) καὶ ἁγ(ίου) ἡμῶν αὐθ(έντου) καὶ βασιλέ(ως) ποιῆσαι ἀπογραφικὴν ἐξίσωσιν καὶ ἀποκατάστασιν εἰς τὴν ||[2] ἐκτὸ(ς) χώραν τῆς θεοσώστου πόλ(εως) Θεσσαλονίκης ἤγ(ουν) τῶν κτημάτ(ων) τῶν ἀρχόντ(ων), τῶν προσγενῶν τοῦ κρατ(αιοῦ) καὶ ἁγ(ίου) ἡμῶν αὐθ(έντ)ου (καὶ) βασιλ(έως) ||[3] καὶ τῶν ἑτέρων ἀρχόντων ἔτι τε ἐκκλησιαστικῶν, μοναστηριακ(ῶν), στρατιωτικῶν, χρυσοβουλλάτ(ων) καὶ λοιπῶν κτημ(άτων), ||[4] παραδοῦναι ἑκάστῳ τὸ οἰκεῖον ποσ(ὸν) μετὰ τῶν ἄλλων, εὑρὼν καὶ τ(ὸν) ἀπὸ τοῦ θεσσαλονικαί(ου) με(γά)λ(ου) ἀλλαγίου (κῦρ) Μ(α)ν(ουὴλ) ||[5] Μπερίλ(α) κατέχοντα οἰκονομίαν, παραδίδωμι ταύτην ἀπὸ τῆς πρὸς ἐμὲ ἐλεημοσύν(ης) τοῦ κρατ(αιοῦ) καὶ ἁγ(ίου) ἡμῶν αὐθ(έντ)ου καὶ ||[6] βασιλ(έως) πρὸς αὐτόν, ἥτις καὶ ἔχει οὕτ(ως)·

K. Pergamenos — G. Pharisaios: Praktikon von 1320
(Actes de Zographou, Nr. 17. 1—10)

'Επεὶ ὡρίσθημεν παρὰ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως ποιῆσαι ἀπογραφικὴν ἐξίσωσιν καὶ ἀποκατάστασιν εἰς τὸ θέμα τῆς θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης, ἤγουν ἀρχοντικῶν κτημάτων, προσωπικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, μοναστηριακῶν, στρατιωτικῶν, χρυσοβουλλάτων καὶ λοιπῶν, καὶ παραδοῦναι ἑκάστῳ τὸ οἰκεῖον ποσόν, μετὰ τῶν ἄλλων εὑρόντες καὶ τὴν ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει τοῦ Ἄθω διακειμένην σεβασμίαν μονὴν τὴν εἰς ὄνομα τιμωμένην τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καὶ τροπαιοφόρου Γεωργίου καὶ ἐπικεκλημένην τοῦ Ζωγράφου, κατέχουσαν οἰκονομίαν, παραδίδομεν ταύτην πρὸς αὐτὴν ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς ἐλεημοσύνης τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως, ἥτις καὶ ἔχει οὕτως·

G. Pharisaios: Urkunde von 1322
(Actes de Zographou, Nr. 21. 1—11)

'Επεὶ ὡρίσθην παρὰ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως ποιῆσαι ἀπογραφικὴν ἐξίσωσιν καὶ ἀποκατάστασιν εἰς τὴν ἐκτὸς χώραν Θεσσαλονίκης καὶ παραδοῦναι ἑκάστῳ τὸ οἰκεῖον ποσόν, μετὰ τῶν ἄλλων εὗρον καὶ τὴν περὶ τὸ ἅγιον ὄρος τοῦ Ἄθω διακειμένην σεβασμίαν μονὴν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος καὶ τροπαιοφόρου Γεωργίου καὶ ἐπικεκλημένην τοῦ Ζωγράφου κατέχοντα . . . καὶ χωράφια διάφορα ... παραδίδωμι ἀπὸ τῆς πρὸς ἐμὲ ἐλεημοσύνης τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως τῇ εἰρημένῃ μονῇ ταῦτα, ἅτινα καὶ ἔχουσιν οὕτως·

Wie leicht zu sehen ist, zeigen die drei Texte sehr weitgehende wörtliche Übereinstimmungen. Die gleichlautenden Sätze in dem von K. Pergamenos und G. Pharisaios ausgestellten Praktikon von 1320 und der von G. Pharisaios ausgegebenen Urkunde von 1322 kehren auch im Berilas-Praktikon wieder. Das beweist offenbar, dass Georgios Pharisaios, der Aussteller der Zographou-Urkunde von 1322 und der Mitaussteller des Zographou--Praktikons von 1320, auch der Aussteller des Berilas-Praktikons ist.

Im einzelnen sei angemerkt, dass die in den drei Texten nahezu identische Anfangsformel in der Zeit um 1320 besonders gerne angewandt wurde. Dass G. Pharisaios in der Urkunde von 1322 die für Thessalonike übliche Bezeichnung ἡ θεόσωστος πόλις weglässt, ist belanglos; dagegen ist sehr auffällig, dass sowohl in dieser Urkunde als auch in dem Berilas-Praktikon an Stelle des gewöhnlichen εἰς τὸ θέμα Θεσσαλονίκης (so auch im Zographou-Praktikon von 1320) vielmehr εἰς τὴν ἐκτὸς χώραν Θεσσαλονίκης steht. Die darauf folgende Aufzählung der bei der durchzuführenden allgemeinen Revision in Betracht kommenden Gütergattungen, die in der Pharisaios-Urkunde von 1322 fehlt (sie ist ja auch nicht aus Anlass einer solchen allgemeinen Revision entstanden), zeigt in den Praktika des Berilas und des Zographou-Klosters neben sehr deutlichen Übereinstimmungen auch gewisse Verschiedenheiten[21]. Der weitere Text (abgesehen natürlich von den Angaben über den jeweiligen Empfänger) ist wiederum in allen drei Fällen nahezu identisch[22].

Die Formulierungen, die wir in den von G. Pharisaios bzw. von K. Pergamenos und G. Pharisaios ausgestellten Urkunden kennenlernten, begegnen begreiflicherweise hie und da auch in zeitlich nahestehenden gleichartigen Dokumenten anderer Aussteller. Das geeigneteste Vergleichsmaterial bieten die Urkunden der drei Apographeis des Themas Thessalonike:

---

[21] Auf die ungewönliche Erwähnung von Gütern der προσγενῶν des Kaisers im Berilas-Praktikon hat schon Schreiner (S. 39, Bem. zu Z. 2) aufmerksam gemacht. Die Aufzählung der etwaigen Gütergattungen im Berilas-Praktikon findet übrigens eine sehr auffallende Parallele in dem von K. Pergamenos und G. Pharisaios im Sept. 1320 für das Iberon-Kloster ausgestellten Praktikon, wo jedoch der entscheidende Satz leider nicht vollständig entziffert werden konnte: vgl. *Dölger*, Sechs Praktika, P 2—3 (wo fälschlich das J. 1321, in Schatzk., Nr. 70/1 dagegen richtig das J. 1320 angegeben ist). Dass unter den προσγενεῖς des Kaisers im Berilas-Praktikon tatsächlich die Verwandten des Herrscherhauses zu verstehen sind, scheint mir im Gegensatz zu Schreiner sicher, was übrigens auch die Gegenüberstellung der ἑτέρων ἀρχόντων bestätigt. Auf die Besitztümer dieser höhsten Gruppe des byzantinischen Adels deutet wohl auch der Ausdruck προσωπικά (κτήματα) im Zographou-Praktikon von 1320 hin (vgl. auch im Iberon-Praktikon RK 2 vom Januar 1316). Im spätbyzantinischen Reich, besonders in der Palaiologenzeit besteht die eigentliche Oberschicht eben aus den Verwandten des Herrscherhauses, deren Namen auch regelmässig unter Angabe des jeweiligen Verwandtschaftsgrades zum Kaiser zitiert werden, wogegen die übrigen Archonten unterschiedslos als οἰκεῖοι des Kaisers bezeichnet werden.

[22] Angesichts dieser Identität könnte man fragen, ob im Berilas-Praktikon (*Schreiner*, Praktikon II, Z. 3) statt λοιπῶν κτημ(άτων) nicht, wie im Zographou-Praktikon von 1320, vielmehr λοιπῶν, καὶ zu lesen ist. Die gleiche Schlussformel mit Berufung auf die Gnade des Kaisers hat auch die Einleitung des in der vorstehenden Anmerkung zitierten von Pergamenos und Pharisaios stammenden Iberon-Praktikons vom Sept. 1320. Die Anfangsformel lautet aber in diesem Praktikon anders.

des Sebastos Konstantinos Kunales, des Sebastos Demetrios Kontenos und des Prokathemenos von Drama Leon Kalognomos, die ihr Amt spätestens seit 1317 kollegialisch ausübten[23]. Besonders starke Ähnlichkeiten zeigt das von diesem dreiköpfigen Apographeis-Kollegium im November 1318 ausgestellte Praktikon für das Iberon-Kloster[24]. Es beginnt gleichfalls mit der Formel: Ἐπεὶ ὡρίσθημεν ... Θεσσαλονίκης und fährt dann — ohne Aufzählung der verschiedenen Gütergattungen — sachlich übereinstimmend, nicht aber auch wörtlich gleichlautend fort: καὶ παραδοῦναι ἑκάστῳ τὴν τῆς ἰδίας οἰκονομίας αὐτοῦ ποσότητα (wogegen Pharisaios und Pergamenos — Pharisaios jeweils ἑκάστῳ τὸ οἰκεῖον ποσόν haben) μετὰ τῶν ἄλλων εὑρόντες ... Nach Nennung des Empfängers schliessen die einleitenden Ausführungen mit dem auch wörtlich im wesentlichen übereinstimmenden Passus: παραδιδόαμεν ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς ἐλεημοσύνης ... ἥτις καὶ ἔχει οὕτως[25].

Von demselben dreiköpfigen Beamtenkollegium stammt ferner, wie nunmehr feststeht, das Praktikon für das Xenophontos-Kloster aus dem Januar 1318[26]. Es hat die mit Ἐπεὶ ὡρίσθημεν anhebende Anfangsformel, darauf folgt auch hier — ohne Aufzählung der Gütergattungen — die παραδοῦναι-Formel, und zwar hat sie denselben Wortlaut wie in dem Iberon-Praktikon desselben Dreierkollegiums vom November 1318, unterscheidet sich also von der Ausdrucksweise der entsprechenden Stelle in den Urkunden des Pharisaios bzw. des Pergamenos und des Pharisaios. Völlig abweichend ist endlich der abschliessende Passus der einleitenden Ausführungen zu diesem Praktikon. Dagegen ist seine gesamte Einleitung Wort für Wort identisch mit der Einleitung im Praktikon desselben Xenophontos-Klosters vom November 1320[27].

[23] S. das Chrysobull Andronikos' II. vom Juli 1317: Actes de Chilandar, Nr. 32. 124—26. Vgl. *J. Bompaire*, Actes de Xéropotamou, Nr. 22 notes, p. 175.

[24] *Dölger*, Sechs Praktika, K (wo fälschlich das J. 1317 angegeben ist).

[25] Der hier, wie auch in den oben angeführten Urkunden von Pharisaios und Pergamenos-Pharisaios, zitierten kaiserlichen Gnade, der sich die für die Besitzübertragungen zuständigen Beamten erfreuen, gedenkt ebenfalls eine Urkunde des Kollegiums Kunales-Kontenos-Kalognomos vom Mai 1318 (Actes de Chilandar, Nr. 36. 5), die aber mit den hier behandelten Dokumenten sonst keine Übereinstimmungen aufweist.

[26] Actes de Xénophon, ed. *L. Petit*, Nr. 6, wo als Unterzeichner des Praktikons Sebastos Konstantinos Pergamenos, Sebastos Georgios Pharisaios und Leon Kalognomos angeführt sind (vgl. auch die einleitenden Ausführungen von *Petit*, S. 9). Nach der überraschenden Mitteilung von *V. Laurent*, a. a. O. 83 sind hier jedoch in Wirklichkeit die Unterschriften von Kunales-Kontenos-Kalognomos zu lesen. — Beiläufig sei bemerkt, dass G. Pharisaios im Gegensatz zu Pergamenos, wie das gesamte Quellenmaterial beweist, den Sebastos-Titel nicht besass (S. u. a. das in Anm. 11 zitierte Prostagma vom Okt. 1319, wie auch das Chrysobull vom Febr. 1322 in Anm. 13). Demnach muss es auch in der Unterschrift des oben (Anm. 21) erwähnten Iberon-Praktikons vom Sept. 1320 (*Dölger*, Sechs Praktika, P 593 und 601) nicht σε(βα)στ(οί), sondern σε(βα)στ(ὸς) Κωνσταντῖνος ὁ Περγαμηνὸς καὶ Γεώργιος ὁ Φαρισαῖος heissen.

[27] Actes de Xénophon, Nr. 7, mit der Unterschrift ὁ δοῦλος καὶ ἀπογραφεὺς τοῦ θέματος Θεσσαλονίκης und der Anmerkung des Herausgebers: „Le nom du recenseur n'est pas indiqué". Fraglos wurde aber auch dieses Praktikon von einem Beamtenkollegium ausgestellt (wie schon der Plural der Anfangsformel ἐπεὶ ὡρίσθημεν κτλ. zeigt), und zwar scheinen die weitgehenden wörtlichen Übereinstimmungen zwischen diesem

Aus den besprochenen Beispielen ist ersichtlich, dass in zeitlich nahestehenden Dokumenten, auch wenn sie von verschiedenen Ausstellern herrühren, hin und wieder gewisse grössere oder geringere wörtliche Übereinstimmungen feststellbar sind, dass aber die von gleichen Ausstellern stammenden Stücke begreflicherweise eine erheblich stärkere Verwandtschaft an den Tag legen.

In zeitlich von einander weiter abstehenden Dokumenten lassen sich dagegen, was wiederum sehr begreiflich ist, grössere textuelle Ähnlichkeiten nur selten feststellen, während die Verschiedenheit der Formulierungen um so deutlicher hervortritt. Ziehen wir die Urkunden zweier Apographeis der dreissiger und vierziger Jahre zum Vergleich heran.

Der in der Zeit von 1333—1338 als Apographeus tätige Domestikos der Themen Konstantinos Makrenos stellte dem Chilandar-Kloster im August 1334 eine Urkunde aus, die mit Ἐπεὶ ὡρίσθην παρὰ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως... beginnt[28]. Weitere Übereinstimmungen mit den einleitenden Ausführungen in den vorstehend behandelten älteren Dokumenten würde man aber vergeblich in dieser Urkunde suchen, die übrigens nicht anlässlich einer allgemeinen Güterrevision entstand, sondern zwecks Übergabe eines einzelnen Besitztums. Wir kennen jedoch auch zwei Urkunden des K. Makrenos für das Xenophontos-Kloster vom Juli 1335 und vom 3. Januar 1338, die im Zusammenhang mit einer Güterkontrolle im Thema Christoupolis stehen und eingangs ausdrücklich darauf hinweisen, wie das auch die besprochenen Urkunden von Pharisaios, Pergamenos-Pharisaios und Kunales-Kontenos-Kalognomos tun. Der dahingehende Hinweis lautet aber in ihnen anders als in den Urkunden der erwähnten älteren Apographeis. Beide Urkunden des K. Makrenos beginnen nämlich völlig übereinstimmend mit den Worten: Ἐν τῷ ποιεῖν με τὴν ἀπογραφικὴν ἀναθεώρησιν καὶ ἀποκατάστασιν ὁρισμῷ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως...[29]. Die einleitenden Ausführungen dieser beiden Urkunden stimmen auch weiterhin wörtlich überein[30], wogegen nennens-

und dem Xenophontos-Praktikon, Nr. 6 vom Jan. 1318, wie auch der Vergleich von Nr. 6. 53/4 und Nr. 7. 124/5 dafür zu sprechen, dass in Nr. 6. und in Nr. 7 dasselbe Kollegium am Werke war oder zum mindesten ein Mitglied dieses Kollegiums (Leon Kalognomos?) in beiden Fällen mitwirkte. Zu dem von L. Petit unter Nr. 7 veröffentlichten Praktikon vom Nov. 1320 bringt V. Laurent leider keine Angaben. Dagegen notiert er zwei unedierte Dokumente des Xenophontos-Klosters vom Nov. 1320: das eine unterzeichnet von Konstantinos Pergamenos, Leon Kalognomos und Georgios Pharisaios, das andere von K. Pergamenos und G. Pharisaios. S. auch oben, S. 84 über die Angaben Laurents zu den unedierten Urkunden des G. Pharisaios im Archiv des Xenophontos-Klosters.

[28] Actes de Chilandar, Nr. 47. 1. Zu den Urkunden des K. Makrenos und ihrer Chronologie vgl. *Lemerle*, Philippes, 234 ff.

[29] Actes de Xénophon, Nr. 10. 1 und Nr. 11. 1.

[30] Die textuelle Identität — *Lemerle*, Philippes, 235, Anm. 4 bezeichnet sie als etwas überraschend — findet, wie wir gesehen haben, nicht wenige Parallelen in den von einem und demselben Aussteller stammenden Urkunden und braucht durchaus nicht als ein Verdachtsmoment angesehen zu werden. Inhaltlich unterscheiden sich übrigens die beiden Makrenos-Urkunden gänzlich: Nr. 10 teilt dem Xenophontos-Kloster bestimmte Besitzungen zu, Nr. 11 ist ein regelrechtes Praktikon, das dem Kloster seine sämtlichen Güter bestätigt.

werte Übereinstimmungen mit den entsprechenden Teilen der älteren Praktika fehlen.

Von dem Protokynegos Johannes Vatatzes besitzen wir ausser dem oben erwähnten Monomachos-Praktikon zwei Praktika vom April 1341, die sich auf zwei Güterkomplexe des Iberon-Klosters beziehen[31]. Ihre Eingangsformeln sind ganz anders stilisiert und wesentlich kürzer gefasst als die der älteren Praktika. Sie beschränken sich darauf, einleitend mitzuteilen: 'Αποκατέστη παρ' ἐμοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν καὶ ἡ περὶ τὸ θέμα διακειμένη τῆς θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης διὰ θείου καὶ σεπτοῦ χρυσοβούλλου οἰκονομία ... (folgt die vollständigst angeführte Bezeichnung des Iberon-Klosters mit all den entsprechenden Epitheta). Und zwar ist diese Mitteilung, auf die unmittelbar der Text der Praktika folgt, in beiden Stücken Wort für Wort gleichlautend (an die Stelle von περὶ τὸ θέμα ... Θεσσαλονίκης im Praktikon V tritt freilich im Praktikon RV περὶ τὸ κατεπανίκιον Ζαβαλτίας): ein Beispiel mehr für wörtliche Übereinstimmungen in den Praktika des gleichen Ausstellers[32].

II

Auf seine sehr sorgfältige Ausgabe des Berilas-Praktikons lässt Schreiner neben einer Anzahl von Bemerkungen zu einzelnen Ausdrücken des Textes eine Untersuchung allgemeinen Charakters folgen[33]. Durch einen Vergleich des Berilas-Praktikons mit den Praktika für Michael Monomachos (1333) und Johannes Margarites (1342) sucht diese Untersuchung vor allem zu ermitteln, wie die Höhe der Einkünfte der privaten Grundbesitzer und der Abgaben ihrer Zinsbauern festgesetzt wurde. Ich hatte nämlich seinerzeit das Monomachos-Praktikon, das damals einzige verfügbare Praktikon eines weltlichen Grundherrn aus dem 14. Jahrhundert, einer eingehenderen Analyse unterzogen und glaube gezeigt zu haben, dass in den Dörfern, die zur Pronoia des Monomachos gehört hatten und ihm dann durch das Praktikon von 1333 auf kaiserliches Geheiss als erbliches Eigentum überlassen wurden, die Paroiken wohlhabender, ihre Abgaben aber bedeutend niedriger bemessen waren als die der Paroiken in den gleichzeitigen Praktika der Klostergüter, wie auch das Eigenland des Monomachos hier erheblich niedriger eingeschätzt wird. Das bedeutet praktisch, dass Monomachos als Gegenwert für die ihm vom Kaiser bewilligte Rente von 50 Nomismata eine grössere Zahl von Paroiken und mehr Land erhielt

---

[31] *Dölger*, Sechs Praktika, V und RV.

[32] Ein von Johannes Vatatzes ebenfalls im April 1341 ausgestelltes Praktikon für das Docheiariou-Kloster ist nicht veröffentlicht. *Ktenas*, Τὰ κειμηλιαρχεῖα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ... ἱερᾶς μονῆς Δοχειαρίου, ΕΕΒΣ 7 (1930) p. 109, Nr. 22, gibt wenigstens ein ganz kurzes Regest und das incipit dieses Dokuments folgenden Wortlauts: Ἐπεὶ εὗρον τὴν κατὰ τὸ ἅγιον ὄρος τοῦ Ἄθω διακειμένην... Dieses incipit kündigt offensichtlich eine kanppe Sachlichkeit der Eingangsformel an, wie sie ja auch die Einleitungsformel in den gleichzeitigen Praktika des J. Vatatzes für das Iberon-Kloster kennzeichnet, im Gegensatz zu der feierlicheren Phraseologie der einleitenden Erörterungen in den Praktika der älteren Apographeis.

[33] *Schreiner*, a. a. O. 42 ff.

als dieser Rentehöhe ansonsten entsprach. Diese Beobachtung bewog mich zu der Annahme, dass Pronoiagüter — wohl mit Rücksicht auf die ihnen obliegende Dienstpflicht — sich in einer bevorzugten Lage befanden; dabei betonte ich allerdings nachdrücklich, dass diese Annahme, sofern sie auf einem einzigen Dokument beruht, hypothetisch bleibt und einer Nachprüfung an Hand weiterer Texte bedarf[34].

Was ergibt nun der Vergleich mit den Angaben der Praktika für J. Margarites und M. Berilas? Nach Schreiner vermag das Margarites-Praktikon die Annahme einer Bevorzugung der Pronoiagüter zu unterstützen, während das Berilas-Praktikon nicht dafür spricht[35]. In der Tat stehen sich die Zinsbauern, die Margarites mit der Pronoia des Arsenios Tzamplakon zugefallen waren, im Durchschnitt nicht schlechter als die Paroiken des Monomachos und ihre Abgaben sind ebenso grossherzig, wenn auch nicht gerade sehr gleichmässig, berechnet. So besitzt z. B. die an erster Stelle angeführte Paroikenfamilie aus der ehemaligen Oikonomia des Tzamplakon 1 Ochsengespann (zeugarion), 2 Kühe, 2 Schweine, 49 Modioi Weinland, sieben Grundstücke Ackerland von insgesamt 65 Mod. und hat die verhältnismässig sehr niedrig angesetzte Abgabe von 1 2/3 Hyperpyra zu entrichten[36]; sie steht besser als die wohlhabendsten Paroikenfamilien des Monomachos, von denen freilich keine mehr als 1 1/2 Hyp. zu zahlen hat. Die Aufzählung der Besitzungen der wohlhabendsten Paroikenfamilie des Margarites aus der Tzamplakon-Pronoia erstreckt sich über fast eine halbe Druckseite[37], sie hat aber dennoch nicht mehr als 2 1/2 Hyp. zu leisten: eine Abgabe mit der auf Klostergütern durchschnittlich wohlhabende Haushaltungen belastet sind, während die reichsten bis 5 Hyp. aufzubringen haben[38]. Allerdings bestehen unter den Paroiken der ehemaligen Tzamplakon-Pronoia sehr starke Besitzunterschiede und es gibt hier — im Gegensatz zu der Monomachos-Pronoia — auch Zinsbauern, die fast jeglichen Besitzes entbehren und demgemäss die minimale Abgabe von 1/6 Hyp. entrichten[39].

Alles in allem halten sich die Angaben in den Praktika des Margarites und des Monomachos etwa die Wage. Nach Schreiner stehen die Paroiken des Margarites effektiv sogar über denen des Monomachos[40]; wobei noch in Rechnung zu ziehen wäre, dass die Angaben des Margarites-Praktikon stellenweise unvollständig zu sein scheinen[41]. Auf jeden Fall hat Schrei-

---

[34] Vgl. Féodalité, 347—356.

[35] *Schreiner*, a. a. O. 42.

[36] *Lemerle*, Un Praktikon inédit, S. 282, Z. 8—11.

[37] Ibid., S. 283, Z. 15—19, wobei noch zu bemerken ist, dass hier lediglich Liegenschaften (meistens kleinere Grundstücke), nicht aber auch die Haustiere angeführt werden.

[38] Vgl. Féodalité, 316 et passim.

[39] *Lemerle*, Un Praktikon inédit, Z. 13, 30, 34, 35.

[40] *Schreiner*, a. a. O. 43.

[41] Wie schon *Lemerle*, Un Praktikon inédit, 280, Anm. 7 notiert hat, hält sich das Margarites-Praktikon auch nicht durchweg an das sonst typische Schema der Praktika-Eintragungen, in denen an der Spitze die Paroikenfamilie mit allen ihren (arbeitsfähigen)

ner zweifellos Recht, wenn er betont, dass „die Bauern des Margarites trotz einer geringeren Zahl an Tieren durch ihren Grundbesitz, besonders durch das hochwertige Weinland, sich wesentlich besser standen als die Kloster-paroiken“[42].

Neben zahlreichen Besitzungen aus der Oikonomia des Tzamplakon erhielt Margarites auch eine Stasis aus der Oikonomia des Protoasekretes Bardales[43]. Die Stasis umfasst 2 Mod. Weinland, 31 Mod. Ackerland, eine Gartenanlage (ἐσωθύριον)[44] von 3 Mod. und ist auf 1 Hyp. veranlagt. Diese sehr niedrige Veranlagung ist mit der auf den Pronoiagütern des Tzamplakon und des Monomachos vergleichbar. So besteht eine auf 1 Hyp. eingeschätzte Stasis aus der Pronoia des Tzamplakon aus 2 Mod. Weinland und 26 Mod. Ackerland, eine andere aus 3 Mod. Weinland, 7 Mod. Ackerland und einer Gartenanlage von 4 Mod.[45] Mehrere auf 1 Hyp. veranlagte Haushaltungen aus der Pronoia des Monomachos besitzen je 2 bzw. 3 Mod. Weinland, 25 bzw. 26 Mod. Ackerland, eine von ihnen auch 1 Ochsen und 2 Schweine, eine andere 3 Schweine und jede — wie sämtliche Paroiken des Monomachos — je ein Fischerbot[46]. Ein wesentlich anderes Bild zeigt demgegenüber die Einschätzung der Kloster-Paroiken. So besitzen nach dem Zographou-Praktikon von 1320 die auf 1 Hyp. veranlagten Paroikenfamilien dieses Klosters sei es 1 1/2 Mod. Weinland, 1 Mod. Ackerland und 3 Feigenbäume, oder 2 Mod. Weinland, 1 Kuh und 1 Esel, oder 1 2/3 Mod. Weinland, 2 Obstgärten von insgesamt 3 5/6 Mod. und 6 Mod. Ackerland, oder schliesslich nur 1 Ochsen und 1 Esel[47]. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass bei der Stasis aus der Oikonomia des Bardales, ebenso wie bei den Pronoiabesitzungen des Tzamplakon und des

---

Mitgliedern steht, danach das Gross- und Kleinvieh und schliesslich das unbewegliche Besitztum angeführt wird, sondern gibt stellenweise nur die στάσις an, ohne weder die Mitglieder der Paroikenfamilie aufzuzählen noch auch die Haustiere zu erwähnen, die schwerlich in allen Fällen fehlen konnten. Vgl. oben, Anm. 37.

[42] Vgl. *Schreiner*, a. a. O. 43 mit der Tabelle, in welcher er die Angaben der Praktika für Monomachos und für Margarites mit den entsprechenden Angaben des von K. Pergamenos und G. Pharisaios ausgestellten Praktikons für das Zographou-Kloster von 1320 (S. oben) vergleicht.

[43] *Lemerle*, Un Praktikon inédit, 284, Z. 26—28. Über die Persönlichkeit und die Laufbahn des Protoasekretes Bardales vgl. neben den Bemerkungen von Lemerle (S. 289) vor allem die Abhandlung von *I. Ševčenko*, Léon Bardalès et les juges généraux ou la corruption des incorruptibles, Byzantion 19 (1949) 247 ff. Wie Ševčenko zeigt, wurden im Zusammenhang mit der bekannten Affäre der Allgemeinen Richter der Rhomäer von 1337 auch die Güter des Protoasekretes Bardales konfisziert, und dies erklärt wohl auch die Übertragung eines Teiles seiner ehemaligen Besitzungen an J. Margarites. Über die Allgemeinen Richter der Rhomäer s. vor allem *P. Lemerle*, Le Juge général des Grecs et la réforme judiciaire d'Andronic III, Mémorial L. Petit (1948) 292 ff.; *derselbe*, Recherches sur les institutions judiciaires à l'époque des Paléologues, Mélanges H. Grégoire I (1949) 369 ff.; *derselbe*, Documents et problèmes nouveaux concernant les juges généraux, Δελτίον Χριστ. Ἀρχ. Ἑτ. 4 (1964) 29 ff.

[44] Zur Bedeutung dieses Ausdrucks vgl. *F. Dölger*, Beiträge zur byzantinischen Finanzverwaltung, Byz. Archiv, H. 9, 1927 (Neudruck: Darmstadt 1960), 136 f.

[45] *Lemerle*, Un Praktikon inédit, 282, Z. 13/4 u. 14/5.

[46] Actes de Zographou, Nr. 29. 24—27, 37—38, 41—43, 55—57.

[47] Ibid., Nr. 17. 11—14, 28—30, 33—36, 56—58.

Monomachos, die Einschätzung nach einem erheblich günstigeren Schlüssel vorgenommen worden war als auf den Klostergütern.

Die Lage und die Veranlagung der Paroiken im Berilas-Praktikon ist dagegen mit der Situation der Klosterparoiken vergleichbar. Das hat Schreiner richtig erkannt, richtig ist an und für sich auch seine Behauptung, dass ein solcher Vergleich kaum oder überhaupt nicht zugunsten der Zinsbauern des Berilas ausfalle[48]. Nicht glücklich war es jedoch, zum Vergleich ausgerechnet die Angaben eines Praktikons des Xenophontos-Klosters heranzuziehen[49]: Angaben, welche die erwähnte, an sich zutreffende Behauptung nicht zu stützen vermögen.

Die Lage der Hintersassen des Xenophontos-Klosters ist nämlich für die Klosterparoiken durchaus nicht typisch. Es handelt sich hier nicht um eigentliche Paroiken, sondern vielmehr um die sog. ἐλεύθεροι, Vertreter der ärmsten, stark fluktuierenden Schicht der spätbyzantinischen ländlichen Bevölkerung, die, auch einfach πτωχοί oder ξένοι bzw. ξενοπάροικοι geheissen, von Ort zu Ort zogen, um sich hin und wieder auf den Ländereien eines Klosters oder eines sonstigen Grundherrn niederzulassen. Wir begegnen ihnen auch in den Praktika anderer Klöster, wo sie indes nur kleinere Gruppen neben dem Gros der eigentlichen Paroiken bilden, von diesen ausdrücklich unterschieden werden und sich stets durch äusserste Armut auszeichnen. Die Zinsbauern des Xenophontos-Klosters entstammen aber alle samt und sonders dieser verelendeten und unstetigen Schicht[50]. Die Angaben der Xenophontos-Praktika über den Vermögensstand der einzelnen Bauernfamilien auf den Ländereien dieses Klosters bieten denn auch ein Bild trostlosen Elends[51].

Es ist also nicht wunderzunehmen, dass die armseligen Eleutheroi des Xenophontos-Klosters — entgegen Schreiners Meinung — erheblich schlechter stehen als die Paroiken des Berilas. Wenn nämlich bei ähnlicher Höhe des Gesamtbetrages der zu zahlenden Abgaben die Paroiken des Berilas insgesamt 9 Stück Grossvieh und 5 Schweine, 1 Mühle, 5 11/12 Mod. Weinland und 30 Mod. Ackerland, die Zinsbauern des Xenophontos-Klosters aber (im J. 1318) insgesamt 14 Stück Grossvieh und 2 Schweine, keine Mühlen, 2 2/3 Mod. Weinland und überhaupt kein Ackerland besitzen[52],

---

[48] *Schreiner*, a. a. O. 44.

[49] Actes de Xénophon, Nr. 6 (1318).

[50] Über die Praktika des Xenophontos-Klosters und dessen Paroiken ausführlicher in: Féodalité, 330—347. — Auch das Berilas-Praktikon (Z. 20) gedenkt der ξενοπαροίκων, die Weinland im Besitz ihres Grundherrn pachten. Selbst wenn wir die — auf diesen bezogene — Lesung αὐτοῦ beiseite lassen, zeigt, worauf *Schreiner*, a. a. O. 40 richtig hinweist, das danach folgende καὶ τῶν παροίκων τοῦ Κεραμέως (d. i. eines anderen Gutsherrn), dass diese ξενοπάροικοι zur Grundherrschaft des Berilas gehören. Zum Begriff ξενοπάροικος vgl. Féodalité 343 f.

[51] Neben Actes de Xénophon, Nr. 6 (1318), ebenso auch Nr. 3 (1300), Nr. 7 (1320) und Nr. 11 (1338).

[52] Die angeführten Zahlen stimmen nicht durchweg mit den Angaben in Schreiners Tabelle (S. 44) überein (beim Auffinden der einzelnen Zahlenangaben und dem recht

dabei aber beträchtlich zahlreicher sind — das Dorf des Berilas zählt 36 Paroiken in 13 Haushaltungen, wogegen die Dörfer des Xenophontos-Klosters 63 in 22 Haushaltungen zählen[53] —, so ist doch ganz klar, dass die Lage der letzteren wesentlich schlechter ist als die der Paroiken des Berilas[54]. Von den 22 Haushaltungen waren hier 11 gänzlich besitzlos: ihre Rubriken enthalten nichts ausser den Namen dieser verelendeten Bauernfamilien und der Angabe über die ihnen immerhin auferlegte Abgabe.

Allerdings war auch die Lage der Paroiken des Berilas durchaus nicht beneidenswert. Vergleichen wir die Angaben seines Praktikons mit den Angaben über die Paroiken des Dorfes Kumitza im Praktikon des Chilandar-Klosters[55] und der Dörfer Hierissos und Symeon in einem Praktikon des Zographou-Klosters[56]. Wir wählen diese zwei Beispiele, weil in beiden Fällen die Zahl der dort ansässigen Klosterparoiken am nächsten der Zahl der bäuerlichen Haushaltungen im Dorfe des Berilas entspricht.

I Besitztum des Berilas

II Chilandar-Dorf Kumitza (1300)

III Zographou-Dörfer Hierissos und Symeon (1300)

IV Differenz mit II zugunsten (+) bzw. zuungunsten (-) des Berilas

V Differenz mit III zugunsten (+) bzw. zuungunsten (-) des Berilas

umständlichen Addieren der vielen Bruchziffern sind wohl einem von uns oder auch beiden gewisse Versehen unterlaufen). Die sich ergebenden Unterschiede haben jedoch keinen Einfluss auf das Gesamtbild. Nach Schreiners Rechnung besässen die Paroiken des Berilas insgesamt 10 Stück Grossvieh (statt 9), 4 11/12 Mod. Weinland (statt 5 11/12) und 27 Mod. Ackerland (statt 30), die Zinsbauern des Xenophontos-Klosters 3 7/12 Mod. Weinland (statt 2 2/3); die Gesamtsteuer der ersteren beliefe sich auf 5 5/6 Hyp. (statt 7 1/6), die der letzteren auf 5 3/4 Hyp. Hier liegt nun bestimmt ein wenn auch unbedeutender Rechnugsfehler vor. In Actes de Xénophon, Nr. 6. 41 ist die Gesamtsumme der bäuerlichen Abgaben folgendermassen angegeben: ὁμοῦ τὸ οἰκούμενον ὑπέρπυρα πενταχόσια δύο, was offensichtlich eine falsche Lesung ist; zweifellos muss es heissen: ... ὑπέρπυρα πέντε, κοκκία εἴκοσι δύο, d. i. 5 Hyperpyra und 22 Kokkia (Keratia), bzw. 5 11/12 Hyp. und dies ist auch tatsächlich die Gesamtsumme, welche sich aus der Addition der einzelnen Steuerziffern ergibt (vgl. Féodalité, 335).

53 Das Zographou-Kloster zählte im J. 1320 — nach dem oben mehrfach erwähnten Praktikon des K. Pergamenos und G. Pharisaios — gleichfalls 22 Paroikenfamilien, diese besassen aber 5 Zeugaria, 22 Stück Grossvieh, 46 1/2 Mod. Weinland, 309 Mod. Ackerland und hatten 27 1/3 Hyp. zu leisten. Vgl. die Tabelle bei *Schreiner*, a. a. O. 43, bzw. in Féodalité, 350.

54 Angemerkt sei noch einerseits, dass ein Paroikos des Berilas einen Obstgarten (περιβόλιον) mit 8 Obstbäumen besitzt (Z. 10/11), andrerseits dass die Angaben im Berilas-Praktikon stellenweise nicht vollständig erhalten sind.

55 Vgl. das in altslavischer Übersetzung überlieferte Praktikon des Chilandar-Klosters vom November 1300, ed. *V. Mošin*, Spomenik Srpske kralj. akademije 91 (1939) 212. Zum Datum: Féodalité, 271 ff.

56 Vgl. das Zographou-Praktikon vom Oktober 1300 in: Actes de Zographou, Nr. 15. Zur Chronologie: Féodalité, 266 ff.

	Haushaltungen	Paroiken	Boïdia	Esel und Kühe	Schweine	Schafe	Mühlen	Obstgärten	Weinland (Mod.)	Ackerland (Mod.)	Gesamtsteuer (Hyp.)
I	13	36	5	4	5	—	1	1	$5^{11}/_{12}$	30	$7^{1}/_{6}$
II	15	42[57])	7	6	—	70	—	—	7	—	$10^{1}/_{3}$
III	13[58])	50	6	3	—	—	—	1	$38^{1}/_{2}$[59])	15	$12^{1}/_{2}$
IV	-2	-6	-2	-2	+5	-70	+1	+1	$-1^{1}/_{12}$	+30	$-3^{1}/_{6}$
V	±	-14	-1	+1	+5	—	+1	±[60])	$-32^{7}/_{12}$	+15	$-5^{1}/_{3}$

Die angeführten Zahlen zeigen, dass die Paroiken des Berilas ihrem Vermögensstand nach mit den Klosterparoiken in Kumitza alles in allem etwa auf gleicher Stufe stehen, hinter denen der Zographou-Dörfer aber mit Rucksicht auf deren beträchtlich grösseren Besitz an Weinland sogar zurückbleiben, was übrigens auch in der Abstufung der Abgabenhöhe zum Ausdruck kommt[61]. Dabei ist noch in Rechnung zu ziehen, dass Kumitza zu den ärmsten Dörfern des Chilandar-Kloster gehörte,[62] das Zographou-Kloster aber um 1300 erst am Anfang seines Aufstieges stand[63].

Die Einschätzung des Landes im Eigenbesitz des Berilas gibt ebenfalls keinen Anlass von seiner Bevorzugung seitens der Obrigkeit zu sprechen: an einer Stelle berechnet sein Praktikon für 50 Mod. Land 1 Hyperpyron, was der normalen Einschätzung des Bodens in dieser Zeit entspricht; an einer anderen 37 Hyp. für 2500 Mod., d.i. 1 Hyp. für 67,5 Mod., da es sich hier, wie ausdrücklich angemerckt wird, um Land II. und III. Quali-

[57] Während die Praktika in der Regel nur erwachsene Paroiken eintragen, werden im Chilandar-Praktikon daneben an zwei Stellen insgesamt fünf Kinder (ohne Namensnennung) notiert.

[58] Berücksichtigt sind nur die eigentlichen Paroiken-Haushaltungen, nicht aber die zwei Eleutheroi-Familien, die auch im Praktikon selbst, wie üblich, ausgesondert erscheinen. Die eine von ihnen hat nur eine Kuh, die andere ist gänzlich besitzlos (beide sind mit je 1/4 Hyp. belastet). Vgl. Actes de Zographou, Nr. 15. 37—39.

[59] Davon sind freilich 9 Mod. verödet und als χερσάμπελον bezeichnet.

[60] Der Obstgarten (περιβόλιον) im Besitz einer Paroikenfamilie des Berilas zählte 8 Obstbäume, der im Besitze einer Paroikenfamilie des Zographou-Klosters hatte eine Fläche von 1 1/2 Mod.

[61] Allerdings zeigt die Festsetzung der Abgaben, die sich ja nie durch besondere Gleichmässigkeit auszeichnete, in den Dörfern der beiden Klöster hie und da eine grössere Strenge als im Dorfe des Berilas. So werden hier beispielsweise die gänzlich besitzlosen Paroikenfamilien mit 1/6 Hyp., in Kumitza und in Hierissos aber mit 1/4 Hyp. besteuert. Auf jeden Fall handelt es sich aber nicht um Unterschiede, die auf eine grundsätzliche Bevorzugung des Berilas schliessen liessen.

[62] Vgl. Féodalité, 315.

[63] Vgl. die in Anm. 53 angeführten Angaben über den Vermögensstand der Zinsbauern des Zographou-Klosters im J. 1320.

tät handelt[64]. Dagegen wurde das Eigenland von 575 Mod. in den aus der Pronoia des M. Monomachos ausgesonderten und ihm als erbliches Eigentum überlassenen Dörfern auf 7 Hyp. eingeschätzt, d.i. 1 Hyp. für über 80 Mod. berechnet, obwohl es zu weitaus grösstem Teil fruchtbar war und 25 Mod. sogar auf einen Obstgarten entfielen[65]; da aber die Grösse des ihm als Erbgut zugewiesenen Besitzes nach der Höhe der vom Kaiser bewilligten Jahresrente (ποσότης) bemessen wurde, so bedeutete für ihn eine solche niedrige Einschätzung des Landes begreiflicherweise einen erheblichen Vorteil, ebenso übrigens wie der niedrige Ansatz der Agbaben seiner Zinsbauern. Nach normaler Einschätzung würden auf den Obstgarten von 25 Mod. allein etwa 4 Hyp. entfallen[66].

Von einer bevorzugten Lage der Besitzungen und der Zinsbauern des Berilas kann also offenkundig keine Rede sein, wie das schon Schreiner richtig gesehen hat. Der Vergleich der drei Praktika führt vielmehr zu der Feststellung eines wesentlichen Unterschiedes zwischen der Lage einerseits der Besitzung des Manuel Berilas, andrerseits aber der Pronoia des Michael Monomachos und der an Johannes Margarites übertragenen ehemaligen Pronoia des Arsenios Tzamplakon. Und wir stehen nun vor der Frage nach dem Grund dieses Unterschiedes.

Zunächst bedarf die Art der Besitzung des Berilas einer Klärung. Da das Praktikon sie als οἰκονομία bezeichnet (Z. 5), betrachtet sie Schreiner ohne weiteres als eine Pronoia[67]. Nun trifft es zwar zu, dass dieser Ausdruck ein Pronoialehen bezeichnen kann und häufig auch tatsächlich bezeichnet, keineswegs wird er aber ausschliesslich für Pronoiagüter gebraucht. In den Eingangsformeln der Praktika, die uns oben beschäftigt haben, wird die Grundherrschaft der einzelnen Klöster durchweg als deren οἰκονομία bezeichnet — und in der gleichen Weise bezeichnet die völlig analoge Eingangsformel zum Praktikon des Berilas auch dessen Gut als οἰκονομία[68]. Im Text des Praktikons findet sich aber überhaupt kein Anzeichen dafür, dass es sich um eine Pronoia handle[69].

---

[64] *Schreiner*, Praktikon II, Z. 27 u. 28.

[65] Actes de Zographou, Nr. 29. 77—83.

[66] Cf. Actes d'Esphigménou, ed. *L. Petit* et *W. Regel*, p. XVI, wo ein Obstgarten von 4 Mod. mit einer Abgabe von 2/3 Nom. belastet ist.

[67] Schreiner, a. a. O. 39 (Bem. zu Z. 5). Korrekturzusatz: dieselbe Ansicht vertritt auch — gleichfalls aufgrund des Ausdrucks οἰκονομία — die kürzlich veröffentlichte Dissertation von *Ljubomir Maksimović*, Vizantijska provincijska uprava u doba Paleologa, Beograd 1972, S. 109; ich ergreife jedoch gerne die Gelegenheit, um auf diese vortreffliche und ergebnisreiche Arbeit hinzuweisen.

[68] S. die S. 86, zitierten Texte. Vgl. ferner die Einleitungsformel zu den Praktika in: *Dölger*, Sechs Praktika, A 2, K 3 u. 5, P 5, V 2, RK 4, RV 2 (d. h. in sämtlichen hier veröffentlichten sechs Praktika); Actes de Xénophon, Nr. 6. 4 u. Nr. 7. 4; Actes de Zographou, Nr. 15. 3 u. 6.

[69] Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Soldat des Mega Allagion kein Pronoiagut besitzen konnte. Besitzer eines Pronoiagutes war zweifellos ein gewisser Gazes, Angehöriger desselben Mega Allagion von Thessalonike, von dem in einem Chrysobull Andronikos' II. vom Sept. 1286 die Rede ist (Actes de Zographou, Nr. 10; dazu Féodalité 139 f.), und ebenso der in einem gefälschten Chrysobull desselben Kaisers vom Jan. 1318 erwähnte Manuel Garianos aus dem Mega Allagion von Hierissos (?), der ein Grundstück als Erbeigentum (γονικὴν αὐτοῦ ὑπόστασιν), daneben aber auch eine οἰκονομία mit

Ganz anders steht es um die οἰκονομία des Monomachos, aus der ihm ein Teil nunmehr als Ergut ausgesondert wird, wie auch um die οἰκονομία des Tzamplakon, die dem Margarites nebst einem Gut des Kantakuzenos als Erbeigentum zufällt; allem Anschein nach auch um die οἰκονομία des Leon Bardales, die wir desgleichen aus dem Margarites-Praktikon kennen. Denn in diesen Fällen, allenfalls in den beiden ersteren, bedeutet οἰκονομία sicher eine Pronoia.

Bemerkenswert ist schon die terminologische Unterscheidung, die das Margarites-Praktikon zwischen den an Margarites übertragenen Gütern macht: das ehemalige Gut des Kantakuzenos, das selbstverständlich keine Pronoia war, ist ein ζευγαλατεῖον, das des Tzamplakon dagegen eine οἰκονομία[70]. Besonders beachtenswert ist aber die Bestimmung, dass Margarites für diese Güter nicht allein keinerlei Abgaben zu leisten habe, sondern auch keiner Dienstpflicht unterliege (ἀκαταδούλωτον) und das zugeteilte Land als erbliches Eigentum (κατὰ λόγον γονικότητος) besitzen soll[71].

Nichts dergleichen findet sich im Berilas-Praktikon. Daraus ist aber nicht zu schliessen, das „im Gegensatz zu den beiden anderen Praktika (sc. den Praktika für Monomachos und Margarites) in dem unseren der Besitz nicht erblich (ὡς γονικόν) verliehen wird“[72]. Eine Verleihung im eigentlichen Sinne liegt hier gar nicht vor. Vielmehr wird im Rahmen einer allgemeinen Güterrevision im Gebit von Thessalonike neben anderen auch das Gut des Berilas der üblichen periodischen Schätzung (ἀπογραφικὴ ἐξίσωσις) unterzogen: die παράδοσις bedeutet hier keine eigentliche Besitzübergabe, sondern eine Besitzbestätigung nach erfolgter Kontrolle. Da sich hierbei im Grunde nichts änderte, da die Besitzung des Berilas schon vorhin sein Erbeigentum war, so brauchte dies nicht besonders hervorgehoben zu werden. Dagegen handelte es sich ja im Praktikon des Margarites nicht um eine blosse Bestätigung des vorgefundenen Standes aufgrund einer allgemeinen Güterrevision, vielmehr wurde es durch eine kaiserliche Sonder-

entsprechender Rente (ποσόν) innehat (*Dölger*, Schatzk. Nr. 50). Beachtenswert ist andrerseits, dass in einigen Dokumenten von Söhnen und Erben der Angehörigen des Mega Allagion in Thessalonike die Rede ist (Actes de Chilandar, Nr. 67. 1; *Dölger*, Sechs Praktika, A 452/3, K 595, P 582), woraus wohl zu schliessen ist, dass deren Väter nicht oder nicht nur Pronoiagüter, sondern auch Güter im Privatbesitz hatten.

[70] *Lemerle*, Un Praktikon inédit, 281, Z. 2 u. 3. Vgl. auch im weiteren einersets Z. 8 u. 28, andrerseits Z. 37/8.

[71] Ibid., Z. 3 u. 4. Beides wird auch in der Schlussformel ausdrücklich wiederholt und hierbei erläuternd hinzugefügt: ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἔποικοι τῆς θεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης κατέχουσι τὰ γονικὰ αὐτῶν κτήματα (Z. 44). Auf diese bemerkenswerte Erläuterung hat schon *Lemerle*, a. a. O. 288 aufmerksam gemacht.

[72] *Schreiner*, a. a. O. 42, worauf etwas weiter der nicht recht verständliche Schluss folgt: „Immerhin ergibt sich, dass Pronoiagüter nicht grundsätzlich erblich vergeben wurden“. Pronoiagüter waren bekanntlich ein grundsätzlich unvererbbares, befristetes und bedingtes Besitztum, sie wurden ursprünglich überhaupt nicht und auch späterhin (erst seit Michael VIII.) nie grundsätzlich, sondern nur fallweise als besonderes Privileg, durch besondere kaiserliche Schenkung erblich vergeben. Schreiners verdienstliche Untersuchung wird auch sonst dadurch beeinträchtigt, dass er dem Begriff Pronoia eine allzu weite und daher unpräzise Bedeutung zuschreibt.

verfügung veranlasst und hatte eine effektive Verleihung der eingezogenen Güter anderer Besitzer zum Gegenstand. Hier änderte sich also die Lage von Grund aus und deshalb wird auch ausdrücklich bestimmt, dass Margarites die verliehenen Güter, darunter auch die Oikonomia des Tzamplakon, ohne Verpflichtung zur Dienstleistung als erbliches Eigentum besitzen soll; wodurch implicite bestätig wird, dass die Oikonomia des Tzamplakon eine Pronoia darstellte und als solche kein erbliches, sondern ein bedingtes und zur Dienstleistung (δουλεία) verpflichtetes Besitztum war.

Noch klarer ist die Sachlage im Praktikon des M. Monomachos. Sein Aussteller, der Protokynegos Johannes Vatatzes, beruft sich auf ein kaiserliches Chrysobull, das ihm anordnete, dem Eparchen Michael Monomachos aus dessen Oikonomia am Strymon (ἀπὸ τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ) die ποσότης von 50 Hyp. ὡς γονικὴν αὐτοῦ καὶ ἄνευ δουλείας zu übergeben[73]. Demgemäss „übergibt" er an Monomachos zwei Dörfer aus dessen Pronoia am Strymon und bietet eine ausführliche Liste der dort ansässigen Zinsbauern und der Ländereien im grundherrlichen Eigenbesitz unter Anführung aller Abgaben und Einkünfte, die Monomachos in vollem Umfang geniessen soll, und zwar, wie in der Schlussformel nochmals betont wird, „als erbliches Eigen und ohne Dienst": ὡς γονικὸν καὶ ἄνευ δουλείας[74]. Darauf liegt der Akzent, denn die erwähnten Dörfer befanden sich ja ohnehin schon im Besitz des Monomachos; wichtig war jedoch, dass ein Teil seines Pronoialehens ihm nun als Erbeigentum überlassen und von der Dienstpflicht einer Pronoia befreit wurde[75].

Das Monomachos-Praktikon war seinerzeit die einzige Stütze der von mir geäusserten Vermutung, dass für Pronoiagüter besondere Schätzungsnormen galten[76]. Eine weitere Stütze scheint diese Vermutung nunmehr im Margarites-Praktikon zu finden, das für die an Margarites übertragenen Besitzungen aus der konfiszierten Pronoia des Tzamplakon, wie wir gesehen haben, desgleichen eine stark bevorzugte Einschätzung zeigt. Erinnert sei auch an die — freilich nur aus einer Angabe erschlossene — ebenfalls stark begünstigte Einschätzung einer Stasis aus der an denselben Margarites übertragenen Oikonomia des Protoasekretes L. Bardales. Nicht zu unterschätzen ist andererseits die Bedeutung des Umstandes, dass die Einschätzung der Besitzung des M. Berilas, die keine Pronoia war, nicht die mindeste Begünstigung erkennen lässt, dass der Vermögensstand seiner Zinsbauern hinter denen des Monomachos und des Tzamplakon weit zurückbleibt und etwa dem Stand der Paroiken ärmerer Klosterdörfer entspricht. Dennoch möchte ich in der Annahme einer grundsätzlich bevorzugten Einschätzung der Pronoiagüter auch heute nur eine Vermutung sehen und sie lediglich als

---

[73] Actes de Zographou, Nr. 29. 3—5.

[74] Ibid., Nr. 29. 102.

[75] Die Umwandlung eines Pronoialehens in Erbeigentum ist im Reich der Palaiologen ein häufiger Vorgang. Die Fälle, über die uns die entsprechenden Schenkungsurkunden näher unterrichten, sind dem Falle Monomachos ganz analog. Neben der Erteilung des Erbrechtes ist in ihnen desgleichen öfters von der Dienstpflicht die Rede, sei es dass der Empfänger von ihr befreit oder dass sie fortbesteht und auf dessen Nachkommen übertragen wird. Vgl. Féodalité, passim.

[76] Féodalité, 348 ff.

eine mögliche Deutung betrachten, die einer noch weiteren Bestätigung durch neue Quellen bedarf.

Zudem schienen mir schon dazumal gewisse Angaben im Monomachos-Praktikon auch die Möglichkeit einer anderen Deutung offen zu lassen. Diese Möglichkeit halte ich auch heute für erwägenswert, umso mehr als eine Konfrontierung des Monomachos-Praktikons mit den beiden kürzlich veröffentlichten Praktika — namentlich eine Konfrontierung der sozialen Stellung ihrer Inhaber — das Problem in einen breiteren Rahmen zu rücken vermag. Unverkennbar ist nämlich der soziale Abstand, der zwischen M. Monomachos und J. Margarites einerseits und M. Berilas andrerseits bestand, und dies ist für unsere Betrachtung fraglos ein beachtenswertes Moment, das wir mit in Rechnung zu ziehen haben.

Es sei daran erinnert, dass Michael Monomachos, der den Ehrentitel eines Eparchen (später eines Megas Konostaulos) trug, mit der Verwaltung von Thessalonike (später auch von Thessalien) betraut war und in den Ereignissen seiner bewegten Zeit eine hervorragende Rolle spielte. Das aus seinem Praktikon bekannte Privileg wurde ihm erteilt, als er bereits an der Spitze der Verwaltung von Thessalonike stand, und war ein Lohn für seinen erfolgreichen militärischen Eingriff in Thessalien[77]. Johannes Margarites war einer der bedeutendsten Vertreter der grossgrundbesitzenden Aristokratie Ostmakedoniens. Politisch scheint er sich nicht stärker hervorgetan zu haben und blieb daher in den berichtenden Quellen unerwähnt, aber er basass, wie aus den zeitgenössischen Urkunden ersichtlich ist, gewaltige Ländereien, die er im Bürgerkrieg auf Kosten der Vertreter der Gegenpartei, den Usurpator J. Kantakuzenos selbst nicht ausgenommen, und nach der serbischen Eroberung Makedoniens durch den Übertritt in den Dienst Stefan Dušans noch erheblich zu mehren wusste[78].

Dagegen gehörte Manuel Berilas als Soldat des Wachtregiments, des Mega Allagion von Thessalonike, dem Kleinadel an. Seine bescheidene soziale Stellung spiegelt sich in den Angaben seines Praktikons sehr deutlich wider. Das Praktikon führt ihn bloss als τὸν ἀπὸ τοῦ θεσσαλονικαίου μεγάλου ἀλλαγίου an[79]. Seinem Namen wird kein Ehrentitel beigefügt und es kommt

[77] Über die Persönlichkeit und die Laufbahn des M. Monomachos vgl. zuletzt die eingehenden Ausführungen von *F. Barišić*, Mihailo Monomah, eparh i veliki konostavl, ZRVI 11 (1968) 215 ff.

[78] Über Joh. Margarites und seinen Grundbesitz, vgl. zuletzt *G. Ostrogorsky*, La prise de Serrès par les Turcs, Byzantion 35 (1965) 314 ff. Zum höheren Adel gehörte ebenfalls der Megas Papias Arsenios Tzamplakon, ein Anhänger und Vertrauensmann des J. Kantakuzenos, dessen enteignetes Pronoialehen den grössten Teil der an Margarites durch das Praktikon vom Jan. 1342 zugeteilten, überaus günstig eingeschätzten Besitzungen darstellt. Zu seiner Identifizierung und den Hauptmomenten seiner wechselreichen politischen Laufbahn vgl. *P. Lemerle*, Autour d'un prostagma inédit de Manuel II. L'aulé de Sire Guy à Thessalonique, Silloge bizantina in onore di S.G.Mercati (1957) 282 ff. — Ein Mann von Ansehen und Einfluss war auch der Protoasekretes Leon Bardales, aus dessen konfisziertem Besitz eine — wiederum sehr günstig eingeschätzte — Stasis demselben Margarites zufiel. Vgl. oben Anm. 43.

[79] Im Anschluss an eine Bemerkung F. Dölgers (in Schatzk., Nr 50, S. 140), vertritt *Schreiner*, a.a.0.39 die Ansicht, dass „ἀπό" hier auf einen aus dem Dienst ausgeschiedenen Soldaten hindeute und dass M. Berilas unseres Praktikons folglich ein bereits ab-

ihm auch nicht die jedem Vertreter des höheren Standes gebührende Ehre zu, als οἰκεῖος des Kaisers bezeichnet zu werden[80].

Die soziale Stellung der Grundherren, die uns in unseren Praktika entgegentreten, ist also sehr ungleich. Dass aber die soziale Geltung des Grundbesitzers unter Umständen einen Einfluss auf die Höhe der ihm zugebilligten effektiven Einkünfte haben konnte, zeigt das Monomachos-Praktikon in einer unmissverständlichen Weise. Sein Aussteller, der Protokynegos Johannes Vatatzes, begnügte sich nicht damit, dass er für die aus der Pronoia des Monomachos ausgesonderten und ihm als Erbgut zugewiesenen Dörfer eine überaus günstige Veranlagung anwandte. Er zeigte sich um das Wohl dieses Würdenträgers so sehr besorgt, dass er ihm neben den beiden Dörfern, deren Einkünfte — nach der von ihm angewandten grossherzigen Schätzung — der vom Kaiser bewilligten Jahresrente von 50 hyp. entsprechen sollten, auf eigene Hand noch weitere Einkunftsquellen zuwies und auf diese Weise es fertig brachte, die bewilligte Rente von 50 Hyp. auf 84 Hyp. hinaufzuschrauben[81]. Die Steigerung der Einkünfte einer Grundherrschaft konnte also nicht allein durch Anwendung günstiger Schätzungsnormen herbeigeführt werden, sondern auch durch das willkürliche Verfahren des zuständigen Beamten, seine Bestechlichkeit oder Willfährigkeit gegenüber einem Grossen, an deren Gunst es ihm gelegen war[82].

Die Gunst des Michael Monomachos bedeutete gewiss sehr viel. War er doch schon in dieser Zeit der mächtigste Amtsträger im Gebiet von Thessalonike (s. vorstehend). Sicherlich war er aber nicht der einzige, dessen Ansehen und Einfluss einen willfährigen Beamten in Versuchung bringen konnte. Dass dieses Moment auch im Falle des Johannes Margarites mit

---

gedankter Soldat des Mega Allagion sei. Obgleich die Frage für unsere Betrachtung nicht von Wichtigkeit ist, sei immerhin darauf hingewiesen, dass „ἀπό" diese Bedeutung wohl haben kann, aber nicht haben muss, sondern ebenso gut auch die Zugehörigkeit zu einem Beruf oder einer Körperschaft bezeichnet. Vgl. Stephani Thesaurus linguae graecae, s. v. Auch die anderweitig in den Dokumenten begegnenden Angehörigen des Mega Allagion werden, soviel ich sehe, stets durch die Bezeichnung ἀπὸ τοῦ μεγάλου ἀλλαγίου gekennzeichnet. Vgl. Actes de Zographou, Nr. 10.15; Actes de Chilandar, Nr. 67, 1; Dölger, Schatzk., Nr. 50.4.

[80] Vgl. *Schreiner*, Praktikon II, Z.4/5 u.33/4. Ebenso wenig wird diese Ehre auch den uns sonst bekannten Soldaten des Mega Allagion zuteil (vgl. die in der vorstehenden Anm. angegebenen Stellen), sie haben gleichfalls keine Ehrentitel und es wird ihnen nicht einmal die Bezeichnung κῦρ gegönnt; demgemäss war wohl die Ergänzung (κῦρ) im Berilas-Praktikon (Z. 4 u. 33) nicht notwendig. Ein Tzausios des Mega Allagion von Thessalonike erscheint hingegen als Sebastos (bzw. Pansebastos) und selbstverständlich wird ihm auch die Bezeichnung κῦρ nicht vorenthalten. Vgl. *Dölger*, Sechs Praktika, A 452/3, K 595, P 582.

[81] Vgl. Féodalité, 354 f.

[82] Nach N. Gregoras II, 741.7 war Johannes Vatatzes an den Apographeus-Geschäften (ἐξ ἀπογραφικῶν ἐμποριῶν) reich geworden. Über die Laufbahn dieses ebenso geschickten wie skrupellosen Mannes, der es mit der Zeit auch politisch sehr weit brachte, im Bürgerkrieg der vierziger Jahre die Partei wiederholt wechselte, von der Kaiserin Anna „für grosses Geld" (χρήμασι μακροῖς ὠνησάμενος, Gregoras II, 741.10) den Posten des Verwalters von Thessalonike und von Kantakuzenos die hohe Würde des Megas Stratopedarches erhielt, vgl. *F. Barišić*, Jovan Vatac, protokinig, Zbornik Filozof. fak. XI, 1 (Beograd 1970) 283 ff.

spielte, ist zwar nicht positiv bezeugt, allenfalls aber als Möglichkeit nicht ganz von den Hand zu weisen. Auch ihm fehlte es gewiss weder an Ansehen noch an Einfluss (s. vorstehend), und jedenfalls steht positiv fest, dass der Gewinn von den ihm beim Ausbruch des Bürgerkrieges übertragenen Besitzungen durch bevorzugte Einschätzung beträchtlich aufgewertet worden war. Und ebenso steht andrerseits fest, dass das Praktikon des schlichten Kriegers Manuel Berilas von einer bevorzugten Einschätzung nicht die leiseste Spur wahrnehmen lässt.

*

Korrekturzusatz: Den Aufsatz von *N. Oikonomidès,* Notes sur un praktikon de pronoiaire (juin 1323), in Travaux et Mémoires 5 (1973) 335—346, konnte ich in meiner Arbeit leider nicht benutzen, da er mir erst nach Abschluss meiner Abhandlung während ihrer Drucklegung bekannt wurde. Doch möchte ich nicht versäumen, hier wenigstens ergänzend auf diesen Aufsatz hinzuweisen, der eine beachtenswerte Untersuchung zu dem von P. Schreiner veröffentlichten Praktikon des Manuel Berilas bietet. Besonders sei hervorgehoben, dass die Ausführungen von Oikonomides mit meinen Ergebnissen mehrfach übereinstimmen, so vor allem in der wichtigen Frage des Ausstellers und des Datums des Berilas-Praktikons. Seine Auffassung von der Bedeutung dieses Dokuments unterscheidet sich dagegen grundsätzlich von der meinigen, sofern er das Gut des Berilas, wie schon Schreiner, mit Gewissheit als ein Pronoialehen ansehen zu können glaubt und in seinen an sich bemerkenswerten Erörterungen grossenteils von dieser m. E. (s. oben S. 96 ff.) nicht stichhaltigen Voraussetzung ausgeht.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ

ГЕНЕЗА И КАРАКТЕР АПАНАЖА У ВИЗАНТИЈИ

I

Данас више нема сумње, упркос постојању извесних супротних схватања, да су за позновизантијско друштво, посебно у епоси Палеолога, карактеристични многи елементи феудализма. Јасно је, шта више, да су они толико бројни, да се ово последње раздобље византијске историје, обојено њиховом бојом и обележено њиховим печатом, слободно може назвати феудалним. Како сваки друштвени поредак захтева сопствене организационо-управне облике, који треба званичним језиком да изразе његову суштину, државна структура Византије у доба Палеолога нужно је добила карактер феудалне институције[1].

Није потребно посебно подвлачити да је преображај државе и њених органа представљао резултат једног постепеног развоја. Није, такође, потребно подвлачити да се епитет „феудални" може придавати овом преображају само уз вођење рачуна о његовим специфичним моментима који Византију чине другачијом од осталих феудалних држава Европе. Општи изглед тог, византијског феудализма, као и многи детаљи уосталом, престао је, у већој или мањој мери, да буде непозналица. Међутим, испитивања неких конкретних институција византијског државног уређења у феудално доба, чак и ако полазе од наведених премиса, још нису довела до задовољавајућих резултата. Такав је случај, и то можда најважнији од свих сличних, са апанажама — територијама које се, мимо устаљене административне организације, додељују на управу, али готово и као посед, царским синовима или другим члановима династије[2].

---

[1] Уп. *Љ. Максимовић*, Византијска провинцијска управа у доба Палеолога (даље: *Максимовић*, Управа), Београд 1972, passim и, нарочито, Увод, стр. 1—4; гл. I, стр. 7—19.

[2] Опредељујући се за израз апанажа, желим да подвучем да га користим као *условни* термин који је већ заузео одређено место у византолошкој литератури, али чија се садржина не може поистоветити са одговарајућим појавама у западноевропском феудализму, како је с правом истакао *J. W. Barker*, The Problem of Appanages in Byzantium during the Palaiologan Period (даље: *Barker*, Appanages), Βυζαντινά 3 (1971) 119 sq. Доскора није било посебних студија о византијским апанажама и

Познато је да се овакве апанаже појављују средином XIV века, дакле у доба када је развитак феудалних институција у византијском друштву већ достигао пуни замах. Образоване у таквим приликама, образоване уз то, што је нарочито карактеристично, у породичном кругу владајуће династије — Кантакузина или Палеолога — апанаже својом појавом инаугуришу, Византији дотад непознат, систем династичке владавине. То је систем који подразумева условну поделу државе у кругу династије и управу, у знатној мери самосталну, млађих чланова владарске породице над појединим областима, обично врло пространим[3].

Наведене околности несумњиво указују на феудални карактер институције апанажа, али ово питање — на њега ћемо се још вратити — не може бити у потпуности разјашњено ако се не посвети дужна пажња коренима и генези оних фактора који су довели до стварања познатих апанажа XIV века. А управо овај моменат остао је запостављен у досадашњим истраживањима. Она су, може се сасвим слободно рећи, показала интерес готово искључиво за политичке околности у којима се појављују апанаже типа Мореје или Солуна[4]. Занемаривани су или превиђани они чиниоци који су припремили и створили друштвену климу, погодну за њихову појаву. И не само то. Упечатљивост споменуте династичке политике из друге половине XIV и XV века, непознате до тада у Византијском Царству по доследности и тако видљивим резултатима, као што је стварање читавог система апанажа, учинила је да су углавном изгубљене из вида сличне манифестације, наравно знатно скромнијих размера, које се јављају у ранијим вековима.

У таквој ситуацији, сасвим природно и спонтано, корени система апанажа потражени су на погрешном месту. Наиме, обично се узима да први наговештај овог система представљају познати захтеви царице Ирине (Јоланте) од Монферата с почетка XIV века, која је од свог мужа, Андроника II, без успеха тражила поделу Царства међу њиховим синовима[5]. Нешто касније, ова идеја оживотворена је на известан начин

шире су се на овом питању задржали само *D. Zakythinos*, Le Despotat grec de Morée (даље: *Zakythinos*, Desp.), II, Athènes 1953, 71—90; *Б. Ферјанчић*, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама (даље: *Ферјанчић*, Деспоти), Београд 1960, 126—140; *J. W. Barker*, Manuel II Palaeologus 1391—1425, N. Brunswick-N. Jersey 1969, 391 sq. Недавно је изашао чланак овог последњег аутора, специјално посвећен апанажама, који је малочас цитиран (passim: pp. 103—122). На жалост, тиме није учињен и битан корак напред у односу на досадашња сазнања.

[3] Cf. *L. Bréhier*, Les institutions de l'empire byzantin, Paris 1970², 44 sq.; *Г. Острогорски*, Серска област после Душанове смрти (даље: *Острогорски*, Серска област), Београд 1965, 147 (= Сабрана дела IV, 615 сл.); *Ферјанчић*, Деспоти 127—140.

[4] Уп. радове цитиране у нап. 2. Изузетак представљају радови *H. Ahrweiler*: La concession des droits incorporels, Donations conditionnelles (даље: *Ahrweiler*, Donations), Actes du XIIe Congrès Intern. d' Et. Byz., II, Beograd 1964, 103—114; La politique agraire des empereurs de Nicée (даље: *Ahrweiler*, La politique agraire), Byzantion 28 (1958), нарочито 59—60. У наведеним расправама истраживање је у основи усмерено ка истим питањима којима се бави и ова студија. Постоје, међутим, и крупне разлике и на њих ће посебно бити скренута пажња.

[5—5a] У овом питању гледишта нису сасвим уједначена, јер се не узимају подједнако оба наведена догађаја као наговештај стварања будућих апанажа. Cf. *E.*

споразумом Андроника II и Андроника III од јуна 1321. године, по коме је, на завршетку прве етапе грађанских ратова, територија Царства подељена између старог и младог цара.[5a] Ниједан од ова два момента, иначе слична по суштини, нема много додирних тачка са настанком византијских апанажа, а поготову не представља срж тог процеса.

Суштину намера царице Ирине и реакције Византинаца у потпуности открива чувено саопштење Нићифора Григоре о њеним захтевима. Стога је неопходно навести најважније делове овог излагања ученог историчара: „Супруга цара Андроника, Ирина, будући по природи славољубива, желела је да њезини синови и потомци за вечита времена, по реду наслеђивања (κατὰ διαδοχήν) преузимају у наследство (κληροῦσθαι) државу Ромеја и ову царску власт и да сачувају бесмртном њену успомену међу потомцима (ἐν τοῖς τῶν ἀπογόνων ὀνόμασι).[6] И још нечувеније, (она је желела) да сваки од њених синова влада, не као једини владар (οὐ μοναρχίας τρόπῳ), према древном обичају који је на снази међу Ромејима, него над делом свакоме од њих подељених ромејских градова и земаља, који би му припао као властито наслеђе и својина, и који би прешао њима (sc. синовима) од очева према владајућем закону о имовини и добрима обичних људи, а који би затим на исти начин прешао и на будуће синове и потомке. Јер, будући латинског рода и преузевши од Латина овај нови обичај, желела је да га уведе међу Ромеје... Све њих (sc. синове Јована, Теодора и Димитрија) желела је да постави за цареве одмах иза прворођеног Михаила у части, али и у дељењу Римског Царства; свакога за самосталног автократора, (при чему) нико никоме не би био потчињен (μηδένα μηδενὶ ὑπακούοντας)“.[7]

Иринин план био је, као што се види, јасан и доследан. Она је тражила преображај Византије у неку врсту конфедерације удеоних кнежевина на челу са посебним царевима. Власт свакога од њих била би наследна и прелазила са оца на сина. Озбиљност оваквог решења посебно се огледа у чињеници да је оно било засновано на једном општем, готово би се рекло теоријском схватању и да би стога неминовно имало

Stein, Untersuchungen zur spätbyzantinischen Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte (даље: *Stein*, Untersuchungen), Mitteilungen zur osman. Geschichte 2 (1923—1925) 26; *Bréhier*, o. c. 44; *Zakythinos*, Desp. II, 73 sq.; *Ферјанчић*, Деспоти 127; *Barker*, Appanages 106 sq. Специфичност Ирининог захтева подвукао је *Г. Острогорски*, Историја Византије, Београд 1959, 448: „Јавља се већ и идеја деобе државе, засада, истина, само као израз туђих, западњачких схватања“. — О животу Ирине в. нарочито *H. Constantinidis-Bibicou*, Yolande de Montferrat, impératrice de Byzance (даље: *Yolande*), L'Hellénisme contemporain II/4, fasc. 6 (1950) 425—442; а посебно о њеним покушајима да, боравећи пред крај живота у Солуну (1304—1317), заобиђе супруга и спроведе своје планове: *St. Runciman*, Thessalonica and the Montferrat Inheritance (даље: *Runciman*, Thessalonica), Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 42 (1959) 27—34; *Barker*, Appanages 108, 108 n. 9 (библиографија).

[6] Чини ми се да Григора на овом месту употребљава редак и сликовит облик ὄνομα τῶν ἀπογόνων = ἀπόγονοι, као напр. ὄνομα τῆς σωτηρίας = σωτηρία (cf. *H. G. Liddell — R. Scott*, A Greek-English Lexicon, Oxford 1968, 1232), и да стога не одговара помало чудан превод „in the names of her descendants“, који предлаже *Barker*, Appanages 105.

[7] Greg. VII 5: (Bonnae) I 233. 14—234. 4; 234. 12—16.

законски и стални, а не случајан и привремени карактер. У питању је било формално распарчавање империје. Одбијање цара Андроника II да прихвати Иринин план стога је сасвим разумљиво и у складу са византијским државно-правним традицијама. Њене жеље, које нису ништа друго до ехо нереалног личног славољубља, биле су не само без преседана у Византији тог времена, него и без било каквог изгледа у будућности.[7a]

Власт држалаца познијих апанажа била је изграђена на другим основама.[8] Као што је познато, већина од њих носи деспотску, а не царску титулу, што их сврстава у оквире јединственог система византијске хијерархије. Њихов положај у принципу није наследан и ингеренције врховног владара — цара, бар у теорији, нису њиме ни угрожене, ни сужене. Поступност у оснивању апанажа и промене у структури неких међу њима, о чему ће још бити речи, показују да оне нису творевина некаквог одређеног и подробног плана о уређењу државе. Најзад, није ли речита чињеница да негодовање Нићифора Григоре над уношењем „латинских" схватања у организацију државе, долази од човека који је био сведок процвата система апанажа за владе Јована VI Кантакузина, који је шта више био Кантакузинов љути противник, а који за његову династичку политику као метод управљања није нашао речи осуде?[9]

Иронијом судбине, неколико година након епизоде са Ирином, Андроник II био је присиљен да донесе одлуку, сличну оној којој је његова супруга безуспешно покушавала да га приволи. После краткотрајног грађанског рата са унуком Андроником III, осећајући блиски пораз, стари цар је на брзину закључио неповољан уговор са противником пуним младалачког полета (у Региону, 6. VI 1321).[10] Споразумом је предвиђена, и извршена, стварна подела свих византијских територија у Европи. Андронику II остала је престоница и део њеног залеђа до Селимврије на Мраморном мору, као и све области од Христопоља на запад, укључујући и Јегејска острва. У његовим рукама било је,

---

[7a] Како саопштава Псеудо-Сфранцис (I, IV, ed. *V. Grecu*, Bucuresti 1966, 172. 12—13): ὁ δὲ βασιλεὺς ἀδύνατον εἶναι ἔλεγε τὴν μοναρχίαν Ῥωμαίων πολυαρχίας ποιῆσαι.

[8] *Barker*, Appanages 110 тачно увиђа да постоји велика разлика између Ирининих планова и познијег слања чланова и рођака династије да управљају појединим областима, али је ово запажање остало непродубљено и неискоришћено. С друге стране, сасвим је неуспело тражење претеча Ирининог предлога у, од раније познатом, савладарству (cf. ib. 106).

[9] Григора с правом назива западњачким Иринине идеје, јер оне су биле туђе византијском свету из разлога које смо малочас навели. Исправност његовог става не може бити оспорена недавно изреченом оценом да „what this Italian-born princess had in mind sounds much more like the ill-fated system of patrimonially divided kingship practiced by the Carolingian Franks, rather than like anything that characterized feudal monarchy in high medieval France" (*Barker*, Appanages 122). Није јасно, уосталом, због чега би Ирина морала да се угледа баш на пример Француске, у којој се рађа јака монархија, а не на пример њене родне Италије. В. и *ОсШроїорски*, Историја 448 сл.; *Bréhier*, o. c., 45.

[10] О уговору у Региону и његовим одредбама уп. *U. V. Bosch*, Kaiser Andronikos III. Palaiologos, Amsterdam 1965, 24 sq. За општу ситуацију у ово време в. *Осшроїорски*, Историја 465 сл.

као залога јединства државе, и искључиво право вођења спољне политике, које је уосталом друга страна убрзо оспорила. Андроник III добио је области између Селимврије и Христопоља, заједно са свим приходима који су од њих притицали.

„Тако је ипак дошло до поделе Царства, о којој до недавно Византинци нису хтели ни да чују."[11] Споразум у Региону не представља ништа друго до оживотворење предлога царице Ирине у једној другачијој атмосфери. Разлике се огледају у мањем броју учесника у подели од 1321. године, у њеној привремености која је далеко од било каквог сталног решења, какво је предлагала Ирина, као и у околности да је извршена у ратним условима. Сви ови моменти вероватно су учинили да савременици схвате споразум у Региону првенствено као компромис зараћених страна, а не као планску деобу државе. У сваком случају, изостале су реакције сличне онима које су изазвале династичке тежње царице Ирине. То не значи, међутим, да уговор двојице царева означава темеље или оцртава оквире на којима се, нешто касније, развијају типичне византијске апанаже и да стога представља пролог овом „византијском" начину поделе државног суверенитета.

Нема сумње да се досадашња трагања за коренима позновизантијског система апанажа, овде укратко побијана, нису кретала правим путем. Другачији прилаз је неопходан. Јер, ако је у Византији развитак феудалних односа донео, на разне начине, ограничавање и рашчлањивање државног суверенитета,[12] а једну од манифестација овог процеса свакако представља и појава апанажа у доба Палеолога, онда је разумљиво да се развојни пут византијских апанажа може пратити, са више или мање успеха, и у епохама које су претходиле уздизању последње династије Царства. Другим речима, наше истраживање треба да полази од следеће две претпоставке: (a) да је систем апанажа производ нагомилавања одређених економских и друштвених услова, а не превасходно политичко-управна појава, па је као такав знатно шири, и старији, него што се обично мисли;[12a] (b) да су, с тим у вези, већ предлози царице Ирине, иако за Византинце неприхватљиви, а поготову споразум у Региону, пали у време када увелико сазревају друштвени, мада не и психолошки, предуслови за дробљење државног суверенитета на феудалној основи.

[11] *Острогорски*, н. д. 467. Радило се очевидно о практично равноправној подели и стога није у праву *Barker*, Appanages 111, када говори о аутономној територији Андроника III.

[12] Наука је одавно постала свесна овог процеса. Cf. *P. Grenier*, L'Empire byzantin, son évolution sociale et politique, II, Paris 1904, 274—279; *Stein*, Untersuchungen 20; Ch. Diehl, Byzance. Grandeur et Décadence, Paris 1919, 171; *D. Zakythenos*, Processus de féodalisation, L'Hellénisme Contemporain 2 (1948) 501; Cambridge Medieval History, IV/2, 1967, 78—79; История Византии, III, Москва 1967, 29.

[12a] Истина, *Zakythinos*, Desp. II, 73 сматра да се већ од епохе Комнина јављају извесни неостварени пројекти додељивања апанажа, али не обраћа пажњу на позадину њиховог настанка, те их третира као случајне појаве. Далеко ближа истини је *Ahrweiler*, Donations 113, која у великим наследним поседима, почев од комнинског доба, види зачетке будућих апанажа.

*

За Палеологâ, држава се коначно претвара у феудалну институцију.[13] Био је то резултат једног сложеног и дуготрајног процеса који је, почев од XI века, постепено преображавао византијско друштво, који у ово доба досеже врхунац, а који се, када је реч о начину управљања, огледа како у феудализовању државних органа, тако и у стварању приватне администрације феудалних поседника.[13a] И један и други аспект феудализације управног механизма, тесно испреплетани и међусобно стопљени, за Византију су подједнако значајни, па и у изучавању питања које нас овде занима заслужују приближно исти третман.

Темељи феудализације Византије ударени су у X и првој половини XI века, од момента када се световни и црквени велепоседи коначно потврђују као главна економска снага у земљи. Касније, у другој половини XI века и у наредним столећима, процес феудализације настављен је све ширим додељивањем привилегија у корист држалаца ових поседа, привилегија које сачињавају добро познати византијски имунитет (ἐξκουσσεία).[14] У епоси Палеолога имунитет, углавном порески, а у знатној мери и судски, представља врло раширену, у ствари најкарактеристичнију појаву византијског феудализма. По државу, последице су биле огромне, не само због необично значајног смањивања пореских прихода, него и због све више сужаваних компетенција њених управних органа. Јер, потпуност имунитетних права обезбеђивана је званичним забранама државним чиновницима да се појављују на поседима који уживају таква права.[15] Ове забране успоставља сам владар својим повељама и њима је практично обухваћен читав локални административни апарат, како управе у ужем смислу, тако и фиска.[16] Осим у заштити имунистових привилегија, непосредна последица оваквих забрана огледа се у јачању приватне власти на рачун државне, и то на све већем простору.[16a] Тиме долази и до стварања и развитка приватног, феудалног чиновништва у служби уживалаца имунитетних права. Овај процес,

---

13–13a Уп. *Максимовић*, Управа, passim, нарочито гл. I, стр. 7—19.

14 Постоји више детаљних проучавања византијског имунитета, међу којима су најважнија (сврстана хронолошким редом по ауторима): *П. А. Яковенко*, К истории иммунитета в Византии, Юрьев 1908; *К. Н. Успенский*, Экскуссия-иммунитет в Византийской империи, Виз. Врем. 23 (1917—22, ed. 1923) 74—117 (уп. и *исти*, Очерки по истории Византии, I, Москва 1917, 183—197); *А. П. Каждан*, Формирование феодального поместья в Византии X века, Виз. Врем. 11 (1956) 98—122; *исти*, Экскуссия и экскуссаты в Византии X—XII вв., Виз. очерки I, Москва 1961 (аутор одбацује данас доминантно гледиште да је ексkусија = имунитет); *Б. Т. Горянов*, Поздневизантийский иммунитет, Виз. Врем. 11 (1956) 177—199, 12 (1957) 97—116; *Г. А. Острогорский*, К истории иммунитета в Византии, Виз. Врем. 13 (1958) 55—106; (= Сабрана дела I, 405—479); *Г. Г. Литаврин*, Болгария и Византия в X—XII вв., Москва 1960, 231 сл.

15 Уп. *Г. А. Острогорский*, Византийские писцовые книги, Byzantinoslav. 9 (1948) 233 (= Сабрана дела I, 36); *idem*, Das byzantinische Kaiserreich in seiner inneren Struktur, Historia Mundi VI, Bern 1958, 469 sq. (= Сабрана дела II, 44 сл.).

16–16a Уп. *Максимовић*, Управа 9 сл.

приметан већ у XI, XII и, нарочито, XIII веку, у епоси Палеолога доживљава изузетан полет.[17]

С друге стране, и сам управни организам државе феудализује се у све већој мери. Постаје сасвим уобичајена појава да се званичне функције појединих беочуга администрације, од врха до базе, мешају са приватним задужењима њихових носилаца у служби владаревој.[18] Шта више, већ у другој половини XI века јављају се предзнаци — иначе много каснијег — ишчезавања разлике између приватног поседовања и званичног управљања, до чега долази концентрацијом оба ова елемента власти у рукама једног човека.[18a] Уз то, чиновнички апарат све више се попуњава, почев од XII века, члановима аристократских породица, што у епоси Палеолога постаје готово ненарушиво правило.[19] Посебно су значајни, такође нарочито у доба Палеолога, родбинска повезаност овако регрутованих чиновника са владалачком династијом и полуприватни однос између цара и читавог овог сталежа, однос у коме је сваки његов припадник третиран као породични повереник — дворанин (οἰκεῖος), који полаже посебну заклетву верности.[20] Тако је управни апарат у позновизантијско доба добио физиономију увелико одређену личним односом и феудалним везама између његових чланова и цара као шефа државе.[20a]

Описани моменти долазе до нарочитог изражаја, као што је подвучено, у раздобљу после рестаурације Византије, у епоси Палеолога. У време, дакле, када и апанаже доживљавају процват. При томе, нема сумње да су управо ови моменти створили повољне услове за фактичко распадање државног суверенитета, које се огледа у појави апанажа.[21] Али како су споменуте околности постепено сазревале и мани-

---

[17] Cf. *G. Ostrogorsky*, Observations on the Aristocracy in Byzantium (даље: *Ostrogorsky*, Aristocracy), Dumb. Oaks Pap. 25 (1971) 16; *Максимовић*, Управа 16—19.

[18] *Максимовић*, Управа 10.

[18a] Тако је још пре 1083. богати и чувени Григорије Пакуријан био и власник (κληρονόμος) и управљач (ἄρχων) тврђаве и села Петрич. Cf. Typikon de Grégoire Pacourianos, ed. *L. Petit*, Виз. Врем. 11 (1904) 12. 34—35. О приватном поседовању тврђава у ово време в. *N. Oikonomides*, The Donations of the Castles in the Last Quarter of the 11th Century, Polychronion-Festschrift F. Dölger, Heidelberg 1966, 413—417.

[19] Уп. *Максимовић*, Управа 11—14.

[20] Исто, 14—16. Родбинска повезаност владара са носиоцима управне власти запажа се већ у епоси Комнина. Cf. *P. Charanis*, On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the 13th Century and Later (даље: *Charanis*, Social Structure), Byzantinoslav. 12/1 (1951) 95.

[20a] *Максимовић*, Управа 15 сл. Уп. и *P. Lemerle*, Philippes et la Macédoine Orientale à l'époque chrétienne et byzantine (даље: *Lemerle*, Philippes), Paris 1945, 222; *J. Verpeaux*, Les oikeioi. Notes d'histoire institutionnelle et sociale, Rev. des ét. byz. 23 (1965) 89; *G. Weiss*, Joannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch — in der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert, Wiesbaden 1969, 146 et passim.

[21] Међутим, не могу се сложити са гледиштем Х. Арвајлер, изреженим у два-три маха (в. нап. 4), да су феудални поседи XI и XII века непосредни претходници апанажа XIV века. Овакви поседи, као уосталом и друге описане манифестације

фестовале се, са различитим интензитетом, током два-три века пре доба о коме је реч, логично је претпоставити, како је овде већ наглашено, да се извесни зачеци апанажа у једном рудиментарном виду јављају и пре епохе Палеолога. Одговарајућих индиција има, шта више, изненађујуће много и ако, свака за себе, оне појединачно не подижу увек довољно копрену векова, збир њихових сведочанстава чини генезу византијских апанажа прилично јасном.

II

Прва међу споменутим изворним индицијама везана је готово за сам почетак епохе која се може назвати феудалном, за владавину стварног утемељитеља династије Комнина — Алексија I (1081—1118). Из једне цареве хрисовуље, дароване августа 1084. године Лаври св. Атанасија, види се посредно, али сасвим јасно, посебна права која је добио Алексијев брат Хадријан над полуострвом Касандријом.[22] Наш извор (експозиција) дословно каже да су (једном ранијом повељом цара Алексија) сви годишњи порези са Касандрије, који су некад давани државној благајни, поклоњени Хадријану (lin. 11—16). Монаси-Лавриоти, уплашени да њихов статус не буде тим чином измењен на нежељен начин, тј. да не буду третирани као парици на овим имањима на Касандрији, затражили су повељу којом би права манастира била заштићена (lin. 17—20). Зато сада (диспозиција) цар потврђује да су монаси дужни да за наведена имања плаћају Хадријану само уобичајене порезе, што значи да их порески чиновници из Солуна не могу узнемиравати (lin. 20—28). Али исто тако ни сам Хадријан не може, преко својих људи (ἀνθρώπων), узнемиравати монахе и потраживати од њихових парика и оно што му није уступљено, па је чак, управо да би се то избегло, одређен посебан судија — Михаило Рођанин — са задатком да провери неокрњеност манастирских права (lin. 29—52).

Иста права као Хадријан на Касандрији уживао је и старији Алексијев брат, чувени севастократор Исак, у околини Солуна. Наиме, на основу царевог хрисовуљног сигилија, издатог у корист Лавре октобра 1092, ослобађа се, близу Солуна, један манастирски метох са парицима од свих намета које убиру Исакови службеници (προνοηταὶ τῶν κτημάτων τοῦ ... σεβαστοκράτορος). Изузетак представљају они порези, очевидно раније државни, који заиста припадају царевом брату (μόνα τὰ ἀνήκοντα τέλη).[23] Мада је ова повеља скученија у изразу од прет-

---

феудализма, припремили су, истина, тло за стварање апанажа, али њихове праве претече треба тражити међу нешто ређим и специфичнијим појавама. О њима ће бити речи на следећим странама.

[22] Actes de Lavra, I, edd. *P. Lemerle-A. Guillou-N. Svoronos*, Paris 1970 (даље: Lavra), Nr 46, 11—52. Cf. *Dölger*, Regesten II, Nr 1118, Nr 1154.

[23] Lavra Nr 51, 14—18. Да је реч о некадашњим државним порезима уп. *Ostrogorsky*, Aristocracy 10 n. 30. За значење израза προνοηταί у овом тексту уп. *H. Ahrweiler*, Byzance et la mer, Paris 1966, 213 sq.; *Б. Ферјанчић*, Севастократори у Византији (даље: *Ферјанчић*, Севастократори), ЗРВИ 11 (1968) 150.

ходне, очевидна је идентичност услова у којима се Лавра нашла у једном и другом случају.[24] Нејасне су једино размере територије на којој је Исак стекао право да ужива пореске приходе. Али, с обзиром на безграничну цареву наклоност и свој изузетан положај у држави, фактички положај савладара, наведена права Исак је свакако имао на простору ширем од онога који се везује уз име млађег брата Хадријана.[25] Није искључено, због локације Лавриног метоха, да је Солун био центар према коме су гравитирале области подложне Исаку.[25a] Кључно питање, међутим, представља оцењивање карактера и степена ове подложности како у Исаковом, тако и у Хадријановом случају.

Чињеница да власничка права манастира над земљом нису била угрожена и да на његовим имањима није дошло до промене господара над парицима, јасно показује да области које су постале, може се слободно рећи, приватно опорезоване, нису истовремено дате у посед царевој браћи. Оне нису постале ни њихово власништво, ни њихова пронија.[26] Али истовремено, обим датих привилегија знатно превазилази, у суштини доста сличну и од раније познату, праксу додељивања манастирима пореских прихода са земљишта која они иначе не поседују.[27] С друге стране, ни Хадријан ни Исак нису административни управници области са којих уживају пореске приходе, нити ове области представљају одређене административне јединице. О томе довољно јасно сведоче како оба разматрана документа, тако и блиставе каријере два брата, нарочито севастократора Исака, које њихово деловање нису ограничавале у оквире одређеног провинцијског региона.[28] У ствари, могло би се рећи да овлашћења Хадријана и Исака Комнина показују карактеристике и јавне власти и приватно-правног статуса самих носилаца тих овлашћења. Први моменат огледа се у околности да чиновници обојице моћника преузимају улогу државних пореских органа. Истовремено, ови чиновници налазе се у приватној служби и њихове

---

[24] В. и *Ostrogorsky*, Aristocracy 10.

[25] Тако и *Ostrogorsky*, o. c. 10 n. 30. О изразитој царевој наклоности према старијем брату, уосталом довољно познатој, уп. *Ферјанчић*, н. д. 143, 148 сл.

[25a] Сличну пореску синекуру у Солуну држи, међутим, кесар Нићифор Мелисин (в. доле).

[26] Мада је одавно указано [*Г. Острогорски*, Пронија, прилог историји феудализма у Византији и у јужнословенским земљама (даље: *Острогорски*, Пронија), Београд 1951, 48 н. 146а (=Сабрана дела I, 185 н. 146а)] да овакво уступање државних прихода појединцима нема никаквих додирних тачака са институцијом проније, која представља уступање поседа на условно коришћење, ипак се још увек провлаче схватања, проистекла из неразумевања суштине проније, да је Хадријан добио полуострво Касандрију у пронију. Уп. најновије овакво тврђење, са позивањем на досадашња слична гледишта: *A. Hohlweg*, Zur Frage der Pronoia in Byzanz, BZ 60 (1967) 303 f. Исто тако без основа је и схватање да су овде у питању велики наследни поседи са сопственим пореским системом. Cf. *Charanis*, Social Structure 106; *Ahrweiler*, Donations 112 sq.; *idem*, La politique agraire 59—60.

[27] Овакво уступање пореских прихода сусреће се у X веку под називом σολέμνιον. Cf. *F. Dölger*, Beiträge zur Geschichte der byz. Finanzverwaltung, besonders des 10. und 11. Jahrh., Byz. Archiv 9, Leipzig-Berlin 1927, 17, 114. 25, 117. 28 sq., 146 sq.

[28] Cf. *F. Chalandon*, Essai sur le règne d'Alexis I Comnène (1081—1118), Paris 1900, v. index s. v.; *Ферјанчић*, Севастократори 142 сл., 148—52.

дужности везују се првенствено за лична имања њихових господара. Исто тако, прикупљени порези одлазе у приватну касу, а у Хадријановом случају, као и у сваком другом спору приватних странака, један државни службеник (овога пута, разумљиво, судија високог ранга) задужује се да поравна неспоразуме између царевог брата и манастира Лавре.

Иако је тешко оценити све импликације описаног стања, које нам није познато до детаља, јасно је да је у питању извесна, и то не безначајна, приватизација јавне власти. Јасно је такође да се ова појава разликује од уобичајеног пореског имунитета, мада почива на истим основама. Јер, Хадријан и Исак не добијају право на пореске приходе само са сопствених имања, него и са имања различитих власника на широј територији. На тој територији је тако једна од основних — за средњи век — полуга власти прешла у приватне руке. На известан начин читава област, њено становништво и, што је нарочито значајно, тамошњи феудални поседници (Лавра) постају зависни од царевих рођака који, међутим, нису државни чиновници — намесници, нису чланови провинцијског управног апарата државе. Њихова лична моћ добила је на тај начин и један чисто феудални аспект. Није стога чудновато што већ у следећој генерацији син севастократора Исака, пансеваст севаст Алексије Комнин, у својој служби има носиоца високе титуле магистра.[29]

Случај Хадријана и Исака Комнина издвојен је као карактеристичан и врло речит пример делимичне приватизације јавне власти, који међутим већ у њихово време никако није био усамљен.[30] Овом констатацијом нека буде обухваћена већина сличних, али мање значајних случајева, на којима се није вредно поименично задржавати. Међутим, неки изворни подаци о судбини Нићифора Мелисина, бившег супарника цара Алексија у борби око престола, указују да је споменуто захватање дела јавне власти од стране великаша могло, изгледа, да добије и један одређенији, конкретнији облик.

Познато је да је Нићифору Мелисину на почетку Алексијеве владе подарена титула кесара, у то време друга по реду титула после царске, и да се он у следећих десетак година више пута исказао на бојном пољу. Истакнут положај, који је Нићифор добио проглашењем за кесара, морао је донети и крупне материјалне привилегије. Слично као и двојици Комнина, кесару Нићифору уступљени су порески приходи (καὶ χορηγίαν χρημάτων) читаве једне области и то — ни мање ни више — Солуна.[31] За разлику од њих, новопостављени кесар упућен је да тамо и живи. Ако се ова последња околност може, можда, наслу-

[29] Према хрисовуљи цара Алексија од августа 1106, имовина манастира Богородице Елеусе испитивана је παρὰ τοῦ... κυροῦ ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ διὰ Μιχαὴλ μαγίστρου τοῦ ᾿Ολυνθηνοῦ τοῦ ὑπηρετοῦντος αὐτῷ. – *L. Petit*, Le Monastère de Notre Dame de Pitié en Macédoine, Известия русск. археол. инст. в К/поле 6 (1900) Nr. 2 (p. 28) 23—26. За породицу Олинтина уп. н. д. 53.

[30] Cf. *H. Ahrweiler*, Byzance et la mer, Paris 1966, 213 sq.

[31] Zonaras (Bonnae) III, 732. 9—14. Cf. *Dölger*, Regesten II, Nr 1063.

тити већ из фразе Ане Комнине: δοθῆναι δὲ οἱ καὶ τὴν Θετταλοῦ μεγίστην πόλιν,[32] казивање Зонарино, да је Мелисину одређен Солун εἰς κατοικίαν, је недвосмислено.[32a] С разлогом можемо претпоставити да је Нићифорова присутност у Солуну могла само да појача ефекте нама већ познате из случаја двојице Комнина, ефекте створене преласком пореских прихода града у његове руке.[33]

Описане појаве представљају, у свом времену, новост у развитку византијског друштва и државе, представљају веснике будућег система породичне владавине над царством. У ствари, ове појаве чак и оглашују успостављање, већ тада, неке врсте такве владавине, мада у једном рудиментарном облику.[34] То су новине наступајућег феудалног доба, које су савременици јасно уочавали. Хроничар Јован Зонара, познат по свом нерасположењу према владавини Алексија Комнина, посебно подвлачи крупна одступања од некадашњег начина управљања државом.[35] Међу њима, он свакако има на уму и моменте о којима је овде до сада било речи, будући да подробно и са горчином описује како је цар Алексије „... водио послове као да они нису јавни и државни (οὐχ ὡς κοινοῖς οὐδ' ὡς δημοσίοις), сматрајући себе не њиховим управљачем (οἰκονόμον), него њиховим господаром (δεσπότην), а царску палату (τὰ βασίλεια) је и сматрао и називао својим приватним домом (οἶκον οἰκεῖον).“[36]

Дуг пут морао је још да буде превањен до појаве правих апанажа, али већ првих година епохе Комнина, као што се види, почели су да се уобличавају не само општи друштвени услови, повољни за њихову егзистенцију, него и оне специфичне околности које су непосредно омогућавале њихово формирање.[37] Помало нејасан положај какав су имали неки блиски рођаци и савременици цара Алексија, значајно је и брзо еволуирао, тако да су његови први наследници предвиђали за извесне млађе чланове владајуће куће знатно дефинисанији статус поседника-администратора одређених области. Цар Јован II (1118—1143) једно време је озбиљно разматрао план, како излаже Јован Кинам, да сину Манојлу преда у наслеђе (εἰς κλῆρον) огромну територију

---

[32] Alexias II, 8, 3, ed. *B. Leib.* I, 89.9—10.

[32a] Zonaras III, 732. 11—12.

[33] Ово утолико пре, што изгледа да је Нићифоров боравак у Солуну, континуиран или не, релативно дуго потрајао. Јер, кад 1091. буде повео војску да сузбије Печенеге, његове трупе биће састављене добрим делом од Бугара (cf. *Chalandon*, o. c. 132 sq.), тј. од Словена и др. становника из теме Бугарске у даљем залеђу Солуна. Тешко да су ово све случајне коинциденције.

[34] Cf. *Ostrogorsky*, Aristocracy 10.

[35] Τῷ (Алексије) δὲ μέλημα μᾶλλον ἡ τῶν ἀρχαίων ἐθῶν γέγονε τῆς πολιτείας ἀλλοίωσις καὶ τὸ μεταλλάξαι ταῦτα ἔργον ἦν αὐτῷ σπουδαιότατον (Zonaras III, 766. 11—14). За промене у ово доба уп. *Ahrweiler*, o. c. 175 sq., 197 sq.; История Византии II, Москва 1967, 296 сл.; *Ostrogorsky*, Aristocracy 9 sq.

[36] Zonaras III, 766. 14—16.

[37] Посебан је случај норманског кнеза Боемунда, чија је област са центром у Антиохији била у вазалном односу према Византији. Cf. *Chalandon*, o. c. 246—49 (новији писци заступају исто гледиште).

коју би сачињавали Киликија, Антиохија, Аталија и Кипар.[38] Под истом владом познат је и случај кесара Јована Рогерија који је, као царев зет, био господар једног великог апанажног поседа источно од Вардара, са сопственим чиновницима и вестијарионом. У оквирима овог поседа било је чак, и то је нарочито значајно, лица која су се према његовом господару налазила у некој врсти вазалне зависности.[39]

Сличне појаве могу се запазити, или макар само наслутити, и за владе следећег цара, Манојла Комнина (1143—1180). Неки западни извори саопштавају, као аутентичну чињеницу, да је Манојло, удавши своју кћер Марију за Рајнерија од Монферата, дао зету у мираз Солун.[40] То би био први спомен посебне личне управе владаревог рођака над Солуном, што је много касније, у епоси Палеолога, била честа појава. Велико је питање, међутим, да ли је Рајнерије, иначе уздигнут у новим околностима у ранг кесара, стварно и преузео управу над Солуном.[41] Значајно је да Никита Хонијат, главни византијски извор за крај комнинске епохе, ништа не говори о овом више него драгоценом миразу. Ствар је била сувише важна и Хонијат свакако не би учинио такав пропуст, иако је његов извештај о браку Рајнерија и Марије сасвим оскудан: недостаје чак и младожењино име.[42] Једино могуће објашњење за овакву констелацију изворних података треба тражити у сплету догађаја који су наступили после свадбе. Наиме, до ње је дошло фебруара 1180, а већ 24. септембра исте године умро је цар Манојло,

[38] Cinnamus I 10: (Bonnae) 23. 1—3. — *L. Bréhier*, Vie et mort de Byzance, Paris 1970², 266 исправно пореди ову несуђену творевину са познијим апанажама, док *F. Chalandon*, Les Comnènes II, Jean II Comnène (1118—1143) et Manuel I Comnène (1143—1180), Paris 1912, 184—85 употребљава израз une principauté héréditaire. Такву појаву он је сматрао толико туђом византијском духу, да је претпоставио како се у овом случају вероватно ради о успостављању некадашњег војводства Антиохије, у својству византијског вазала, или са византијским принцом на челу. Данас је јасно да је ова комбинација далеко од стварности.

[39] О овим чињеницама в. *Б. Ферјанчић*, Апанажни посед кесара Јована Рогерија, ЗРВИ 12 (1970) 193—200.

[40] Уп. хронике Роберта од Торињија (Mon. Germ. Hist., SS VI, 528) и Сикарда из Кремоне (MGH, SS XXXI, 173), према којима је Рајнерије Монферат требало да буде крунисан за краља, као и хронику фра Саламбена (MGH, SS XXXII, 3), који тврди да је ово крунисање и обављено. Да је овде, у ствари, погрешно интерпретирана Рајнеријева титула кесара уп. *K. M. Setton*, A History of the Crusades, II, Philadelphia 1962, 165 n. 36, где је дата и старија литература.

[41] Неколико великих научних ауторитета, говорећи о браку Рајнерија и Марије, потпуно превиђају давање Солуна у мираз женику или третирају читаву ствар као неостварени, или чак невероватан, пројекат. Cf. *L. Usseglio*, I Marchesi di Monferrato in Italia ed in Oriente, II, Torino 1926, 247 n. 2; *Ф. И. Успенский*, Последние Комнины. Начало реакции, Виз. Врем. 25 (1927) 1; *Chalandon*, o. c. 212, 600 n. 1; *Zakythinos*, Desp. II, 73. Постоје и другачија мишљења, која Рајнеријеву управу у Солуну прихватају као историјски факт или макар само као реалну могућност. Cf. *P. Lamma*, Comneni e Staufer, II, Roma 1957, 302; *Setton*, o. c. 165; *A. E. Laiou*, A Byzantine Prince latinized: Theodore Palaeologus, Marquis of Montferrat, Byz. 38/2 (1968) 387. Два последња аутора употребљавају термин пронија, који Сетон чак разрађује као „... a fief in or near or including Thessalonica" (165 n. 36). За данашња сазнања то је потпуно неприхватљиво.

[42] Choniates (Bonnae) 222.9—14; 261.20—25.

мучен још од пролећа дугом и тешком болешћу.[43] Његова кћер, очигледно још увек у Цариграду, и многи други чланови породице Комнина одмах су били лишени сваког утицаја, што их је одвело оштрој опозицији против регентства царице-удове и протосеваста Алексија.[44] То би значило да Рајнерије, по свој прилици, није имао времена да ужива плодове наклоности свог таста, цара Манојла. Готово од саме свадбе, царева смрт је месецима ишчекивана, што је за најближе рођаке, међусобно суревњиве, подразумевало боравак у престоници. Најзад, тужни догађај означио је крај свих амбиција Рајнерија од Монферата и његове супруге.

Из времена цара Манојла привлачи пажњу још један догађај, сличан Рајнеријевом случају. За разлику од претходног, он је мање јасан, али је доживео остварење.

Познате су многобројне невоље које је Манојло имао са Андроником, својим вечито немирним братом од стрица. Ипак, у њиховим напетим односима било је и тренутака када је изгледало да су сви неспоразуми изглађени. У једном таквом моменту (1153) цар је поставио свог братића за дукса важне пограничне области на Дунаву: Ниша и Браничева (према Јовану Кинаму) или Браничева и Београда (према Никити Хонијату).[45] На ово службено именовање ограничава се интересовање једног од историчара епохе, Никите Хонијата, али зато други, Јован Кинам, доноси и занимљиву допуну: „Тада га (sc. Андроника) чак унапреди и за дукса Ниша и Браничева, *йа му још gage и Касшорију*" (ἀμέλει καὶ τότε Ναΐσσοῦ τὲ καὶ Βρανιτζόβης προκεχείριστο δοῦκα προσέτι καὶ Καστορίαν αὐτῷ ἔδοκεν).[46] Важност ове допуне, нажалост сувише кратке, уопште није уочена.[47] Очевидно је, међутим, да далека Касторија нема никакве географске или административне везе са намесништвом на Дунаву и Морави. Осим тога, из Кинамовог начина изражавања произлази јасна разлика између *йосшављења* за дукса и *gаривања* Касторије. Друго је питање, а то нас управо занима, какав је могао бити карактер овог даривања. У том смислу Кинамов податак не пружа никакав ослонац. Чини се ипак да Андроник није могао држати тако значајан град какав је Касторија, свакако са вишемање пространом околином, онако као што би држао неки обичан велики посед. У питању је највероватније известан облик приватног намесништва, који треба сврстати међу друге сличне претече апанажа.

---

[43] Cf. *Chalandon*, o.c. 606.

[44] Уп. *Успенский*, н. д. 1 сл. Три године касније, Андроник Комнин отровао је Рајнерија који тако коначно ишчезава са историјске позорнице. Cf. *Setton*, o. c. 164.

[45] Cinnamus III 16: (Bonnae) 124. 20—22; Choniates (Bonnae) 133. 9—10. За коментаре о могућим границама ове области в. *J. Калић* у Виз. извори за ист. народа Југославије, IV, Београд 1971, 47 н. 105, 129 н. 59.

[46] Превод према Виз. извори за ист. народа Југославије, IV, 47 (за оригинал в. претходну напомену).

[47] Најминуциознији истраживач овог раздобља византијске историје, Ф. Шаландон, ограничава се на готово дословно препричавање Кинамовог извештаја (о. с. 409).

Посматрање комнинског периода као целине показује, у начину поседовања или управе, извесне опште и заједничке моменте развитка „апанажних“ елемената. Карактеристично је пре свега да су ови елементи релативно ретки; ни десет сигурних или вероватних случајева у току једног столећа. Карактеристично је такође да највећи пројекти међу њима, који су и најсличнији каснијим апанажама (Манојлова кнежевина на истоку или Рајнеријева управа у Солуну), нису никад постали реалност. С друге стране, чињеница је да споменути елементи постоје како у неоствареним, тако и у оствареним одлукама. Они јесу ретки, али и увек поновљени. Ради се о првим корацима феудалног, породичног начина управљања државом, који је династији требало да обезбеди власт и приходе кадгод се другачији методи покажу недовољним; корацима опрезним и спорим, за које, у исто време, трајност покушаја представља типичну особину. Без њих није, коликогод били ретки, ниједна влада царева из династије Комнина, не рачунајући кратку, деспотску и по много чему својеврсну владавину Андроника I (1182/83—1185). При томе, као што увек бива на почетном ступњу развитка неке институције, елементи новога показују се постепено и појединачно, готово стидљиво, у облицима који се знатно разликују од оних са којима ћемо се касније сусретати. Ово нарочито вреди, што је сасвим разумљиво, за доба цара Алексија (случајеви Хадријана и севастократора Исака).

Силазак династије Комнина са цариградског престола означио је крај једног великог раздобља византијске историје и, истовремено, крај прве етапе у процесу настанка апанажа. Наступило је прелазно доба великих потреса. Унутрашње опадање у епоси Анђела и пропаст државе под ударцима крсташа представљали су велику политичку прекретницу, али су и допринели даљем напредовању феудалних начела у организацији друштва. Крајем XII века принцип административне централизације показивао се све мање ефикасним, јер је читав управни апарат државе био дубоко уздрман, док је моћ феудалних магната досегла дотад неслућене размере.[48] Затим је дошао IV крсташки рат који је за Византију значио непосредно упознавање са друштвеном и политичко-организационом структуром западноевропског феудализма. Тако је читав сплет унутрашњих и спољашњих чинилаца на прелазу двају столећа водио бржем сазревању феудалног поретка у византијским земљама у XIII веку.[49]

---

[48] Cf. *Stein*, Untersuchungen 19 sq.; *D. Zakythinos*, Crise monétaire et crise économique à Byzance du XIII[e] au XV[e] siècle (даље: *Zakythinos*, Crise), Athènes 1948, 50; *Осшроīорски*, Историја 376 сл.

[49] Аутохтоност византијског феудализма, упркос многим супротним мишљењима, данас је изван сваке сумње. Cf. (за различита гледишта) *Kin-ichi Watanabe*, Problèmes de la „Féodalité“ byzantine. Une mise au point sur les diverses discussions, Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences V/1 (Jan. 1965) 31—40; VI/1 (Sept. 1965) 7—24; *Ostrogorsky*, Aristocracy 8 sq. Отворенији проблем представља величина доприноса крсташа развоју феудалног поретка, мада је у науци одавно изречено убедљиво мишљење да њихов долазак није значио битну прекретницу у историји византијског друштва, које се већ од XI века отворено развија на феудалним основама. Cf. *Stein*, Untersuchungen 2 sq.; *G. Ostrogorsky*, Die Perioden der by-

Период дуготрајне владавине крсташа и борбе грчких држава за рестаурацију Византије означио је коначно учвршћење феудализма у византијском свету, чему је уследно врхунац развитка овог друштвеног система за династије Палеолога. Његове манифестације у том латинско-никејском раздобљу исказују се различитим интензитетом, будући да је некадашња јединствена византијска територија била разбијена на читав низ држава са сопственим концепцијама о политичком уређењу. Немогуће је, на жалост, рећи како се описане околности непосредно одражавају на развитак оних појава које се могу сматрати претечама апанажа.

Никејска држава, као што је познато, на својој хомогеној територији развила је, нарочито под Јованом III Ватацом, изразито централизован административни апарат, какав није познавала Византија уочи IV крсташког рата. У таквим условима биле су привремено пригушене неке упечатљиве појаве феудалног развоја, на пример центрифугалне политичке тенденције, које су почеле да се јављају пред крај претходног доба. Па ипак, и у тако строго централистички организованој држави, у којој је систем породичне владавине био непознат, може се запазити постојање бар једног крупног апанажног поседа. Управо Јован Ватац око 1244. године поклања својој жени Констанцији Хоенштауфен апанажни посед огромне вредности близу Смирне, у чији састав су ушла три (непозната) града са годишњом рентом од 30.000 перпера![50] Поврх свега, то никако није било привремено решење. Двадесетак година касније Михаило VIII потврдио је Констанцији дар њеног супруга, поодавно већ покојног, прецизирајући ἵνα ἔχει ἀπὸ τῆς βασιλείας μου χάριν οἰκονομίας.[51] Тиме је јасно подвучен приватни карактер поседа царице-удове. Са друге стране, величина и сложеност овог поседа, који сачињава више различитих градова и села, несумњиво су власнику доносили улогу вршиоца јавне власти. Бар у пореско-финансијској области, ако већ не и у осталим доменима управе. Таква улога морала је превазилазити уобичајена права уживаоца феудалног имунитета. Расплет који је на крају уследио, био је последица свих побројаних околности. Јер кад је Констанција, много година касније, уступила Јакову II Арагонском читав посед, цар Андроник II,

---

zantinischen Geschichte, Hist. Zeitschrift 163 (1941) 252 (= Сабрана дела III, 27); *idem*, Le grand domaine dans l'Empire byzantin, Recueils de la Société Jean Bodin 4 (1949) 35 sq. (= Сабрана дела II, 175 сл.); *idem*, Aristocracy 17. Значај IV крсташког рата у овом погледу преувеличавају (наводим најкарактеристичнија гледишта) *G. I. Bratianu*, Les divisions chronologiques de l'histoire byzantine, Bull. de la Sect. Hist., Acad. Roum. 17 (1930) 63; Cambridge Medieval History, VI/2, 1967, 78 sq.

[50] Оригинали даровних докумената (било их је два) нису сачувани, али је њихово постојање, чак и садржина првог, утврђена ствар. Cf. *Dölger*, Regesten III, Nr 1780, Nr 1781. Целокупан преглед извора и литературе доноси *H. Ahrweiler*, L'histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081—1317), Travaux et mémoires, I, Paris 1965, 68 sq., која Констанцијин посед назива апанажом.

[51] Ed. *C. Marinesco*, Du nouveau sur Constance de Hohenstaufen, impératrice de Nicée, Byz. 1 (1924) 460 (1261). Cf. *Dölger*, Regesten III, Nr 1916 (дец. 1262 — дец. 1270).

који се и иначе доста одлучно одупирао неким појавама приватизације власти, одбио је да потврди пренос власништва.[52]

Случај Констанције Хоенштауфен представља једино позитивно сведочанство о постојању апанажних поседа у време пред рестаурацију Византијског Царства. На први поглед то је заиста чудновато. Не треба, међутим, губити из вида да су изворни подаци о сличним појавама, чак и у епоси Палеолога, увек врло шкрти и најчешће ужасавајуће расути и међусобно неповезани. За епоху латинске доминације ова констатација може да се примени на већину питања из историје државног и друштвеног уређења, и то у већини грчких земаља. Проблем којим се бавимо нарочито је погођен оваквим стањем извора. Чак и за Тесалију, земљу великих феудалних магната, лишени смо иоле сигурних изворних података. Понеки миг, на који може да се наиђе, више је него скроман и практично је неупотребљив.[53]

Тако се, захваљујући углавном невољама са изворима, епоха латинске владавине показује као прелазни, не нарочито спектакуларан, период у развитку апанажних поседа. Међутим, ово доба пренело је рестаурисаној Византији једно наслеђе које се, управо када је реч о апанажама, не може потцењивати. Великим крсташким ратом, први пут у византијској историји, био је политички разбијен јединствени државни механизам Царства. Рушење јединства Византије изазвао је спољашњи непријатељ, али је овакав расплет несумњиво одговарао и нараслим унутрашњим центрифугалним тенденцијама. Деценије самосталног живота појединих грчких држава, с једне, деценије одвојеног живота — под латинском влашћу — од грчког државног језгра, с друге стране, морале су ослабити осећање заједничке припадности у многим областима.[54] То се најбоље показало по рестаурацији Византијског

---

[52] Cf. *Marinesco*, o. c. 456, 467. Андроникова схватања виде се лепо кроз његов одбојни став према познатим предлозима царице Ирине, као и у поновљеним, мада неизбежно половичним, покушајима отежавања развитка потпуног пореског имунитета. Уп. *Г. Острогорский*, К истории иммунитета в Византии, Виз. Врем. 13 (1958) 81 сл., 85 сл. (= Сабрана дела I, 444 сл., 449 сл.); *Б. Т. Горянов*, Поздневизантийский иммунитет, Виз. Врем. 12 (1957) 112 сл.

[53] Такав је случај чак и са оцем и сином Малијасинима, Константином и Николом, јединим тесалијским великашима из прве половине XIII века, о чијим имањима (око Димитријаде и Дрианувене) постоје било какви подаци [*F. Miklosich-J. Müller*, Acta et diplomata graeca (даље: MM) IV, 345, 397]. Обојица су били врло богати наследни поседници и *Charanis*, Social Structure 101 је у праву кад за Константина каже: „... a veritable dynast and the virtual owner of the entire region". Ипак, остаје отворено питање да ли се његова имања могу третирати као апанажни посед, будући да би за сигурнији став у овом смислу било потребно још података.

[54] Улога латинског освајања у слабљењу кохезионе снаге Византије данас је потпуно јасна. Стога упућујемо само на два аутора који су се посебно бавили кризом Византијског Царства у доба после латинске владавине: *Zakythinos*, Crise 31 sq.; *З. В. Удальцова*, О внутренних причинах падения Византии в XIV веке, Вопросы Истории 7 (1953) 110. Далеко шире и строже изражено гледиште имао је *Ф. И. Успенский*, Выделение Трапезунта из состава Византийской империи, Sem. Kond. 1 (1927) 21: „На основе географических и этнографических особенностей разных областей, входивших в образование империи это обширное, сложное и далеко не успевшее объединиться искуственное образование, какова была Византийская империя, никогда не достигало стройного государственного единства".

Царства. Трапезунт се никада није вратио у његове оквире, а Епир и Тесалија потчињавани су власти Цариграда с муком и за кратко време. Усамљена Мореја, иако у оквирима Царства организована као и други његови делови, показује многе особености у развитку управног уређења под првим Палеолозима.[55] Па чак и у Солуну, који у XIV веку постаје ривал престоници у многим сферама живота, нараста једно осећање посебног, локалног интереса.[55a] Тако су и друштвени и политички развитак водили слабљењу кохезионе снаге Византије у последњем раздобљу њеног живота.

III

Обновљена Византија после 1261. године врло брзо доживљава нагло напредовање процеса феудализације, о чему је делимично било речи на почетку овог рада (стр. 108 сл.). Последице су биле крупне по устројство друштва у целини. Никад пре овог доба моћ аристократије, заснована на све већем богатству и привилегијама, није се испољила са толико снаге; никад раније овај друштвени слој није у тако широким размерама приграбио изворе богатства земље, претварајући их у своја наследна добра.[56] За династије Палеолога друштвена равнотежа коначно је померена у корист великаша. У исто време, „сељачки посед па чак и непривилегисани посед нижег племства све више опада, губећи земљу, а и радну снагу у корист велепоседника".[56a]

У таквим околностима, сасвим природно, умногостручавају се и даље развијају појаве које се могу сматрати претечама апанажа XIV и XV века, појаве које смо пратили у епоси Комнина и у никејско доба. Међу њима, поглед истраживача најпре привлачи случај брата Михаила VIII, деспота Јована Палеолога.[57] Његова сјајна војничка победа над антиникејском коалицијом (1259), која је непосредно омогућила рестаурацију Византијског Царства, донела му је највеће почасти — титулу деспота и огромне поседе у разним крајевима државе. На жалост, врло мало се зна о овим поседима. Парадоксално је да готово једини изворни податак о њима представља вест Георгија Пахимера о деспотовом паду

---

[55] Уп. *Максимовић*, Управа 41, 77, 78, 80 сл., 84, 87, 98 сл., 133 сл., 149 сл.

[55a] Уп. нарочито *Lemerle*, Philippes 187, 192, а такође и *Constantinidis-Bibicou*, Yolande 432; *Runciman*, Thessalonica 27, 31, 34, мада су идеје ова два аутора о изразитим сепаратистичким осећањима Солуњана сувише наглашене и искључиве. — Као додатна илустрација занимљиво је иступање чувеног ретора Дим. Кидона, који у једном писму (1382/83) цару Манојлу II истиче своје задовољство због срећне околности што управо Манојло непосредно господује Солуном — *йишчевом ошаџбином* (τὴν πατρίδα μοι: Démétrius Cydonès Correspondance, ed. *R. — J. Loenertz*, II, Città del Vaticano 1960, Nr 247, 40).

[56] Уп. *Осшроїорски*, Историја 449 сл. (са прегледом литературе); *idem*, Aristocracy 18 sq.

[56a] *Осшроїорски*, Историја 449.

[57] О овој личности в. *A. Th. Papadopulos*, Versuch einer Genealogie der Palaiologen (1259—1453) (даље: *Papadopulos*, Genealogie), Amsterdam 1962, Nr 2; *Ферјанчић*, Деспоти 36 сл.; *исши*, Севастократори 175 сл. Према резултатима овог аутора, Јован је носио деспотску титулу између 1260. и 1275. године.

у немилост и добрима која су му том приликом одузета (1272/73).[58] Према Пахимеру, поседе деспота Јована сачињавали су острва Митилена и Родос, као и „многа врло велика (имања) на копну која су била у (његовој) независној пронији (καὶ κατὰ γῆν πλεῖστά τε καὶ μέγιστα οἱ εἰς αὐτάρκη πρόνοιαν ἦσαν).“[58a]

Примећено је већ с разлогом да „пронија“ деспота Јована Палеолога представља сасвим другачију појаву од феудалних поседа које под тим називом обично сусрећемо у повељама.[59] Мање је извесна, међутим, претпоставка да се имовина деспота Јована састоји, у ствари, од прихода из одређених региона.[59a] Прихватање овакве претпоставке тешко је из више разлога. Пре свега, чини се да Пахимер тачно преноси стварну ситуацију када каже да „пронију“ деспота Јована чине острва и друга имања. О приходима он не говори, а давнашњи случај Хадријана и Исака, браће цара Алексија Комнина, показује да извори познају и другачији приступ. Такође, Пахимеров израз αὐτάρκη указује не само на самосталност, него и на комплексност и, нарочито, самодостатност „проније“ о којој говори, што може да имплицира искључиво једну огромну имовину. Ваља се само подсетити да је у Кантакузиновом мемоарском делу читава Мореја названа „великом пронијом“ у тренутку када на чело ове области долази деспот Манојло, као и да је на исти начин окарактерисана апанажа Матије Кантакузина у Тракији.[60]

Чини се да неки извори пружају извесне могућности за убикацију, истина врло грубу, споменутих поседа деспота Јована на копну. Наравно не свих, јер оскудност података чини свако решење половичним.

Познато је да је Јован Палеолог једини деспот који није званично управљао неком облашћу, а иза кога је ипак остало неколико повеља.[61] Све ове повеље односе се на манастир Макринитису (близу Димитријаде у Тесалији) и представљају не толико непосредан доказ да је деспот Јован располагао пространим поседима у овој области, колико доказ о ширини његових овлашћења која превазилазе права једног велепо-

[58] Читава епизода описана је у Pachymeres (Bonnae) I, 319—322. Како је показао *Ферјанчић*, Деспоти 38, био је то први знак царевог неповерења према пребогатом и популарном деспоту и он је уследио, можда не сасвим непосредно, крунисању царевића Андроника (будућег Андроника II) за савладара, новембра 1272. године. До коначног губитка милости, када су Јовану чак одузете ознаке деспотског достојанства, дошло је касније (1275).

[58a] Pachymeres I, 321. 8—10.

[59] Уп. *Острогорски*, Пронија 66 сл.; *idem*, Aristocracy 22.

[59a] Cf. *Charanis*, Social Structure 106; *idem*, The Aristocracy of Byzantium in the 13th Century, Studies in Honor of A. C. Johnson, Princeton 1951, 352 sq., који погрешно схвата читаву институцију проније. За Хараниса, пронија се искључиво састоји у приватном уживању, на основу посебне привилегије, некадашњих државних прихода и стога за њега Пахимеров податак говори о класичној пронији. Оправдано не прихватајући овакав став (в. и горе, нап. 26), проф. Острогорски недавно је изнео опрезну претпоставку (Aristocracy 22) да је деспот Јован Палеолог био само уживалац прихода са наведених огромних територија.

[60] Cant. IV 13: (Bonnae) III 85. 13—14 (Мореја); IV 7: III 47. 19—20 (Тракија).

[61] Уп. *Б. Ферјанчић*, О деспотским повељама (даље: *Ферјанчић*, Повеље), ЗРВИ 4 (1956) 94 сл.

седника. Тако је он једним (оштећеним и стога недатираним) актом оснажио права Макринитисе на село Капрену и чамце са језера Св. Стефана, забрањујући државним чиновницима да убудуће узнемиравају манастир у поседовању ових добара.[62] Септембра 1267. године деспот Јован наложио је (παρακελεύομαί σοι) државном чиновнику, кефалији града Алмироса Василију Метритопулу, да манастиру уместо једног непогодом уништеног поседа, обезбеди неки други посед.[63] Годину дана касније, августа 1268, ослободио је монахе Макринитисе пореза на нека имања у околини Алмироса и забранио Метритопулу да их у вези са тим узнемирава.[64] При томе, деспот Јован се позвао и на свој акт који је, још као севастократор, издао септембра 1259. по истој ствари.[64a] Најзад, у два кратка документа, из децембра 1268. и маја 1270, деспот је потврдио права манастира на имање Капрену, при чему је у првом поново иступио као Метритопулов наредбодавац.[65]

Деспот Јован Палеолог, као што смо рекли, није био званичан функционер у Тесалији. С друге стране, како наведени документи лепо показују, његово јавно деловање у овој покрајини — што не значи обавезно и физичку присутност — има трајан карактер (септембар 1259— мај 1270). Уз то, његова овлашћења су врло широка: он има право да наређује локалним органима власти, као и право да потврђује власништво над приватним поседима и њихову неприкосновеност. Ранг деспота Јована и његов близак однос са царем, на чију се вољу у већини својих докумената и позива, представљају несумњиво чиниоце који обезбеђују ова права. Али чињеница да су она дуго осведочена на одређеној територији, говори о постојању деспотових посебних интереса на тој територији. Једино објашњење које може да повеже и међусобно уклопи све побројане елементе, било би да се део поседа Јована Палеолога, део његове „проније“, налазио у Тесалији, а да је он сам на тој основи стекао многе прерогативе званичног царског намесника.[66] У прилог оваквом објашњењу сведочи и околност да је у тестаменту извесног Теодора Скараноса, насталом око 1270. године, деспот Јован назван не само господаром (αὐθέντης) него и — то је нарочито значајно — намесником (ἐπίτροπος).[66a] Овај термин очевидно није употребљен случајно и без реалне подлоге.

---

[62] MM IV, 342—344; недостају почетак и крај документа. Поседовање Капрене потврдио је Михаило VIII маја 1272 (MM IV, 331).

[63] MM IV, 386—387. Датирање свих докумената деспота Јована према *Ферјанчић*, Деспоти 37. За стварни положај логотета дрома Метритопула у провинцијској администрацији уп. *Максимовић*, Управа 72, 72 н. 41.

[64] MM IV, 387—388.

[64a] MM IV, 384.

[65] MM IV, 388—389. О деспотовом односу према Метритопулу в. и MM IV, 390 (акт кесара Стратигопула).

[66] Родос и Лезбос (Митилена) били су вероватно позорнице сличног развоја, али не постоји на жалост ниједан документ који би нам осветлио, макар делимично, везу деспота Јована са овим острвима.

[66a] Actes de Xéropotamou, ed. *J. Bompaire*, Paris 1964, Nr 9 (док. са врло лошом ортографијом): πανευτιχέστατος δεσπότης καὶ αὐθέντης ἡμῶν (7); ἐπίτρωπον τὸν περιπόθητον αὐτάδελφον του κρατεοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως καὶ

Пример Јована Палеолога, по свему судећи, није био усамљен. Има код Пахимера још података о пронијама чланова владарске куће Палеолога — самог царевог сина и царевог зета — што указује да је ова институција морала узети шире размере.[67] То не изненађује, јер у питању су доба и династија за које се везује највећи успон система породичне владавине над државом. Међу прве и највидљивије знаке овог успона треба убројити све већу улогу савладарства, које постаје један од симбола епохе Палеолога.[68] Зато је било природно, у ситуацији кад породична владавина уопште добија извесну територијалну компоненту, да и савладарство доживи покушаје одређивања на истој, територијалној основи. Већ је родоначелник династије, Михаило VIII, имао сасвим одређен план да за свог омиљеног сина Константина одвоји Солун и Македонију и од тих области образује фактички посебну државу (ἰδίαν ἀρχήν τινα περιποιήσασθαι τοῦτο καὶ βασίλειον αὐτοκρατορίαν).[69] Смрт је, међутим, стигла цара пре него што је приступио остварењу овог плана, али је и сама појава такве замисли довољно карактеристична.

Међу новине, које доноси доба после рестаурације Византије, спада и проширивање круга уживалаца апанажних поседа. Нарушен је монопол који су у том погледу уживали чланови династије најближи престолу. Тако Михаило VIII великом дуксу Ликарију, који чак по пореклу није био Византинац, дарује острво Еубеју (tutta l'isola di Negroponte) због његових великих заслуга, уз чисто феудалну обавезу да се на царев позив у рат одазове са 200 коњаника.[70] Као и у случају Родоса и Митилене под деспотом Јованом Палеологом, једно огромно острво фактички је постало приватно добро.[70a] Утицај ове промене на положај Еубеје у управној организацији државе свакако је био приметан.

κύριον μου τὸν πανευτυχέστατον δεσπότην (73). Издавач је први одлучно идентификовао овог деспота са Јованом Палеологом (p. 74), али иде сувише далеко кад у вези са њим, а позивајући се на положај деспота XIV века, закључује: „le despote a un rôle essentiel dans la région de Thessalonique" (76). Као оквирни датум настанка документа, издавач предлаже: око 1270—1274. Вероватније је да је у питању почетак овог периода, због деспотовог пада у немилост 1272/73. године. — О достојанству епитропа в. нап. 96.

[67] Уп. *Осшроїорски*, Пронија 67.

[68] *Осшроїорски*, Историја 448.

[69] Greg. VI 6: I 187. 18—22, који ову идеју с негодовањем назива τὸ πρᾶγμα δυστυχίας (lin. 25). За личност Константина в. *Papadopulos*, Genealogie Nr 37 и Nr 38.

[70] Marino Sanudo, Istoria del Regno di Romania, ed. *C. Hopf* in Chroniques Gréco-Romanes, Berlin 1873, 123. У праву је *Charanis*, Social Structure 106 n. 62 кад говори о Ликаријевом наследном поседу који, по свој прилици, има и сопствени порески систем, али несумњиво греши кад Ликарија сматра класичним држаоцем проније (ib., 131).

[70a] Немогуће је утврдити да ли овој врсти поседа припадају имања богатог Манојла Анђела, који почетком XIV века поседује читава села око Сера и Солуна (Actes de Chilandar I, Actes grecs, ed. *L. Petit*, Виз. Врем. 19 (1912) Nr 23, 1—5). Сасвим је, међутим, извесно да је фантастична тобожња хрисовуља Андроника II, којом извесни Григорије Мелисин добија имања широм европских и малоазијских покрајина Царства. Cf. *Dölger*, Regesten IV, Nr 2187.

*

Описани развој апанажних поседа за првих Палеолога неминовно је водио успостављању полуприватног намесништва на разним степеницама провинцијске управе. Томе је, са своје стране, доприносила и околност да административно уређење државе у ово време доживљава одговарајуће промене, врло бурне и спектакуларне. Феудални карактер власти постаје изразитији него икад раније: њени органи попуњавани су готово искључиво члановима аристократских породица, а за однос чиновништва према владару у највећој мери постаје типична приватна, лична зависност (в. горе, стр. 109). Још интензивније промене показује организација управног система, нарочито у провинцији. Стари тематски систем провинцијске управе у другој половини XIII века коначно је, после многих рањавања, изгубио снагу и значај. Основна административна јединица постаје катепаникион, на чијем се челу налази кефалија. Већ почетком XIV века овај процес је и достигао врхунац и био завршен.[71] Тиме је спроведена административна организација са најситнијим провинцијама у читавој византијској историји, провинцијама које су ретко превазилазиле околину једног града. У таквим околностима, веза ових малених провинција са престоницом била је непосредна када се радило о битним питањима, као што је постављење и смењивање њихових управника.[72] Али правилно функционисање управе обично је захтевало постојање једног посредничког органа власти који би омогућавао бољу контролу центра над удаљеним областима, враћеним у оквире Византије после рестаурације, областима чији је живот показивао многе посебне облике. Такав орган и постоји, управо последњих деценија XIII и првих деценија XIV века, у лику тзв. општег кефалије (καθολικὴ, περιέχουσα κεφαλὴ) који се јавља у најважнијим покрајинама, преосталим смањеном Царству — у Мореји, Тесалији, македонским областима са центром у Солуну или, ређе, Серу, на Лемносу и, по свој прилици, у Тракији.[73] Но, већ у првој половини XIV века општи кефалија био је на путу да изгуби особине државног органа у класичном смислу. Он је био један део административне машинерије, а читава та машинерија у епоси Палеолога дубоко је уздрмана процесом феудализације.

Феудализовање управног апарата државе не огледа се само у променама сталешког састава чиновништва. Ова врста промена изазива друге, дубље и важније. Мењају се методи вршења власти и већ пре епохе Палеолога за провинцијске гувернере постаје типично нагомилавање функција различитог карактера: управних, судских, војних, а не тако ретко и пореско-финансијских овлашћења.[74] У доба Палеолога овакви случајеви постају све чешћи. „Груписање различитих надлежности, поред кефалија карактеристично и за друге функционере, свакако води

[71] Уп. *Максимовић*, Управа 20—63.

[72] Исто, 74—78.

[73] За општег кефалију в. исто, 79—87.

[74] Исто, 88—95, 136 сл., 162 сл.

нестајању разграничења између појединих грана управе и њеном поједностављивању у складу са скромним потребама времена. Осим неколико неопходних чиновничких положаја, као што су цивилни и војни помоћник кефалије — прокатимен и кастрофилакс, или као што су функционери фиска — апографевс и енергон, ишчезава разуђени провинцијски апарат који је некад представљао једну од основних карактеристика византијског бирократског система. Управо под Палеолозима овај је процес добио завршне облике, што је само значило уклањање противуречности између старих организационих концепција, које изумиру, и захтева феудалног друштвеног поретка, који у ово време достиже врхунац развитка. Јер, потреба за разуђеним државним апаратом све више нестаје са порастом политичке моћи аристократије, а управо сада ова је моћ постала изразита и неоспорна. Њен давнашњи поход у освајање управног апарата државе, као и њени напори да створи аутономну приватну администрацију на сопственим доменима, доживели су коначан тријумф . . . Тако, јавна власт у византијској провинцији постаје за Палеолога, више него икад, непосредна власт феудалне класе."[75]

Последице описаног процеса осећају се на разним странама. Он није могао да мимоиђе владарску породицу која је у ствари већ одавно, бар од епохе Комнина, само најјача великашка породица. Исто тако, није могла остати по страни ни институција општих кефалија. Шта више, природно је да су овакви центри моћи нарочито ангажовани у овом процесу; бар се у изворима о њима највише говори. У случају општих кефалија то најпре значи да се они регрутују из највиших аристократских породица, често родбински везаних за владајућу династију, као и да су сами личности са високим рангом у државној хијерархији.[76] На овим положајима смењују се: у Мореји — Кантакузини (међу њима и отац будућег цара Јована VI), Макрини, Филантропини, бугарско-византијски царевић Андроник Палеолог Асен[77]; у Тесалији — пинкерн Раул Комнин, епарх Михаило Мономах, севастократор Јован Анђео (нећак Кантакузинов).[78] У Македонији и Албанији овакав статус, у првој половини XIV века, по свој прилици имају Андроник Кантакузин, Теодор Палеолог, Сфранцис Палеолог и Комнин Палеолог (Албанија).[79] За панипервсеваста Јована Палеолога, чувеног Сиргијана Палеолога Филантропина, Сиргиса (Гиј од Лузињана), Андроника Асена Палеолога (вероватно Кантакузинов нећак) и Теодора Синадина то је сасвим извесно.[79a] Најзад, на функционере чији положај свакако одговара статусу споме-

[75] Исто, 162—163, где су само синтетизована истраживања која се провлаче кроз читаву књигу.

[76] *Stein*, Untersuchungen 25 сматрао је да су високе личности постављане за провинцијске наместнике ради бољег осигурања поретка. У овој констатацији крије се део истине, нарочито када се ради о царевим синовима, али примарни разлози били су друштвене а не политичке природе.

[77] Cf. *Zakythinos*, Desp. I, 68 sq.; II, 61 sq.

[78] Уп. *Максимовић*, Управа 81 сл.

[79] Исто, 83 сл.

[79a] Исто, 85 сл.

нутих личности наилазимо и у Тракији: поново Сиргијан и Јован Кантакузин, будући цар.[80]

Феудализовање институције општег кефалије огледа се и у крупним променама његовог статуса, па тиме и начина на који обавља своју дужност. Жалосно скромни подаци извора онемогућавају праћење ових промена у једном процесу сазревања, али је на примеру Јована Анђела, кефалије Тесалије и Кантакузиновог блиског рођака, могуће уочити правац њиховог кретања. За карактер Анђеловог положаја извор представља Кантакузинова хрисовуља о његовом именовању (1342), сачувана у царевом мемоарском делу.[81] Према овој повељи, Јован Анђео постао је доживотни кефалија (εἰς κεφαλὴν. . . ἐφ' ὅρῳ τῆς ζωῆς αὐτοῦ: p. 320.2—3), што је било непознато приликом ранијих постављења кефалија, и поред све сталности њиховог положаја.[82] Шта више, ова доживотна власт, иако није била наследна, могла је да се по царском одобрењу пренесе и на потомке Јована Анђела. Он сам, пак, био је прилично самосталан у вођењу политике, чим је цар нашао за сходно да га посебно обавеже да према Каталанцима и Латинима на Пелопонезу („иза Патраса") заузима став у складу са потребама цариградске владе. Самосталност кефалије Анђела огледа се у још две одредбе. Према једној, он је дужан да се одазове царевом позиву у рат, али се при томе подвлачи, да ће у поход по западним крајевима Балкана повести све расположиве снаге, а у поход источно од Христопоља онолико војске колико може да сакупи без муке. Према другој одредби, приликом освајања неког града или области, Анђео је имао право да потпуно самостално постави кефалију (ἔχῃ ἄδειαν αὐτῇ τάττειν εἰς κεφαλὴν ἰδιοῤῥύθμως, ὃν ἂν ἐθελήσειεν), што је до тада било у искључивој царевој надлежности.[82a] Очевидно је да Јован Анђео није био обичан државни чиновник и запажено је већ да споменуте „. . . одредбе одсликавају више однос сениора-владара и његовог вазала-апанажисте, и то у приличној мери независног, него шефа државе и гувернера једне провинције."[83]

Најзад, област општег кефалије у XIV веку нема одређену физиономију, која би била последица деловања сталних организационих принципа, као што је то случај са „локалним" кефалијама (агломерација типа катепаникиона). Таква одређеност запажа се једино тамо где делују посебни географски и политички чиниоци (Мореја и сл.).[84] То је још један доказ о прилагођавању метода државне управе условима превасходно феудалне епохе, какво је било доба Палеолога.

---

[80] Исто, 85 н. 117.

[81] Cant. III 53: II 312. 15—322. 15. Датум именовања (1342, ум. досад узимане 1343) према *Ф. Баришић*, Михаило Мономах, епарх и велики коноставл, ЗРВИ 11 (1968) 228, 228 н. 38. За личност Јована Анђела уп. *D. Nicol*, The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) (даље: *Nicol*, Cantacuzenus), Washington 1968, 147—48.

[82–82a] Уп. *Максимовић*, Управа 74—78. За одредбу о праву Јована Анђела да поставља кефалије в. Cant. III 53: II 322. 6—7.

[83] *Максимовић*, Управа 82. В. још и слично мишљење аутора који су први истакли овај моменат: *D. Zakythenos*, Processus de féodalisaton, L'Hellénisme Contemporain 2 (1948) 508 sq.; *Острогорски*, Историја 481; *idem*, Aristocracy 23.

[84] Уп. *Максимовић*, н. д. 87, а затим и 58.

*

Сви до сада описивани аспекти развитка Византије чинили су непосредне предуслове за стварање система апанажа као начина управљања државом и сви су водили ка том циљу кроз процес њиховог међусобног приближавања. Стога се већина најпознатијих апанажа царских синова јавља, мада не истовремено, управо у областима некадашњих општих кефалија, као што су Мореја, Македонија (Солун), Лемнос и, вероватно, Тракија. Чак и Тесалија, иако никад није постала права апанажа, не представља изузетак у том погледу. Јер, баш власт Јована Анђела над овом земљом јасно указује на путеве стварања апанаже из области општег кефалије. Само брзи пад Тесалије под српску власт (1348) спречио је потпуно довршење овог процеса.[85]

Настајање апанажа, међутим, није текло правом линијом ни у доба када је атмосфера за њихову појаву била сазрела. Токови њиховог развитка подразумевају постојање колебања и застоја који се могу уочити упркос оскудним подацима извора. С почетка XIV века један такав случај познат је у Албанији. Наиме, док је Јован Пинкерн био од 1316. до 1320. године capitaneus (cephalia) Belgradi, Spinarizae, Aulonae, у истој области potestatem generalem имао је деспот Константин Палеолог, млађи син Андроника II и Ане Угарске.[86] Како је функционисало овакво „двовлашће" тешко је рећи, али је очевидно да деспот Константин није био државни чиновник у правом смислу, него нека врста владаочевог личног изасланика, сличног познијим апанажистима. Такав случај извесног подвајања власти неће се више нигде поновити, а у самој области Берата, где се Константин уосталом врло кратко задржао, касније се у два маха појављују функционери који се могу упоредити са општим кефалијом.[87] Долазак ових крајева под српску власт несумњиво је спречио, као и у Тесалији, да процес стварања једне апанаже у Албанији узме маха и буде успешно окончан.

Редослед управника солунске области у првој половини XIV века такође, и то врло изразито, показује кривудав ток настајања тамошње апанаже, у коме немају сви актери исти ранг.[88] У ствари, о гувернерима

[85] Владавина Срба над Тесалијом окончана је када је последњег српског владара ове области, Јована Уроша, наследио кесар Алексије Анђео Филантропин (1381), али до њеног повратка у састав Византијског Царства није дошло.

[86] Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, edd. *L. Thallóczy, C. Jireček, E. Šufflay*, I, Vindobonae 1913, Nr 621 nn. 3, 4; Nr 625; Nr 669 (cf. *G. M. Thomas-R. Predelli*, Diplomatarium Veneto-Levantinum, I, Venetiis 1880, 149 sq.); Nr 670. Još je *K. Jireček*, Das Gesetzbuch des serbischen Caren Stephan Dušan, Arch. f. sl. Philol. 22 (1900) 209 утврдио да је кефалија = capitaneus италијанских извора. О личности деспота Константина уп. *Papadopulos*, Genealogie Nr 60; *Ферјанчић*, Деспоти 90 сл., 101 сл.

[87] В. *Максимовић*, Управа 39 сл., 39 н. 95 /протовестијарије Андроник (можда идентичан са Комнином Палеологом) и извесни Ласкарис/. Константин се налазио у Албанији 1319, а већ 1321. је намесник Солуна. Уп. *Ферјанчић*, н. д. 90 сл.

[88] Треба истаћи да се у другој половини XIII и првој половини XIV века запажа разлика између кефалија — управника града Солуна и обласних гувернера са седиштем у Солуну, међу којима су неки јасно посведочени као опште кефалије.

ове области не зна се ништа све до пред крај друге деценије XIV века. Од тог момента, па до избијања зилотског покрета 1342. године познат их је већи број: вероватан је Манојло Дука Ласкарис, [89] а сасвим су извесни, као што је добро познато, цар Михаило IX, деспот Константин Палеолог, паниперсеваст Јован Палеолог, деспот Димитрије Палеолог, Сиргијан Филантропин, Михаило Мономах и Теодор Синадин.[89a] Већ са првом у овом низу личности, царем Михаилом, показује се да улогу државног функционера на челу Солуна и околних области може да преузме особа најближа владару — његов син. Сам Михаилов ранг сведочи, нема сумње, да његова власт над Солуном има другачије корене и карактер од овлашћења класичног намесника-чиновника. Али, оваква ситуација трајала је сувише кратко (1319/20) и није могла да донесе неку трајнију трансформацију карактера солунске административне области. Исти је случај и са управом двојице деспота из куће Палеолога, који ово подручје контролишу двадесетих година XIV века: Константином (1321/22) и Димитријем (1327/28).[90] На њима се вреди мало задржати.

Документарних података, који би ближе осветлили положај обојице деспота у Солуну, на жалост нема. На основу података наративних извора може се само закључити да су они били гувернери простране области са центром у Солуну и ништа више. И Григора и Кантакузин, једини извори који дају целовит приказ овог раздобља, ограничавају се на то да деспоте Константина и Димитрија назову епитропима Солуна и западних градова или Солуна и Македоније.[91] Код ових писаца окарактерисани су на исти или готово исти начин и тројица познатих намесника у солунској области — паниперсеваст Јован Палеолог, Теодор Синадин и Сиргијан Филантропин, при чему је за последњег међу њима извесно да је имао звање општег кефалије.[92] Уосталом, за Григору и Кантакузина епитроп представља уобичајени термин за означавање управника административних је-

---

Уп. *Максимовић*, н. д. 57 сл. Сама, пак, солунска област више није класична тема (исто, 54—59).

[89] Уп. исто, 57.

[89a] *F. Dölger*, Epikritisches zu den Facsimiles byzantinischer Kaiserurkunden, Byz. Diplomatik, Ettal 1956, 95 веровао је да је деспот Јован Палеолог, млађи син Андроника II, био управник Солуна између 1304. и 1308. године. Међутим, *Ферјанчић*, Деспоти 102 н. 70 показао је да изворни подаци не омогућавају извођење оваквог закључка.

[90] За датирање управе обојице деспота в. *Ферјанчић*, Деспоти 91, 93 сл.

[91] *Константин*: Θεσσαλονίκης καὶ τῶν ἄλλων ἑσπερίων πόλεων ἐπιτροπεύσοντα (Cant. I 26: I 129. 13—14); ἐπιτροπὴν ἐδέξατο τῶν τε ἐν Μακεδονίᾳ πραγμάτων καὶ Θεσσ/κης αὐτῆς (Greg. VIII 3: I 293. 12—13); *Димитрије*: ἐπιτροπεύοντα τηνικαῦτα Θεσσ/κης καὶ τῶν πέριξ (Greg. IX 1: I 394. 19—20).

[92] *Јован Палеолог:* Θεσσ/κης τὲ καὶ τῶν ἄλλων ἑσπερίων πόλεων ἐπιτροπεύσας (Cant. I 43: I 209. 9—10); τὴν τῆς Θεσσ/κης ἐπιτροπὴν καὶ διοίκησιν (Greg. VIII 14: I 374. 2); *Теодор Синадин:* Θεσσ/κης μὲν γὰρ καὶ τῶν πέριξ ἄχρι Στρύμονος τοῦ ποταμοῦ πόλεων ἦν ἐπίτροπος (Greg. XII 15: II 623. 2—4); Θεσσ/κης ἐπιτροπεύων (Cant. III 11: II 77. 15); Θεσσ/κης ἄρχων (Cant. III 31: II 191. 1—2); *Сиргијан Филантропин:* τὴν ἐπιτροπὴν Θεσσ/κης (Greg. IX 10: I 440. 19). О Сиргијану као кефалији в. *Максимовић*, Управа 85. *Михаило Мономах* јавља се само као Θεσσ/κης δὲ ἐπιτροπεύων (Cant. II 28: I 473. 15).

диница, чак и много безначајнијих од солунске области.[93] С друге стране, казивање о деловању двојице деспота у Солуну не садржи било какав податак о карактеру њиховог положаја. Па и сам пад једног и другог уследио је у посебним приликама грађанског рата, тако да није дошло до мирне и законите смене, чиме је за историчара изгубљена последња могућност да на основу сигурног ослонца одреди суштину њихових мандата. Ипак, чињеница да су Константин и Димитрије били владаочеви синови представља очевидан предзнак будућих времена, када Солун постаје апанажа царевића из дома Палеолога.[94]

Показано је овде да се већ од XII, па чак можда и од XI века, периодично јавља идеја о образовању посебне управе у Солуну, која би се налазила у рукама једног члана владајуће династије. Са пројектом Михаила VIII о посебном царству у Солуну, повереном његовом најмилијем сину Константину, ова идеја постала је у епоси Палеолога далеко одређенија него раније. Од тада па до њене реализације, стварањем солунске апанаже у другој половини XIV века, усталила се пракса да се у посебно сложеним политичким условима управљање Солуном поверава царевим синовима — Михаилу IX, Константину и Димитрију. Тако је било и у другим угроженим, а значајним областима државе. То најбоље показује, као што смо видели, намесништво деспота Константина у Албанији.[95] У питању су, дакле, биле ванредне мере, чије је евентуално устаљивање сваки пут било онемогућено неочекиваним обртом ситуације: Михаило IX је прерано умро, Константин је напустио Албанију ради важнијег постављења у Солуну, а у самом Солуну и Константинова и Димитријева управа биле су нагло прекинуте поразима њихове странке у грађанском рату. Али, чак и не рачунајући случај Михаила који је био цар, ова постављења нису могла да буду идентична са постављењима осталих познатих солунских гувернера. Положај деспота Константина у Албанији, пре његовог доласка у Солун, то довољно јасно наговештава, мада није вероватно да су он или Димитрије имали себи уз бок чиновника са истом територијалном надлежношћу, попут Јована Пинкерна у Берату. Другим речима, чак и под условом да су двојица деспота именована уместо кефалија - гувернера у Солуну, њихова „епитропија“ мора да се посматра као специфична појава на средокраћи између положаја таквих

[93] Уп. *Максимовић*, Управа 64, 85.

[94] Стога *Ostrogorsky*, Aristocracy 23 назива Константинову управу у Солуну рудиментарном формом апанаже, док је *Ферјанчић*, Деспоти 90 сматрао деспоте Константина и Димитрија државним функционерима, за разлику од каснијих деспота — држалаца апанажа. Схватања која износе *Runciman*, Thessalonica 33 и *Constantinidis-Bibicou*, Yolande 432, да су Димитрије, па чак и паниперсеваст Јован Палеолог, били нека врста вицекраљева или регената у Солуну, не доприносе много решавању читавог питања. Треба додати да покушај паниперсеваста Јована да уз помоћ Срба води самосталну политику (1325—127) не представља ништа друго до сепаратистички акт који излази изван оквира управног система. О овој епизоди в. нарочито *U. V. Bosch*, Kaiser Andronikos III. Palaiologos, Amsterdam 1965, 39—41.

[95] О непосредним узроцима наведених појава — спољним претњама и грађанском рату двадесетих година XIV века — в. *O. Tafrali*, Thessalonique au XIV[e] siècle, Paris 1913, 209 sq.; *Ферјанчић*, Деспоти 90—94, 102.

гувернера и апанажиста који ће их временом наследити. Кантакузинова и Григорина терминологија томе нимало не противречи.[96]

Доласком Андроника III на престо (1328) престали су за дуже време грађански ратови у којима је Солун имао истакнуту стратегијску и политичку улогу. Смиривање ситуације и околност да нови цар није имао одраслих синова на које би се могао са посебним поверењем ослонити, вратили су Солуну за више година гувернере типа општег кефалије, као што су били Сиргијан, Мономах и Синадин. Затим је, после цареве смрти, револуционарни покрет зилота учинио положај града изузетно специфичним (1342—1349). Сламање зилотског покрета и успостављање власти центра донели су — као за Михаила IX — непосредну управу цара Јована V (1350—1353), потом његове мајке Ане, али је тек долазак деспота (и будућег цара) Манојла Палеолога у Солун, 1369. године, означио дефинитивно претварање читаве ове области у апанажу коју за дуги низ година држи, мада не непрекидно, сам Манојло.[97] Тиме је најзад био окончан дуготрајан и сложен пут њеног настанка.

[96] Термин епитроп, под којим се у Кантакузина и Григоре обично подразумевају провинцијски гувернери, јавља се са прилично широком скалом разних значења која представљају варијације на појам намесника уопште: регент (Greg. IX 10: I 440. 4—15), цар Манојло II на власти у Солуну (Chalcocondyles, ed. *E. Darkó*, Budapest 1922, 42. 6—7), апанажист Матија Кантакузин у Тракији (Greg. XVI 2: II 798. 22), западни династ Мартин Цакарија (Greg. IX 9: I 438. 13—16), ἐπίτροπος δὲ τοῦ Σωτῆρος (*R. — J. Loenertz*, Manuel Paléologue et Démétrius Cydonès. Remarques sur leurs correspondances, Echos d'Orient 37, 1938, 107), док израз (νομίμως) ἐπιτροπεύων може да означава било каквог званичника (cf. Actes de Xéropotamou, ed. *J. Bompaire*, Paris 1964, Nr 26, 74). Термин је, у ствари, дошао из Цркве, где је дуго и много употребљаван (cf. *Ph. Meyer*, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, Leipzig 1894, 124—129, 145, 173, 243, 244, 247, 255, 259). У сваком случају, епитроп није технички термин византијске администрације, јер се у повељама на њега не наилази.

[97] За ток ових промена уп. *Tafrali*, о. с. 275, 279; *Ферјанчић*, Деспоти 95—97. О солунским данима Јована V: Cant. IV 38—39: III 276. 2—16, 285. 18—22; Greg. XXIV 5: III 226. 10. — *Stein*, Untersuchungen 26 упоређује положај Јована V у Солуну са положајем осталих апанажиста, што је у основи оправдано. Ипак, није сигурно какав је стварно карактер имао Јованов боравак у Солуну. Наиме, дотадашња управа у овој области није била измењена, будући да се у ово време са приличном сигурношћу може идентификовати један општи кефалија Солуна (уп. *Максимовић*, Управа 86 сл.). Шта више, овај општи кефалија, Кантакузинов таст Андроник Асен, био је непријатељски расположен према Јовану V и њихова „сарадња" се неславно завршила. Cf. Cant IV 27: III 203—204. Посебну пажњу свакако побуђује управа царице Ане у Солуну. Ни у овом случају није могуће заузети сасвим сигурно становиште, али је извесно да не може опстати схватање да царица држи Солун као неку врсту пензије. Cf. *R. — J. Loenertz*, Chronologie de Nicolas Cabasilas, 1345—1354, Orient. Christ. Per. 21 (1955) 216—220. Можда је Анин положај био сличан положају царице Констанције, жене Јована III Ватаца, која је у М. Азији држала три града (в. горе, стр. 117), или Теодоре, супруге Михаила VIII, која је поседовала читаво острво Кос (в. *Ф. Баришић*, Повеље византијских царица, ЗРВИ 13 (1971) 152). Недавно је *Баришић*, н. д. 180 истакао да „са пуним овлашћењима једног савладара, царица Ана борави у Солуну и после збацивања Кантакузина 1354, све до краја живота, вероватно 1365. године". Ово гледиште је сасвим прихватљиво, али питања која су овде постављена о правом карактеру боравка Јована V у Солуну, остају на снази и у царичином случају. Како било, између смрти Ане Савојске и доласка Манојла II Палеолога у Солун, позната су два тамошња гувернера из шездесетих

*

Изложени материјал о путевима настанка апанажа у доба Палеолога, посматран у целини, несумњиво упућује на закључак да одређено и доследно политичко деловање у организовању апанажа није постојало. Као и у ранијим столећима, важнију улогу у том погледу и даље играју општи друштвени услови. Но, они су крајем XIII и, нарочито, у првој половини XIV века створили тако плодно тле не само за појаву апанажа, него и за њихово устаљивање, да је требало само да се стекну и погодни политички услови у земљи, па да релативно брзо апанаже постану једна од главних полуга државног механизма. Такав тренутак наступио је средином XIV века.

IV

Четрдесете и педесете године XIV века донеле су Византијском Царству огромна искушења. У то време, дуготрајна економска и финансијска криза добија нарочито драстичне форме, тако да је недостатак материјалних средстава снажно погодио читав управни организам државе, чија се ефикасност нагло смањује.[98] Карактеристично је да од тада постају све ређе посредне вести — непосредних више и нема — о катепаникијима, тим основним административним јединицама епохе Палеолога. Објашњење не треба тражити искључиво у оскудици изворног материјала или освајањима, српским и турским, која, сужавајући границе Царства, смањују број ових јединица.[99] Објашњење лежи и у чињеници да уобичајени методи управљања провинцијом и њена дотадашња организација такође западају у кризу која тако увелико превазилази оквире економике. У ствари, оштра криза захвата у ово време готово све стране живота византијског друштва и није случајно да се управо четрдесетих година умножавају социјални немири у разним крајевима Царства, нарочито у Солуну и трачким градовима. Сви ови потреси били су непосредно везани — као узрочници или последице — за дуготрајни грађански рат између Јована VI Кантакузина и куће Палеолога, који је са већим или мањим прекидима беснео готово петнаест година (1341—1354).

година XIV века, Георгије Синадин Астра и Алексије Ласкарис Метохит, што показује да овај град није био коначно претворен у праву апанажу. Cf. Démétrius Cydonès Correspondance, ed. *R. — J. Loenertz*, I, Città del Vaticano 1956, Nr 94, 22—30; Nr 98, 34—35; Emmanuelis Raul Epistulae XII, ed. *R. — J. Loenertz*, Ἐπ. Ἑτ. Βυζ. Σπ. 26 (1956) Nr 7, 1; Nr 8, 36—37. О Манојловом доласку у Солун већ 1369. уп. *G. T. Dennis*, The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382—1387 (даље: *Dennis*, Manuel), Romae 1960, 13 n. 38, 53. Исти аутор доказао је да је Манојлова влада у Солуну била једном задуго прекинута, углавном због рата који је Андроник IV водио седамдесетих година XIV века против легитимне владе свог оца (в. доле, нап. 129).

[98] Економска криза позновизантијског доба често је будила научни интерес, па наводимо само основна дела: *Zakythinos*, Crise 5 sq., 18, 23 sq., 92 sq.; *A. Andréadès*, De la monnaie et de la puissance d'achat des métaux précieux dans l'empire byzantin, Byz. 1 (1924) 75—115.

[99] Уп. и *Максимовић*, Управа 50, 63, 163.

Грађански рат је пред обе стране веома оштро поставио проблем контроле појединих територија у моменту када административни систем улази, добрим делом управо због ратних прилика, у период потреса и криза. Овај проблем био је утолико оштрији што је Царство већ почињало да осећа последице како старих, тако и сасвим нових центрифугалних кретања. Прва се одражавају у, овде већ спомињаним, тенденцијама ка некаквом сопственом животу, а новости на овом плану донео је сам рат. Наиме, територије супарничких страна нису биле окупљене око сопствених центара, нити је између њих постојала јединствена линија фронта. Кантакузинове присталице држале су у прво време Тракију, која је касније прелазила из једних у друге руке, затим Тесалију (од 1342) и, најзад, Цариград (од 1347) и Мореју (од 1349), док су присталице Палеолога контролисале неке од споменутих области повремено, а стално — Солун и Лемнос. Тиме је држава ушла у период територијалне распарчаности, који ће потрајати све до њене коначне пропасти. У ово време, средином XIV века, оваква ситуација заснована је на изузетним политичким околностима које је собом доносио грађански рат. Доцније, од друге половине истог столећа, Византија коначно губи, под ударцима спољашњих непријатеља, и географско јединство своје територије. Она је од тада сведена на неколико међусобно удаљених поседа: Цариград, градови на Мраморном мору, неколико црноморских градова, део јегејске обале са Солуном и Халкидиком, део Мореје, нека острва из групе северних Спорада, Лемнос и Имброс.[100]

Тако је у грађанском рату Кантакузина и Палеолога отпочео процес нагле дезинтеграције државе, коме дотадашњи административни апарат очигледно није био дорастао. Читав проблем био је нарочито заоштрен околношћу што узурпатор Јован Кантакузин у већини случајева није могао да рачуна на наклоност намесника појединих области, тзв. општих кефалија. Ни њихово замењивање није могло сасвим да отклони овај фактор опасности. Стога није чудно да је управо Кантакузин био први византијски владар који је свесно и на широком плану прибегао стварању апанажа, као решењу већ припремљеном доташњим развитком друштва и више пута јасно наговештаваном. Другачије није ни могло да буде. За победу у рату и за осигурање јединства државе било је нужно да намесничке дужности преузму најповерљивија лица, а то су несумњиво били чланови најуже Кантакузинове породице, у првом реду његови синови. Слични покушаји пре овог времена, о којима је раније било речи, као и околност да су некадашње опште кефалије биле личности блиске владајућој династији, показују да је Кантакузинова политика почивала на јасно израженим преседанима, али и да се у многоме одвојила од њих, огласивши тако долазак једне нове епохе.[101]

---

[100] В. исто, 2 сл., где је наведена и литература о географији Византије овог времена.

[101] Значај Кантакузинове владе за развитак читавог система апанажа већ је не само уочен, него и опште прихваћен. Уп. *Острогорски*, Историја 490; *Zakythinos*, Desp. II, 74; *Barker*, Appanages 110 sq.

Већ на почетку грађанског рата могло се уочити, на примеру Јована Анђела, да Кантакузин приступа организовању својих територија на један посебан начин. Истина, овај намесник Тесалије носио је достојанство кефалије и није био царев син. Али његов доживотни положај, видели смо, ближи је положају каснијих апанажиста, него дотадашњих кефалија. Именовање Јована Анђела може се стога сматрати прелазним решењем које је, уосталом, брзо напуштено. Јер, у свим каснијим сличним случајевима Кантакузин је отворено иступао као заточник принципа породичне владавине у дословном смислу речи. То не значи, међутим, да је случај Анђела био усамљен у време када је дошло до његовог постављења.

Како сам Кантакузин саопштава у свом делу, његов млађи син Манојло постао је 1343. гувернер једног ширег подручја са центром у Верији (Βεῤῥοίας καὶ τῶν ἄλλων πολιχνίων).[102] Коментар пишчев уз ову вест врло је значајан, јер на један посредан начин, кроз опис заједничке војне команде под приматом царевог сина, садржи поређење Манојловог положаја са положајем Јована Анђела.[103] То је сасвим разумљиво ако се узме у обзир да је Манојлова област, због своје истурености према српској држави, имала значајну стратегијску улогу у доба када су се покварили доскорашњи срдачни односи Кантакузина и краља Душана. Осим тога, њено пространство је, по свој прилици, знатно превазилазило обим уобичајене административне јединице у Верији.[104] Вероватно би ствари биле јасније да је Манојло успео да се дуже одржи у овом граду, који Срби заузимају већ 1345. или 1346. године.[105]

Прилично су нејасни и подаци о положају Матије, старијег Кантакузиновог сина који је 1343. године добио управу над Комотином, Грацијаном и неким другим трачким градовима. На овој дужности Матија је у мемоарима свога оца означен као архонт, што само по себи не представља довољно објашњење.[106] Али с обзиром да је и Манојло у Верији био архонт, као и да су области оба брата сличне једна другој по саставу, будући да је свака обухватала више утврђених места, могуће је повући паралелу између положаја једног и другог Кантакузиновог сина. Такође, изгледа да су Матијина овлашћења, као што се запажа и у Манојловом случају, превазилазила овлашћења обичног управника провинције. Кантакузин на једном месту каже да је послао старијег сина да држи (κατέχειν) Комотину и остале тврђаве, а то је израз који подра-

102 Cant. III 64: II 391. 16—18 (ἄρχων); Greg. XIII 10: II 673. 1—2 (ἐπίτροπος). Уп. *Г. Х. Хионидис*, Ἱστορία τῆς Βεροίας, τῆς πόλεως καὶ τῆς περιοχῆς II, Βυζαντινοὶ χρόνοι, Солун 1970, 45, 89 sq.

103 Cant. III 64: II 391. 16—20:... καὶ Μανουὴλ τὸν νεώτερον τῶν υἱῶν Βεῤῥοίας καὶ τῶν ἄλλων πολιχνίων, ἃ προσεχώρησαν αὐτῷ, ἀποδείξας ἄρχοντα, συστήσας δὲ αὐτῷ καὶ Ἄγγελον τὸν ἀνεψιόν, ὃς Θετταλίας πρότερον ἐνεχειρίσθη τὴν ἀρχήν, καὶ κελεύσας, ἤν τι δέωνται, ἑκάτερος ἀλλήλοις ἐπιμαχεῖν.

104 Уп. *Максимовић*, Управа 35 сл.

105 Уп. *К. Јиречек*, Историја Срба, I, Београд 1952², 230; *Ј. Војазидис*, Τὸ Χρονικὸν τῶν Μετεώρων, Ἐπ. Ἑτ. Βυζ. Σπ. 1 (1924) 166 sq.; *А. Е. Вакалопулос*, Ἱστορία τῆς Μακεδονίας 1354—1833, Солун 1969, 11 sq.; *Хионидис*, о. с. 47. *Nicol*, Cantacuzenus 123 помера пад Верије чак у 1347. годину.

106 Cant. III 69: II 427. 5—7.

зумева постојање ширих права од оних која припадају класичном државном чиновнику.[107]

Сличан описанима је и случај Манојла Асена, брата Кантакузинове жене Ирине, и његовог сина Андроника Асена. Протостратор (касније и деспот) Манојло је око 1344. године био, као и Матија и Манојло Кантакузини, архонт града Визије и πολίχνια οὐκ ὀλίγα.[108] На том положају Манојла су могли, као и Јована Анђела у Тесалији, да наследе његови потомци: следећи господар Визије био је његов син, севастократор Андроник, што несумњиво указује на тенденцију стварања једне породичне апанаже.[109]

На основу свих наведених примера из Кантакузиновог доба има доста разлога за тврђење да је његова династичка политика, колико год се брзо развијала, прошла кроз један прелазни стадијум који подразумева разбијање извесних старих административних оквира и пре стварања правих апанажа.[110] Овај стадијум брзо је превазиђен. Описана ситуација знатно се мења, бар за Кантакузинове синове, од 1347. године, од тренутка победе кантакузиновске странке у грађанском рату. Апанаже тада добијају свој прави изглед и праву улогу; почиње да се образује читав систем области које се истовремено налазе у поседу и под управом појединих чланова царске породице.

Први прави држалац апанажа из средине XIV века био је старији Кантакузинов син Матија који је, као што је показано, већ четрдесетих година управљао једном пространом облашћу у Тракији, и то са врло широким овлашћењима. После победе његовог оца у грађанском рату, Матија је током 1347. године покушао, наговаран са више страна, да у већем делу Тракије, око Димотике и Једрена прогласи своју власттиту

---

[107] Cant. III 67: II 415. 13—16. — *Nicol*, Cantacuzenus 109 ограничава се да Матијину управу коментарише као војну команду, што је свакако био један од њених основних задатака.

[108] Cant. III 79: II 491. 14—18.

[109] Заслуга је *Никола*, о. с. 84 што је данас сигурно да је онај Андроник Асен који је, као господар Визије, притекао ујесен 1354. у помоћ Кантакузину (Cant. IV 40: III 293. 24—294.1), био управо син Манојла Асена, а не Кантакузинов таст, како се раније претпостављало. Никол је такође установио (p. 77) да је Манојло Асен управљао делом Тракије око Визије још 1351. године. Могуће је да је до преношења власти на сина дошло у вези са напредовањем самог Манојла — 1353. постао је деспот (за датум в. *Ферјанчић*, Деспоти 47).

[110] Можда се са описаним случајевима може упоредити и положај Кантакузинова зета, деспота Нићифора, који је бар од 1351 (*Nicol*, Cantacuzenus 131) био θρακικῶν πόλεων ἄρχων (Cant. IV 28: III 211. 12—14), Αἴνου τῆς πόλεως ἦν ἐπίτροπος (Greg. XXIX 38: III 249. 3—4). Тако чини *П. Калиїас*, Μελέται βυζαντινῆς ἱστορίας ἀπὸ τῆς πρώτης μέχρι τῆς τελευταίας ἁλώσεως (1205—1453), Атина 1894, 536. Ипак, *Nicol*, о. с. 131 је у праву кад Нићифора назива само „...governor of the thracian cities", мада постоји и један недовољно прецизан податак код Кантакузина, који оправдава постављање питања о карактеру тог гувернерства. Наиме, једном приликом Нићифор је послао Кантакузину војничку помоћ против Ђеновљана и то „... πρὸς συμμαχίαν" (Cant. IV 28: III 211.17), као да је неки полунезависни држалац апанаже, а не управник провинције. На жалост, за сигурније решење у овом смислу било би потребно да располажемо са више података, и то знатно подробнијих од наведеног.

кнежевину.[111] За Кантакузина је, пак, присуство Матије у Тракији, на челу једне велике и снажне области, било неопходно да би се створила — парафразираћемо слободно Нићифора Григору — брана која ће обезбедити сигурност државе пред бескрајним морем Срба (Трибала).[112] Тако је споразум оца и сина постао неминован и крајем године Матији је на управу додељена област између Димотике и предграђа Христопоља, која се у дубину копна протезала до изнад града Ксанти.[113] У то време Матија је имао врло неуобичајено достојанство „изнад деспотског, а непосредно иза царског," оно исто које је некад носио Константин, син Михаила VIII Палеолога.[114] И као што је за Константина било предвиђено да влада Солуном као полунезависан владар, тако је и Матија, такође царски син и прва по рангу личност после цара, добио Тракију као доживотну аутономну кнежевину — апанажу (ἔπραττε καὶ ἅμα τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἀποτεμόμενος μέρος ἡγεῖσθαι διὰ βίου παρεῖχεν, οἱονεί τινα σατραπικὴν καὶ αὐτόνομον ἡγεμονίαν).[115] Колико је новостворена ситуација имала мало везе са административним устројством државе и колико је Матијин положај, налазећи се изван њеног чиновничког апарата, имао више приватни него званични карактер, најбоље се види из чињенице што је сам Кантакузин област свога сина назвао пронијом.[116]

---

[111] Cant. IV 7: III 47. 2—5 (ἰδίαν ἡγεμονίαν); Greg. XVI 2: II 801. 13—16 (οἰκείαν βασιλείαν), који подвлачи да је само Кантакузинова личност требало да представља спону ка Цариграду. Cf. *Nicol*, Cantacuzenus 110. Матија Кантакузин је имао разлога да буде незадовољан својим оцем, јер после победе над Јованом V није добио обећану царску титулу. Он ни касније није уживао нарочито очево поверење, што се лепо види у предности коју је Кантакузин у важним моментима давао млађем сину Манојлу. Уп. *Љ. Максимовић*, Политичка улога Јована Кантакузина после абдикације (даље: *Максимовић*, Кантакузин), ЗРВИ 9 (1966) 155 сл.

[112] Greg. XVI 4: II 815. 19—23. О важним војничким задацима који се у Тракији налазе пред Матијом после 1347. године уп. *Lemerle*, Philippes 200 sq.; *Nicol*, Cantacuzenus 111 sq.

[113] За читаву ову историју в. Cant. IV 7—8: III 47—49; Greg. XVI 2—5: II 798—819. О границама Матијине области Greg. XVI 4: II 814. 17—18; Cant. III 26: II 161. 10—14 [Мора, Родопи, Халкидика (Волерон)]. — *Lemerle*, Philippes 200 n. 3 са разлогом закључује да из Григориног израза „до предграђа Христопоља" произлази да овај град није био у саставу области Матије Кантакузина (сличан закључак *Ст. Киријакидиса*, Βυζαντιναὶ Μελέται IV, 309 за Димотику није довољно убедљив). Ситуацију око Христопоља коначно је разјаснио, ставивши је у оквире српско-византијских односа и доказавши да Срби држе овај град, *Острогорски*, Серска област 26. и, нарочито: Христопољ између Срба и Византинаца, Зборник Фил. фак. у Београду 8/1 (1964) 333—340.

[114] Cant. IV 5: III 33. 5—7.

[115] Greg. XVI 4: II 814. 13—15. Врло слично и Cant. IV 8: III 48. 20—21, док Григора на једном месту говори и о ἐπιτροπή (XVI 2: II 798. 22—23). Најзад, Кантакузин је употребио и израз ἀρχή да означи Матијин положај (Cant. IV 10: III 66. 17). Данас је опште мишљење да Тракија у рукама Матије Кантакузина представља класичну византијску апанажу. Уп. *Острогорски*, Историја 490; *Lemerle*, Philippes 200; *Nicol*, Cantacuzenus 110; *Barker*, Appanages 111. — Треба истаћи да израз ἡγεμονία код Псеудо-Кодина, у вези са повременом службом носилаца највиших достојанстава (деспот, севастократор, кесар), служи за означавање главних командних положаја у војсци (ed. *J. Verpeaux*, Paris 1965, 167. 3—6).

[116] Cant. IV 7: III 47. 19—20.

Кантакузинов млађи син Манојло постао је такође, нешто касније од свог брата, држалац једне велике апанаже која се састојала од византијских поседа на Пелопонезу. И ово именовање, као и Матијино, било је непосредно изазвано опасностима које су Царству претиле на подручју на које се односило, само што је у Мореји стање било тако очајно, услед упада турских гусара и латинских кнежева и услед крвавих међусобица грчких великаша, да је до губитка ове значајне провинције могло доћи сваког тренутка.[117] Стога је одлазак деспота Манојла у Мореју 1349. године био врло нагао и изведен на брзину, али је резултат био трајан.[118] Не само да је Манојло држао Мореју као изразито аутономну апанажу до своје смрти 1380. године, него је ова покрајина такав статус задржала све до пада под Турке 1460. године.[119]

Треба истаћи да слање Манојла Кантакузина у Мореју није било инспирисано само тренутним невољама, нити је било замишљено као привремено административно решење, коме је тек каснији политички развитак дао ново и трајно обележје.[120] Кантакузин у свом извештају о овом догађају, после описивања стања на Пелопонезу, дословно каже: „... цар је намислио да створи једну пронију од (пелопонеских) градова и села. Немајући старијег сина уза се, послао је са бродовима (другог) сина, деспота Манојла, да управља Пелопонежанима и створи моћну пронију" [πρόνοιάν τινα αὐτῶν (sc. градова и села) ποιήσασθαι ἐσκέψατο ὁ βασιλεύς. Μείζω δὲ οὐκ ἔχων, τὸν υἱὸν ἔπεμψε δεσπότην τὸν Μανουὴλ τριήρεσιν, ἄρξοντα Πελοποννησίων καὶ πρόνοιαν ποιησόμενον τὴν δυνατήν].[121] Повезано са досадашњим нашим разматрањима, цитирано место постаје доказ да су у мисији Кантакузиновог млађег сина временски и персонални фактор

---

117 Cant. IV 13: III 85. 3—10. Cf. *Zakythinos*, Desp. II, 71 sq.

118 Наглост Манојловог одласка у Мореју посведочио је сам Кантакузин (IV 13: III 85. 11—12). О датирању овог догађаја постојале су бројне контроверзе (1348. или 1349), али је данас утврђено да је у питању 1349. година. Уп. *Максимовић*, Кантакузин 147 н. 31; *Nicol*, Cantacuzenus 123.

119 Како подвлачи *Zakythinos*, Desp. I, 93 sq.; II, 46 sq. Мореја је до Манојловог времена била провинција са гувернером на челу, а од тада се претвара у апанажу млађих чланова владајуће породице, Кантакузина и Палеолога, при чему унутрашње административно устројство, бар у прво време, није претрпело никакве промене. За Манојлову владавину в. нарочито *Zakythinos*, Desp. I, 94—113; *Ферјанчић*, Деспоти 106—109, који је доказао (128 сл.) да никада није дошло до оснивања деспотата као одређеног државно-правног феномена; *Nicol*, Cantacuzenus 70, 123—128. За историју морејских апанажиста после Манојла, све до коначног турског освајања, основно дело представља *Zakythinos*, Desp. I, 114—284.

120 Овакво гледиште заступају *Zakythinos*, Desp. II, 72; *Ферјанчић*, Деспоти 106 сл. и, не тако експлицитно, *Nicol*, Cantacuzenus 123, 125. С друге стране, сам Закитинос (Desp. II, 60) сматра већ вођу експедиције на Мореју (1263/4), севастократора Константина Палеолога, неком врстом вицекраља, и то на основу једног млетачког податка из 1278:"...ad Sevastocratoram, fratrem domini Imperatoris, qui erat ibi de Morea dominus pro ipso domino Imperatore" (cf. loc. cit.). Из терминологије византијских извора није могуће одгонетнути стварни Константинов статус у Мореји. Cf. Pachymeres I, 205. 13—16; Greg. IV 1: I 80. 5—9. Уосталом, све што се зна о Константиновој каријери на Пелопонезу, упућује на закључак да је он био командант војног похода, који је због неуспеха смењен. Cf. *Zakythinos*, Desp. I, 33—40.

121 Cant. IV 13: III 85. 11—14.

били одређени тренутним сплетом политичких околности, али да је принцип на коме је требало да убудуће почива власт новог морејског намесника већ имао трајну и општу вредност. У питању је епоха у којој апанаже нагло ничу на разним странама и за коју Манојлово именовање представља један од најкарактеристичнијих примера. Сам Кантакузин својом терминологијом прати ове промене и није случајно што Манојлов положај описује наведеним изразима, а за синове Исака Асена, Михаила и Андрију, помоћу којих је Јован V желео да онемогући његово учвршћивање у Мореји, и који су несумњиво били одређени да као чиновници преузму власт у њој, употребљава другачији речник: „... били су тамо од младога цара послати да управљају Пелопонезом" (οἳ ἦσαν ἐκεῖ ὑπὸ βασιλέως τοῦ νέου ἐπιτροπεύειν πεμφθέντες τῆς Πελοποννήσου).[122] Уосталом, и област Матије Кантакузина у Тракији, коју он чак није дуго ни држао, од самог почетка има карактер апанаже. Не каже узалуд каснији хроничар, Псеудо-Сфранцис, говорећи о овим годинама, да су Кантакузини приграбили сву власт [βουλόμενος (sc. Кантакузин) ἵνα πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ ἀρχὴν ὑφ' ἑαυτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ κλῆρον ποιήσῃ].[123] Разуме се да су елементи карактеристични за власт свих апанажиста, па и Манојла Кантакузина, временом постајали јаче изражени, али то не обеснажује чињеницу да су они од почетка били присутни у начину његовог управљања Морејом.

За владавине Јована VI Кантакузина (1347—1354), његови синови први су постали држаоци великих апанажа, али убрзо им се придружио и владар у сенци — Јован V Палеолог. Видели смо да је он почетком педесетих година XIV века боравио у Солуну, али и да је тешко да само на основу ове чињенице буде сврстан међу остале апанажисте (в. горе, нап. 97). Но, и ако Солун оставимо по страни, Јован V био је лично и непосредно умешан у историју настанка апанаже владарске породице у Тракији. Желећи вероватно да успостави своју власт на домак престонице, а налазећи се под сталним притиском своје незадовољне околине, он је 1351. године затражио од Кантакузина на поклон апанажу коју би сачињавали град Енос и читава област Матије Кантакузина у Тракији.[124] Из овог захтева поникао је нешто касније војнички сукоб између Матије и Јована V, који је Јован VI Кантакузин, отац једног и таст другог

[122] Cant. IV 13: III 89. 4—6 (читава акција: pp. 88. 23—90.15). Разлика је упадљива, јер оба цитирана места припадају истом одломку Кантакузиновог текста. Григорино казивање не противречи Кантакузиновом, иако он говори о Манојловој „управи": δεσπότης τὸ ἀξίωμα ὤν, ἐς Πελοπόννησον πέμπτον ἔτος ἤδη τῶν ἐκεῖ ῥωμαϊκῶν χωρίων καὶ πόλεων τὴν ἐπιτροπὴν διοικῶν (Greg. XXIX 38: III 248. 23—249.2). Јер, показано је овде (нн. 96, 115) да термини епитроп и епитропија имају широк дијапазон значења, у који и апанаже могу бити укључене.

[123] Pseudo-Sphrantzes, ed. *V. Grecu*, Bucuresti 1966, 182. 34—35.

[124] Cant. IV 27: III 208. 14—17. — *Nicol*, Cantacuzenus 112 сматра да се захтев Јована V односио само на део Матијине апанаже са Еносом. Међутим, из Кантакузиновог текста несумњиво произлази да је затражен Енос и сви халкидички градови (област Волерон) у рукама Матије (τὰς τῆς Χαλκιδικῆς πόλεις, ἃς Ματθαῖος ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς εἶχεν). Ствар постаје сасвим јасна из једног другог одломка, у коме се за Матију каже:"... τῶν κατὰ τὴν Χαλκιδικὴν πόλεων ἔχων τὴν ἀρχὴν (Cant. IV 10: III 66. 16—17).

супарника, покушао да реши на миран начин, иако је учествовао у ратним операцијама на синовљевој страни. Предлог старога цара, пренет преко царице Ирине, предвиђао је да Матија убудуће држи Једрене, а Јован V да добије Димотику са дотадашњим Матијиним поседима, чиме би била извршена подела Тракије. До трајнијег споразума на овој основи није дошло, јер је Јован већ 1352. био принуђен да прекине борбу, а почетком следеће године се повукао са женом на Тенедос.[125] Матија Кантакузин је убрзо затим проглашен за цара и Јован V ову двоструку неправду никад није могао да преболи. Тако се десило да је по повратку на власт (крајем 1354), мада је обећао Кантакузину да ће Матија доживотно остати аутономни владар Једрена и родопског краја, Јован искористио прву згодну прилику да се освети, али и да се ослободи незгодног супарника чије су се области протезале готово до под зидине престонице. После Матијиног неуспелог сукоба са Србима, у коме је био заробљен и затим предат Византинцима, Јован V је не само одузео свом вечитом непријатељу његову област, него га је и у затвору задржао (1357).[126]

Силазак Јована Кантакузина са престола није донео никакав застој у политици додељивања апанажа. Напротив, следећих деценија Палеолози коначно учвршћују принципе ове политике, чиме је била доказана њена оправданост и прилагођеност захтевима времена. Тако друга половина XIV века познаје читав један добро уходани систем апанажа, без којих се живот државе више не би могао ни замислити. У Мореји се дуго одржава власт апанажиста из породице Канатакузина — Манојла, Матије, његовог сина (Димитрија?) —, по свој прилици до краја 1383. године.[127] Од тада, па све до турског освајања 1460. године, њих наслеђује читав низ апанажиста из дома Палеолога, носилаца деспотске титуле: Теодор I, Теодор II, Константин, Тома и Димитрије.[128] За означавање њихове владавине, као и владавине једног апанажисте изван Мореје (в. нап. 130), писац кратке хронике из овог доба употребљава глагол δεσπόζειν, што указује на самосталност коју су имали сви држаоци апанажа у управљању својим областима.[128a]

У Солуну, као што смо видели, након више покушаја да обласни гувернери буду замењени држаоцима апанажа, ова смена коначно је извршена 1369. године, када деспот, а ускоро и цар, Манојло Палеолог отпочиње своју дугу и готово самосталну владавину у Македонији.[129]

---

[125] Cf. *Nicol*, Cantacuzenus 112 sq.

[126] За обећање које је Јован V дао Кантакузину у вези са Матијом в. Cant. IV 40: III 292. 16—21. О читавој овој епизоди уп. *Максимовић*, Кантакузин 148 сл.; *Nicol*, Cantacuzenus 115 sq.

[127] Најбољи и најисцрпнији преглед владавине Кантакузинâ у Мореји даје *Zakythinos*, Desp. I, 94—118. Уп. и *Nicol*, Cantacuzenus 118 sq.; 123 sq., а за сам крај њихове владе и *Максимовић*, н. д. 182 сл.

[128] В. нарочито *Zakythinos*, Desp. I, 119—284; *Ферјанчић*, Деспоти 110—126.

[128a] Chronicon breve de Graecorum imperatoribus, ed. *R.—J. Loenertz*, Ἐπ. Ἑτ. Βυζ. Σπ. 28 (1958) 212. 115—116.

[129] Истина, тек 1371. Манојло добија овлашћење за доживотну управу Солуном (*Острогорски*, Историја 502 н. 2). Осим тога, он је, у ствари, двапут владао Солуном: 1369—1373 — као деспот, 1382—1387 — као цар (*Dennis*, Manuel 3). У међу-

Затим долази период турског господства над Солуном (1387—1403). Али чим је град био враћен у руке Византинаца, мировним уговором између Манојла II и султана Сулејмана, поново је успостављена и апанажа породице Палеолог: прво цара Јована VII (1403—1408), а затим деспота Андроника (1408—1423), који је Солун предао Млечанима да се више никада не врати под скиптар византијских царева.[130]

Ни Тракија, област у којој је некад била створена прва апанажа породице Кантакузин, није остала по страни у доба све већег ширења ове институције. Пред крај XIV века позната су двојица апанажиста са царском титулом, Андроник IV и Јован VII (каснији господар Солуна), који један за другим између 1381. и 1399. године управљају из Селимврије са више трачких градова — Данион, Хераклеја, Радест, Панидос.[131] Нарочито је значајно што је Андроникова власт над овим градовима потврђена једним формалним уговором 2. XI 1382, као да се радило о неком међудржавном споразуму или споразуму какав су, делећи империју, закључили својевремено Андроник II и Андроник III (в. горе, стр. 106 сл).[131a] То је био тренутак када је систем апанажа доживео пун замах, јер власт Јована V била је практично ограничена на Цариград, док су остале византијске земље држали Андроник — обалу Мраморног мора, Манојло – Солун и Теодор — Мореју.[131b] У овом систему Селимврија и околни градови нашли су своје стално место, и у XV веку тим подручјем господарили су деспоти Константин Драгаш, Теодор II и Димитрије.[131c]

Острво Лемнос такође је, бар за XV век је то извесно, било апанажа. Њиме је између 1429/30. и 1449. године у два наврата господарио деспот

времену, на челу града изменила су се бар два чиновника: велики примикирије Факрас и велики доместик Димитрије Палеолог. Cf. Démétrius Cydonès Correspondance, ed. *R.—J. Loenertz*, I, Città del Vaticano 1956, Nr 77, 25—26 et p. 175; Nr 188. Ово међувлашће, проистекло из посебних услова грађанског рата, не обеснажује закључак да са Манојловом владом Солун коначно постаје апанажа. Најисцрпније о његовој епоси: *Dennis*, Manuel, passim; *Barker*, Manuel 9 sq. Манојлови односи са Цариградом, били затегнути или срдачни, подсећају на односе са неком страном државом. Cf. *Dennis*, o. c. 108—113.

[130] Cf. *G. Ostrogorsky*, Byzance, Etat tributaire de l'Empire turc, ЗРВИ 5 (1958) 54 sq. (= Сабрана дела III, 383 сл.); *Ферјанчић*, Деспоти 97 сл.; *исти*, Деспот Андроник Палеолог у Солуну, Зборник Фил. фак. у Београду 10/1 (1968) 227—235.

[131] Литература о овој апанажи и њеним држаоцима врло је богата, па наводимо само најважније: *F. Dölger*, Johannes VII, Kaiser der Rhomäer, BZ 31 (1931) 31; *P. Charanis*, Les Βραχέα Χρονικά comme source historique, Byz. 13 (1938) 354—55; *Zakythinos*, Desp. II, 74 sq.; *Dennis*, Manuel 41 sq. Изгледа да је нешто раније Јован V и за сина Михаила образовао једну апанажу са центром у Месемврији, али се о томе врло мало зна, јер је Михаилов краткотрајни живот уопште слабо познат. Cf. *Papadopulos*, Genealogie Nr 87; *Dennis*, Manuel 27; *Ферјанчић*, Деспоти 43 сл., 151 сл.; *Barker*, Appanages 114 sq.

[131a] За овај уговор (издање копије и коментар) в. *R.—J. Loenertz*, Manuel Paléologue et Démétrius Cydonès. Remarques sur leurs correspondances, Echos d'Orient 36 (1937) 287, 477; *idem*, Fragment d'une lettre de Jean V Paléologue à la commune de Gênes 1387—1391, BZ 51 (1958) 37 sq.

[131b] Велики значај овог момента лепо подвлачи *Острогорски*, Историја 505. В. и *исти*, Aristocracy 41 sq.

[131c] Уп. *Ферјанчић*, Деспоти 114, 123.

Димитрије Палеолог чија је лична историја посебно занимљива, јер је наизменично поседовао апанаже у разним крајевима Царства: осим на самом Лемносу и трачким острвима, још и на црноморској обали и у Мореји.[132]

Готово све наведене апанаже, као што се види, претвориле су се временом у сталне институције, што је само по себи утицало да се, сукцесивним смењивањем, јако умножи број њихових држалаца. Али број држалаца апанажа од средине XIV века расте и из других разлога.

С једне стране, долази до повремених подела пространих апанажа међу царским синовима. Већ за владе Јована VI Кантакузина јавља се идеја о подели Тракије између Матије Кантакузина и Јована V Палеолога и само је неуспех потоњег на бојном пољу онемогућио устаљивање двеју апанажа у овој покрајини. Сличне деобе узеле су нарочитог маха у Мореји. Први покушај у том правцу, истина неуспешан, учинио је Матија Кантакузин. За време своје краткотрајне владавине у Мистри (1380—1383), он је био под јаким и непосредним утицајем оца који се тада такође налазио на Пелопонезу, те није предузимао неке самосталније политичке потезе.[133] Парадоксално је зато, али и психолошки сасвим разумљиво, да једини његов познати самостални иступ представља преношење власти над делом Пелопонеза једном од синова, Димитрију или Јовану.[134] Овај се затим оружјем супротстављао успостављању власти Палеолога у Мистри, тежећи да сам преузме управу над читавом византијском Морејом, али је на сцени остао сасвим кратко.[134a] У XV веку поделе некад јединствене морејске апанаже постају много чешће. Ове деобе, међутим, нису угрожавале основне црте њене физиономије, будући да никад нису довеле у стварну опасност централну улогу Мистре. До стварања прве трајније паралелне (уз Мистру) апанаже на Пелопонезу дошло је 1428. године, када је деспот Константин Драгаш, разочаран у нади да ће наследити читаву Мореју од брата Теодора који је требало да се замонаши, добио обештећење у виду мираза уз руку Магдалене, нећаке моћног западног великаша Карла I Тока. Овим поседима прикључени су убрзо још значајнији: Патрас, који је сам Константин повратио Византинцима 1429. године, а затим је деспот Теодор уступио брату више тврђава (међу којима Каламату и Итому) и град Востицу. Ту апанажу Константин је држао до 1432. године, да би затим ступио у дуге и сложене замене за апанажне поседе своје браће у Мореји или на црноморској обали, све док 1443. године није коначно добио главну морејску апанажу са седиштем у Мистри.[135] Истовремено, ни остала браћа — синови Манојла II Палеолога — нису без сопствених апанажа на Пелопонезу. Крајем двадесетих и почетком тридесетих година XV века

[132] Уп. *Ферјанчић*, Деспоти 122—126 (где је дат и преглед старије литературе); *N. Oikonomidès*, Actes de Dionysiou, Paris 1968, 137, 153, 157 sq.

[133] Уп. *Максимовић*, Кантакузин 183 сл.

[134–134a] Cf. *Zakythinos*, Desp. I, 117—118. На ову тему наука се затим често враћала све до *Nicol*, Cantacuzenus 157 sq.

[135] За историју Константинових апанажа уп. *Zakythinos*, Desp. I, 204 sq.; *Ферјанчић*, Деспоти 116 сл., који прате догађаје у појединостима.

деспот Тома, пети од шесторо браће, држао је бар Калавриту са околином, да би је 1432. заменио за део дотадашњих Константинових територија, а 1449. постао и господар северозападних делова Пелопонеза са центром у Патрасу.[136] Најзад, најмлађи брат Димитрије, те исте 1449. године, успоставио је своју власт у југоисточној Мореји, са Мистром као главним градом.[137]

Други пут који води порасту броја апанажа огледа се у томе што и изван апанажа најужег круга царске породице извесни крупни поседи постају сличнији њима него велепоседима у правом смислу речи. Ова промена, чији се почеци могу запазити већ пред крај XIII столећа на примеру великог дукса Ликарија (в. стр. 122), наступа услед проширених компентенција државаца оваквих поседа, као и због укључивања читавих административних јединица у њихове границе. Најјаснији пример оваквог развоја представља познати случај два брата, побочних чланова породице Палеолога, великог стратопедарха Алексија и великог примикирија Јована.[138] Њима је пошло за руком да енергичним војним акцијама поврате Византији, између 1356 (или почетка 1357) и фебруара 1358. године, острво Тасос и, насупрот острву, приморске градове Хрисопољ, Анакторопољ и Христопољ. Уследила је значајна награда. Оба брата обдарена су наведеним високим титулама, а освојене територије, изузев Христопоља, предате су им у власништво (κατὰ λόγον γονικότητος). У Христопољу су Алексије и Јован добили право управљања градом (πρόσκαιρος ἀρχή), како изгледа без власничких права, али је у науци већ примећено да њихови поседи чине јединствену целину која се, у ствари, не разликује много, чак и после смрти Алексијеве, под Јовановом самосталном владом, од других апанажа тог времена — Мореје, Солуна или Тракије.[139] Разуме се да споменуте промене нису донеле аутоматско ишчезавање дотадашње управне организације. Јер, од две познате административне јединице на овој територији — Хрисопоља и Христопоља, бар за прву знамо да се дуго одржала, чак и после смрти старијег брата Алексија, будући да се још 1378. спомиње један кефалија Хрисопоља.[140]

Стварни положај Алексија и Јована откривају многи детаљи који се односе како на њихов формалан статус, тако и на њихово политичко деловање, укључујући и њихов начин иступања према Светој Гори, карактеристичан за независне владаре (оснивање манастира Пантокра-

---

[136] Cf. *Zakythinos*, Desp. I, 221 sq.; *Ферјанчић*, Деспоти 118, 120 сл., 125.

[137] Cf. *Zakythinos*, Desp. I, 241 sq.

[138] Већина чињеница о каријери Алексија и Јована биће изнета, овде и на другим местима, на основу изврсних истраживања *Lemerle-a*, Philippes 206—213 и, нарочито, *Осшроīорскоī*, Серска област 28—31, 147—154 (= СД IV, 467—471, 615—24).

[139] Cf. *Zakythinos*, Desp. II, 75; *Осшроīорски*, н. д. 147 (615); *idem*, Aristocracy 25 sq. Међутим, турско напредовање нанело је тешке ударце овој апанажи, тако да је пред крај живота млађег брата Јована, судећи према његовом тестаменту (1384), била, изгледа, сведена на о. Тасос (cf. *Ostrogorsky*, loc. cit.).

[140] Actes de Chilandar, I. Actes grecs, ed. *L. Petit*, Виз. Врем. 17 (1911) Nr 157, 51. Уп. *Максимовић*, Управа 32, 47 сл.

тор, одбрана Свете Горе од Турака после Маричке битке и то без помоћи Цариграда). Како су ови детаљи махом познати (уп. нап. 138, 139), неки од њих су овде малочас само дотакнути, а о другима уопште неће бити речи. Треба, међутим, скренути пажњу на неколико изворних података који непосредно указују на став савременика према Алексију и Јовану.

Априла 1357. године Јован V хрисовуљом је потврдио моћној браћи поседовање једне келије. Два момента у вези са овим документом посебно су занимљива. Прво, у њему се помињу διάδοχοι καὶ κληρονόμοι Алексија и Јована,[141] што показује да их цар не сматра само великашима, него и правим кнежевима који управљају сопственим областима. Друго, с тим у вези сасвим је разумљиво што се у повељи не помиње будуће узнемиравање нових поседника келије од стране чиновника или било ког другог лица, што је иначе уобичајена формула у документима ове врсте. Очигледно, у случају Алексија и Јована овакво обезбеђење било је излишно. Зато није чудновато ни велико поштовање и покорност са којима им се грађани подложних градова обраћају: πρὸς τοὺς ἁγίους ἡμῶν αὐθέντας τόν τε μέγαν στρατοπεδάρχην καὶ τὸν μέγαν πριμμικήριον.[142] Зато није чудновато ни када се у једном савременом документу управа Алексијева назива κυβέρνησις τοῦ μεγάλου στρατοπεδάρχου.[142a] Али границе овакве независности нису никако у тој мери широке, да би ишчезле свакодневне манифестације царевог суверенитета. Забележено је, наиме, у светогорским документима да браћа Алексије и Јован током читаве своје владе решавају неке манастирске спорове на начин који је карактеристичан за византијске чиновнике класичног типа, спроводећи врло конкретне царске одлуке у вези са тим споровима.[143]

Историја браће Алексија и Јована Палеолога представља врло јасан и познат, али, како се чини, не и једини случај појаве апанаже чији држалац није био владарски син. Нека слична творевина, знатно мања, а можда и знатно другачија, изгледа да може да се веже за Монемвасију друге половине XIV века. У то време, већ скоро два века, сву власт у граду држе породице Мамонас, Евдемонојанис и Софијан, чији понеки припадници и на другим странама учествују у јавном животу.[144] Али, бар у последње две деценије столећа, ако не и раније, власт над Монемвасијом и околином сконцентрисала се у рукама Мамонаса.

---

[141] Actes du Pantocrator, ed. *L. Petit*, Виз. Врем. 10 (1903) Nr 2, 12—14.

[142] Actes de Zographou (grecs), edd. *W. Regel - E. Kurtz - B. Korablev*, Виз. Врем. 13 (1907) Nr 41, 6—7 (1358). Скоро идентично и Zogr. Nr 42, 7—8 (1358).

[142a] Pantocrator, ed. cit., Nr 4, 23, 26 (1363).

[143] Доста богат материјал остао је о учешћу браће у чувеном спору Хиландара и Зографа око млина. Још 1358. оба брата су, на основу царске наредбе, испитивала овај спор (Zogr. Nr Nr 40, 41, 42), али су читаву ствар привели крају, опет по непосредним царевим инструкцијама, Јован и светогорски прот Харитон тек 1378. године (Zogr. Nr Nr 47, 48, 49).

[144] Уп. *Максимовић*, Управа 13, где су изнети примери и одговарајући библиографски подаци.

Један од њих, један велики дукс, са успехом се супротставио 1384. године деспоту Теодору Палеологу, када је овај поклонио град Млечанима, али је његовог сина и наследника Павла, такође великог дукса, деспот ускоро успео силом да уклони с пута и да тако оствари свој план (пре 1395).[145] Већ сама чињеница да Мамонаси наследно држе Монемвасију врло је значајна, али посебну пажњу треба обратити на узгредне карактеристике Павлове владе у тзв. хроници Псеудо-Сфранциса. Говорећи о Павловом сину Григорију, последњем изданку куће, Псеудо-Сфранцис каже да је умро 1407. године као кефалија (κεφαλατεύων) неког трачког града на обали Црног мора, и на тај начин подвлачи разлику између његовог положаја и положаја самог Павла, на кога се односе следеће речи „... υἱὸς (sc. Григорије) τοῦ μεγάλου δουκὸς Μαμωνᾶ (sc. Павле) τοῦ κυριεύοντός ποτε τῆς Μονεμβασίας καὶ τῶν περὶ αὐτήν."[146] Исти аутор на другом месту још је много прецизнији у овом смислу, јер истиче да је Павле, узимајућн дуготрајност своје власти као разлог, почео да претвара град у сопствено имање (διὰ δὲ τὸ μάκρος τοῦ χρόνου, ἀφορμὴν εὑρών, περιποιεῖτο τὸ ἄστυ ὡς κτῆμα ἴδιον).[146a] Дакле, бар последњи наследни господар Монемвасије управља другачије него његов син или неки други гувернер у државној служби. Његов статус се зато може сматрати врло сличним статусу једног апанажисте, мада жалосна скромност изворних података онемогућава извођење категоричног закључка.

V

Од средине XIV века, као што је показано, практично читава територија Византијског Царства била је прекривена апанажама. Пред крај истог столећа готово да више није било изузетка од овог правила. Тако су створени услови да апанаже изврше одлучујући утицај на преображај карактера државе, заузимајући једно од најистакнутијих места међу чиниоцима који су у епоси Палеолога деловали у истом смислу.

Као производ феудалне епохе, апанаже својим развојним путем и својим карактерним особинама показују моменте који су заједнички за византијски феудализам у целини. Дуга историја њиховог настанка указује на процес постепеног сазревања који је трајао готово колико и процес стварања феудалног друштва, а њихова изградња завршена је кад и изградња тог друштва. Како је за феудализам у Византији карактеристично непрекидно приватизовање јавних институција и послова, као и непрекидно јачање власти приватних поседника, није необично што је и власт апанажиста била у основи приватна.[147] Институција

[145] Cf. *А. Милијаракис*, Οἰκογένεια Μαμωνᾶ, Атина 1902, 30 sq.; *Zakythinos*, Desp. I, 125.

[146] Pseudo-Sphrantzes, ed. *V. Grecu*, Bucureşti 1966, 248. 6—7.

[146a] Ibid., 198. 10—11.

[147] Одавно је скренута пажња на овај моменат (*O. Tafrali*, Thessalonique au XIVᵉ siècle, Paris 1913, 50; *Stein*, Untersuchungen 23), али су изостали кораци ка његовом ширем изучавању.

апанажа не постоји у византијској државно-правној теорији, јер у суштини представља резултат увођења породичне владавине над државом. У доба друштвено-економске кризе и кризе државног механизма, то је био једини начин да се, из локалних извора, обезбеди издржавање династије и војске, као и да се поједини делови Царства чвршће вежу за Цариград.[147a]

Приватни карактер апанажа огледа се у многим појавама из њиховог живота. Једну од највидљивијих представљају размене апанажа и, с тим у вези, промене у њиховој структури, о чему је овде било доста речи. Већ Јован V тражио је, и добио, Кантакузинову сагласност да му се уступе области Матије Кантакузина, да би нешто касније, у потпуно измењеним приликама, и сам давао сагласност да Матији остане његова апанажа. У XV веку сличне размене постају део свакодневног живота Византије, па поједини владарски синови, као Константин Драгаш на пример, имају током своје каријере више различитих апанажа. То је, сасвим природно, одвело повећању њиховог броја, тако да се на Пелопонезу у исто време могу сусрести по две апанаже, уместо некадашње једне (Константина и Теодора, Томе и Димитрија). У таквој ситуацији нису изостали ни прави феудални ратови који се, иако представљају саставни део сукоба Кантакузинâ и Палеологâ, у ствари воде око господства над једном апанажом. Такви су били ратови Матије Кантакузина и Јована V у Тракији, Манојла Кантакузина и војсковођа Јована V на Пелопонезу, Матијиног сина и Теодора Палеолога на Пелопонезу. Наравно, сви споменути подухвати вршени су са знањем и допуштењем владара, тако да се из њих не види тачно колико су далеко ишла овлашћења апанажиста. Али, с друге стране, у XV веку деспот Константин је у два маха на своју руку ратовао због морејских поседа са братом Теодором (1428, 1437).[148]

Нека друга сведочанства о приватном карактеру апанажа указују и на моћ њихових држалаца. Треба се само подсетити (в. стр. 125 сл.) да је Јован Анђео добио у Тесалији наследна права, као и право да поставља провинцијске управнике нижег ранга; да је породица Кантакузина скоро четрдесет година владала Морејом као својим породичним леном, не водећи много рачуна о Цариграду; да су браћа Алексије и Јован Палеолози сами оружјем освојили, а затим држали највећи део своје апанаже на северним обалама Јегејског мора као наследни приватни посед који су могли и да завештају по својој вољи. Значај ових чињеница не умањује околност што Јован Анђео у Тесалији није био прави апанажист, него, формално, државни чиновник — кефалија; што је однос Мореје под Кантакузинима и Јована V у многоме био одређен како царевом немоћи да утиче на збивања у овој далекој, од осталих делова Царства одсеченој земљи, тако и специфичним утицајем бившег цара Јована Кантакузина на цариградску владу;[149] што су два брата Палеолога,

---

[147a] Cf. *L.,Brékier*, Les institutions de l'Empire byzantin, Paris 1970, 146; *Zakythinos*, Crise 33; *Barker*, Manuel 391 sq.; *idem*, Appanages 116 sq.

[148] В. *Ферјанчић*, Деспоти 116, 119.

[149] Уп. *Максимовић*, Кантакузин, passim.

као сви византијски великаши, стекла поседе формално на основу царске милости. Напротив, ове околности само још боље показују у којој је мери ослабљени државни организам био допуњаван или замењиван приватним везама центра са провинцијом.

За јачање власти апанажиста на приватној основи посебно је важно постојање њихових „дворана" (οἰκεῖοι), особа које су биле у личној служби држалаца апанажа, али које су обављале и различите званичне послове.[150] У ствари, однос апанажисте и ових људи, његових вазала, представља само репродукцију сличног односа између цара и његових повереника који се у изворима обележавају као οἰκεῖοι.[150a] То свакако разјашњава значај, карактер и димензије послова које је један држалац апанаже могао да поверава својим „дворанима". Практично, то су били сви управни послови. Повољна је околност што је ова чињеница добро позната, будући да се мало зна о делатности појединих таквих „дворана" који су до сада идентификовани. У читавом овом питању далеко је важније напоменути да је њихова потчињеност држаоцу апанаже несумњива,[150b] али да је она истовремено подразумевала и потчињеност цару. То није само логична претпоставка јер се дешава да се ова двострука зависност „дворана", али и свих других поданика, вербално изражава, и то вероватно чешће него што можемо да уочимо на основу малог броја сачуваних докумената. Тако је извесно, да у доба деспота Андроника (1421) сенат града Солуна сачињавају великаши (ἄρχοντες) који су истовремено οἰκεῖοι и цара (Јован VIII) и самог деспота: . . . συμπαρόντων ἡμῖν καὶ οὐκ ὀλίγων ἀρχόντων τῆς συγκλήτου τῶν οἰκείων τῷ κραταιῷ καὶ ἁγίῳ ἡμῶν αὐθέντῃ καὶ βασιλεῖ καὶ τῷ περιποθήτῳ αὐτοῦ τῷ πανευτυχεστάτῳ αὐθέντῃ ἡμῶν τῷ δεσπότῃ.[151] Аутор цитираног документа, кампанијски епископ Мелетије, не припада овом кругу, али и он назива својим господарима и цара и деспота.[151a] Идентично схватање

---

[150] За дворане апанажиста — деспота уп. *Максимовић*, Управа 18 н. 66, гл. III, § 2е. Морам да кажем да сам у том раду, сасвим узгредно, прихватио тврђење *N. Svoronos*-а, Le Serment de fidélité à l'empereur byzantin et sa signification constitutionnelle, Rev. des ét. byz. 9 (1951) 113 о постојању заклетве верности (ὅρκος) деспотима и, уопште, држаоцима апанажа. Међутим, извор на који се аутор позива (Migne, P.G. 152, 1217—18) говори о господарима Епира из породице Орсини, а не о византијским апанажистима.

[150a] О царевим дворанима и значењу ове појаве у животу државног организма в. *J. Verpeaux*, Les oikeioi. Notes d'histoire institutionnelle et sociale, REB 23 (1965) 89—99; *Максимовић*, Управа 14 сл.

[150b] Чак личност тако високог ранга, као што је Матија Асен, гувернер Коринта и зет деспота Димитрија (II), најзваничније, пред странцима, назива деспота господарем. Cf. Νέος Ἑλληνομνήμων 1 (1904) 429—430 (= *Сп. Ламброс*, Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακά IV, Атина 1930, 265—66).

[151] *F. Dölger*, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, München 1948, Nr 102, 11—12. Како нас обавештава Псеудо-Кодин, основни теоријски спис о византијској службеној хијерархији из доба Палеолога, деспотови људи називали су обично свог господара ὁ αὐθέντης μου или — занимљиво — αὐθεντόπουλός μου (Pseudo-Codinos, Traité des offices, ed. *J. Verpeaux*, Paris 1966, 150. 7—151.10). Уп. *Ферјанчић*, Деспоти 23 сл.

[151a] Осим цит. места у *Dölger*, Schatzk. уп. и редове 2, 53—54.

из нешто ранијег времена може се запазити на Пелопонезу. Тамо је у селу Лонганик 1375/6. године обновљена црква Св. Ђорђа. Према натпису на цркви, обнова је извршена ἐπὶ βασιλείας τῶν εὐσεβεστάτων βασιλέων καὶ φιλοχρίστων Ἰωάννου καὶ Ἑλλένης τῶν Παλαιολόγων καὶ τῶν εὐσεβῶν δεσποτῶν ἡμῶν Μανουὴλ καὶ Μαρίας τῶν Καντακουζηνῶν.[152] Није потребно посебно подвлачити да су држаоци апанажа са царском титулом, какви су рецимо били Манојло II (1382—1387) и Јован VII (1403—1408) у Солуну, сматрани господарима на исти начин као и врховни цар у престоници.

Двоструко изражавање подаништва показује да се власт државалаца апанажа не може поредити са компетенцијама некадашњих провинцијских управника, коликогод значајном облашћу они управљали. За разлику од њих, апанажист је прави господар на својој територији, иако наведени примери показују да врховна власт цара није била поштована само теоријски, него се често и конкретно осећала.[153] Како показује чувени случај породице Георгија Гемиста Плитона, државалац апанаже је могао, издајући свечане повеље, да своје поданике обдари крупним поседима и значајним правима. Али да би овакав дар остао сасвим сигуран и неприкосновен, била је нужна царева потврда. Гемисти су у три маха аргировуљама деспота Теодора Палелога добијали управна, поседничка и наследна права на град Фанарион (у Арголиди) и село Врисис (у Лаконији), а затим су уследиле две хрисовуље царева Јована VIII и Константина XI, којима су сви ови дарови потврђени.[154] Међутим, и у оваквој ситуацији може се наслутити велики степен независности коју уживају државаоци апанажа, јер само хрисовуља цара Јована издата је још за владе деспота Теодора (1428), док се Константинова појавила тек пола деценије након Теодоровог одласка из Мореје (1449). Остаје утисак као да Константин, владар који тек што је дошао на престо, продужава живот одлуци претходног владара, свог покојног брата, како се то често чинило у Византији. Овај утисак појачан је околношћу да је деспот Димитрије 1450. године својом аргировуљом закључио низ повеља за породицу Гемист, потврдивши скоро дословно не само све тачке из аргировуље деспота Теодора (од 1433), него и из хрисовуље

[152] Cf. *D. Zakythinos*, Une princesse française à la cour de Mistra au XIV[e] siècle. Isabelle de Lusignan Cantacuzène, Rev. des ét. grec. 49 (1936) 62 sq.; *St. Binon*, Guy d'Arménie et Guy de Chypre. Isabelle de Lusignan à la cour de Mistra, Ann. de l'Inst. de philol. et d'hist. orient. et slaves 5 (1937) 135 n. 7.

[153] У теорији, као што је познато, цар је имао неограничену власт над свим поданицима Царства, без обзира на њихов ранг, па га и његови синови — деспоти називају господарем. Зато није чудновато што се неки од државалаца апанажа потписују као цареви δοῦλοι, онако као што чине обични државни чиновници. Cf. Pantocrator, ed. cit. Nr 5, 41—42; Nr 6, 173—174; Zographou, ed. cit., Nr 41, 24—26; Nr 42, 25—26. Већина, међутим, то не чини, вероватно због чињенице што се налазе изван чиновничког апарата државе.

[154] Свих пет повеља (друга Теодорова аргировуља није сачувана) подробно су анализиране у *Zakythinos*, Desp. II, 122 sq., 199 sq.; *ОсШроīорски*, Пронија 122 сл. (= Сабрана дела I, 276 сл.). В. још и *исШи*, К истории иммунитета в Византии, Виз. Врем. 13 (1958) 93 сл. (= СД I, 461 сл.); *Максимовић*, Управа 98 сл. У наведеним делима могу се видети и обавештења о издањима ових повеља.

цара Константина.[155] Шта више, Димитријев поступак није усамљен. Његова браћа, деспоти Константин и Андроник, један на Пелопонезу а други у Солуну, издали су више значајних повеља својим вазалима или светогорским манастирима (Дионисију, Хиландар), које представљају самосталне даровнице, а у некима од њих чак се потврђују повеље претходних царева.[155a] То је разумљиво, јер сви су ови последњи Палеолози били браћа која су заједнички управљала државом и ниједном носиоцу деспотске титуле међу њима, престо, ако се и није коначно попео на њега, није био тако далек.[155b]

Треба истаћи да велика власт држалаца апанажа није одједном настала тек у XV веку. На прелазу из седме у осму деценију претходног столећа, цар Јован V, дајући свом сину, деспоту Манојлу, господство над Солуном и македонским градовима, учинио је то следећим речима: Ταύτας (sc. πόλεις) τοίνυν ὑποτετάχθαι τούτῳ διὰ βίου βουλόμεθα.[156] Како је касније речено у хроници Псеудо-Сфранциса, исти цар Јован је свог другог сина, деспота Теодора, ... ἐν τῇ Σπάρτῃ κύριον καὶ αὐθέντην ἀπέστειλε.[157] Нема сумње да је власт апанажиста нагло нарасла у XV веку, захваљујући чињеници што су после смрти Манојла II (1425) државом управљали његови синови, било као цареви или држаоци апанажа, јер то је значило да за њих правог врховног ауторитета у њиховим међусобним односима више није било. Нагло је учестало замењивање територија међу браћом, порасла је завист око наслеђивања престола, односно добијања положаја савладара.[158] Тако се у развитку система апанажа јављају нежељене последице које оглашавају уздрманост државног јединства и нешто каснији писац са горчином бележи да овај систем „... μέγα κακὸν τῇ ʽΡωμαίων ἀρχῇ προεξένησε.“[158a] Створена је таква ситуација да је деспот Константин Драгаш могао рећи историчару Георгију Сфранцису, именујући га 1446. године за намесника Спарте, да његово деловање треба да буде у складу са чињеницом да је сам деспот једини господар те земље (καὶ ποίησον πάντας μὴ ἔχειν ἄλλην ἀρχὴν πάρεξ σοῦ ὡς ἐμὲ μόνον αὐθέντην).[159]

Власт држалаца апанажа, у основи приватног карактера, није била формално, законски постављена и одређена, па се корени и гра-

---

[155] MM III, 225—27 (= *Ламброс*, о. с. IV, 192—95).

[155a] *Константин: Ламброс*, о. с. IV, 14, 17—18; *Андроник:* Dionysiou, ed. cit., Nr Nr 16, 17, 18; Chilandarii, ed. cit., Nr 30.

[155b] Другачији је случај Матије Кантакузина и његовог сина који κατέχων φρούρια ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῷ δεδομένα (Emmanuelis Palaeologi Theodori despotae laudatio funebris, ed. *Sp. Lambros*, o. c. III, A. 1926, 39.6), будући да, због њиховог става према Цариграду, овај Матијин гест не може бити сматран сасвим законитим.

[156] *K. E. Zachariä v. Lingenthal*, Prooemion zu Chrysobullen von Demetrius Cydones, Sitz.-ber. der königl. preuss. Akad. der Wiss., II, Berlin 1888, 1421. Овакво постављење свакако представља корак ка јачању приватне власти. Cf. *D. Zakythenos*, Processus de féodalisation, L'Hellénisme Contemporain 2 (1948) 511; *Lemerle*, Philippes 214 sq.

[157] Pseudo-Sphrantzes, ed. *V. Grecu*, Bucureşti 1966, 188. 34.

[158] Уп. *Ферјанчић*, Деспоти 115 сл.

[158a] Pseudo-Sphrantzes, ed. cit., 260. 21.

[159] Ibid., 342.29—30; cf. et 344.8: προσκυνήσας οὖν ἐγὼ αὐτόν.

нице њихове реалне моћи не могу тражити у државно-правној сфери.[160] Ни њихова породична повезаност не пружа довољно објашњење, поготову што односи појединих апанажиста са престоницом, као и њихове међусобне везе, не показују увек неки велики степен хармоније. Друга половина XIV века је позорница суревњивости Кантакузина и Палеолога на разним странама Царства, а касније се слична ситуација запажа у самој породици Палеолога. Стварна снага апанажиста заснивала се помало и на овим споменутим околностима — непостојању стриктно одређених овлашћења и припадношћу породици која влада земљом —, али основни извори њихове моћи лежали су на другој страни.

Раније смо већ нагласили да се у позновизантијско доба све више губи географско и економско јединство државне територије. Поједине велике области које су још преостале Царству — Мореја, Тесалија, Тракија, Солун —, у све већој мери живе посебним животом. Овај сопствени животни пут у развитку економике и друштва уопште, добија образовањем апанажа нове подстицаје.[161] Држаоци апанажа остварују потпуну контролу, наравно у границама које познаје средњи век, над административним апаратом на својој територији.[162] У њиховим рукама налазе се војне снаге и служба убирања пореза на тој територији; као чланови владајуће породице они организују и прави двор око себе.[162a] Изразита одлика аутономности је и чињеница да највећи апанажисти имају на својим доменима и посебно судство. То су тзв. генералне судије (καθολικοὶ κριταί), практично равни одговарајућој врховној судској инстанци у Цариграду, изузев што уз титулу не носе епитет τῶν Ῥωμαίων.[163] Све ово су науци добро познате ствари и овде је довољно само констатовати њихово постојање. Ваља једино напоменути да оваква ситуација превазилази, и то знатно, оквире административне аутономије. Тако је она и добила, сасвим логично, свој формалан и церемонијалан одраз у изгледу докумената који излазе из канцеларија држалаца апанажа. Деспотске свечане повеље XV века, тзв. аргировуље, општим изгледом и компликованим потписом аутора необично личе на хрисовуље потекле из царске канцеларије, за разлику од повеља које деспоти издају у ранијим вековима.[164]

---

[160] Држаоци апанажа обично поседују највише титуле, царску или деспотску, али осим дужног поштовања њиховим носиоцима и моћи коју сама титула носи, тиме нису одређене границе, а још мање начин вршења власти појединих апанажиста.

[161] О економској самосталности Мореје уп. *Zakythinos*, Desp. II, 88; *Ферјанчић*, Деспоти 132.

[162–162a] Cf. *P. Lemerle*, Une province byzantine: le Péloponnèse, Byz. 21/2 (1951) 351 (администрација); *Zakythinos*, Desp. II, 46 sq., 90—107 (двор и администрација); *idem*, Crise 86 (сви аспекти); *Ферјанчић*, Деспоти 131 сл. (војска); *Максимовић*, Управа 16, 97 сл., 120 (администрација и порези).

[163] Уп. *Максимовић*, н. д. 149 сл.

[164] О еволуцији деспотских повеља уп. *Б. Ферјанчић*, О деспотским повељама, ЗРВИ 5 (1956) 89—112; *исти*, Деспоти 114 сл., 121, 126; *исти*, Севастократори 148 (појава израза ἡ βασιλεία μου на прелазу из XIII у XIV век). Нарочито се потпис изменио: од непретенциозног ὁ δεσπότης, постао је дуг и сличан царском (напр. Θεόδωρος ἐν Χριστῷ τῷ θεῷ εὐσεβὴς δεσπότης Παλαιολόγος ὁ Πορφυρογέννητος).

Из наведених околности очигледно је да на апанаже и њихове господаре, у ствари, прелази део државног суверенитета. Обим и значај ове појаве најбоље показује чињеница да држаоци апанажа самостално одржавају односе са страним силама. Посебно је значајно што се при томе ради и о врло крупним спољно-политичким потезима.[165] Већ у XIV веку деспот Манојло Кантакузин успоставља контакте са Римском куријом независно од Цариграда, а његов старији брат Матија из своје апанаже у Тракији предузима самосталне војничке походе против Срба (1357).[166] Пред крај истог столећа морејски деспот Теодор I уступа Млечанима Монемвасију, кршећи отпор тамошње владајуће породице Мамонас, а намеравао је, осим тога, да на своју руку и реду Јовановаца преда значајне поседе.[167] У XV веку више морејских деспота закључује трговинске и друге уговоре са Млецима, Дубровником, и Арагонцима из Јужне Италије, при чему је врло ретко била обезбеђена претходна сагласност владе у Цариграду.[168] Још значајнији догађаји одигравају се у односима са Турцима. Мореја је признавала вазалну зависност према опасном и моћном суседу исто као и Цариград, али на основу сопственог уговора, тако да је и пад царске престонице лако преживела.[169] Слично је било и са вазалним положајем Солуна пред крај тамошње владе Манојла II (1387), а за Андроника IV, господара апанаже у Тракији с краја XIV века, зна се да је више био подложан Турцима него свом законитом суверену на Босфору.[169a] Али

[165] В. за читав проблем: *Stein*, Untersuchungen 25 sq.; *Zakythinos*, Crise 86; *Ostrogorsky*, Aristocracy 24 sq. За спољну политику солунске апанаже уп. *Dennis*, Manuel 103—150. Занимљиве разлике у мишљењима настале су поводом оцене спољне политике морејских деспота (за изворе в. *Максимовић*, Управа 16 н. 54). Наиме, *Zakythinos*, Desp. II, 84 sq. сматрао је да деспоти нису слободно располагали деловима своје територије у односу према страним силама. Сасвим супротно становиште заузео је *F. Massai*, Pléthon et le platonisme de Mistra, Paris 1956, 42 sq. Компромисно гледиште заступа *Ферјанчић*, Деспоти 132 сл., који сматра да морејски деспоти само када су у питању значајне територије (износи пример Коринта, датог Хоспиталцима; в. доле н. 167) траже цареву сагласност за њихово отуђивање. Међутим, како сам већ изнео, деспот Теодор I уступио је Млечанима тако значајан град, као што је била Монемвасија, потпуно самовласно.

[166] О везама Рима са деспотом Манојлом, које уосталом нису биле изузетно значајне и на које је утицао екс-цар Јован Кантакузин, в. (библиографија је врло богата) *Zakythinos*, Desp. I, 106—112; *Ферјанчић*, Деспоти 108; *Максимовић*, Кантакузин 181. — За Матијино неуспешно ратовање са Србима уп. *Ст. Новаковић*, Срби и Турци XIV и XV века, Београд 1960, 164—170; *К. Јиречек*, Историја Срба, I, Београд 1952², 235, 240; *Lemerle*, Philippes 205 sq. Датирање према *Острогорски*, Серска област 4 (= Сабрана дела IV, 436); *Максимовић*, Кантакузин 148.

[167] За Монемвасију в. горе, стр. 141 сл. О случају Јовановаца: *R.—J. Loenertz*, Pour l'histoire du Péloponèse au XIVᵉ siècle, Et. byz. 1 (1943) 191 sq. Међутим, стварна предаја Коринта Јовановцима извршена је уз сагласност цара и царице-мајке (1397). Cf. *Lambros*, o. c. III, 70.

[168] Cf. *Zakythinos*, Desp. II, 88; *Ферјанчић*, Деспоти 135—140.

[169—169a] Византијско Царство било је турски вазал од 1371—1402. године [в. нарочито *G. Ostrogorsky*, Byzance, Etat tributaire de l'Empire turc, ЗРВИ 5 (1958) 49—58 (= Сабрана дела III, 377—390)]; Мореја — од 1387—1402, па поново од 1446 (посебно в. *Loenertz*, o. c., 168 sq.); Солун — пред први пад 1387. Детаљно о овим разликама *Ферјанчић*, Деспоти 133 сл. О двоструком вазалству морејских деспота в. *Zakythinos*, Desp. II, 84 sq.

најдрастичнији је случај деспота Андроника у Солуну, који 1423. године уступа читаву своју апанажу Млечанима, увиђајући неумитност њеног пада под Турке.[170] У таквим околностима није необично што стране силе сматрају поједине државаоце апанажа равноправним партнерима и закључују са њима посебне уговоре. Шта више, апанажист са највишом, царском титулом и господар Солуна, Манојло II Палеолог, признаван је осамдесетих година XIV века за сизерена од стране независних управљача Тесалије и Епира — Алексија Анђела Филантропина и Томе Прељубовића.[171]

Ипак, све ове појаве не значе да је потпуно нестало јединства Византије. У теорији, Царство је до краја свог живота било једно и недељиво, на челу са владаром изабраним од бога, наследником римских царева. Царево сизеренство над државаоцима апанажа је несумњиво, а практично се огледа у томе што их он обдарује и титулама и положајем; што он, како је раније показано, одобрава неке њихове значајне одлуке.[172] Зато није само реторска фраза када познати интелектуалац Димитрије Кидон, обраћајући се деспоту Манојлу Палеологу, подвлачи да ... βασιλεῖ τε γὰρ πείθεσθαι νόμιμον.[172a] Јединство државе огледа се у јединству новчаног и законодавног система, јер није забележен случај да било који државалац апанаже кује новац или издаје законе.[173] Остаје, међутим, чињеница да су многобројни унутрашњи фактори, који су постепено водили растакању Византије, постајали све изразитији упоредо са настајањем апанажа. Стварањем читавог система апа-

[170] За Солун у доба Андроника један западњачки итинерер каже: magnifica et potens urbs quedam, quam despotus *possidet* (*N. Jorga*, Un viaggio da Venezia alla Tana, Nuovo Archivio Veneto 11 (1896) 10). С обзиром на догађаје из 1423. ова вест не изгледа претерана. Јер, иако се византијски писци не слажу ни међусобно, ни са млетачким изворима, о условима под којима је Солун прешао у руке Млечана, извесно је да са византијске стране сва одговорност за овај чин лежи на деспоту Андронику. Уп. *Ферјанчић*, Деспоти 99 сл., који с разлогом закључује да приликом предаје Солуна није било финансијских трансакција, како се раније мислило и као што још увек верује *J. Tsaras*, La fin d'Andronic Paléologue, dernier despot de Thessalonique, Rev. des Et. sud-est europ. 3 (1965) 420. Додајмо да један млетачки текст говори да је Солун предат вољом деспота, цара и барона (*К. Д. Мерциос*, Μνημεῖα Μακεδονικῆς Ἱστορίας, Солун 1947, 42 н. 2), али иницијатива је, ако и прихватимо овај податак, несумњиво потекла од Андроника, будући да су тек сами Млечани накнадно обавестили цара о преговорима (ib., 35 sq.).

[171] Cf. *R.—J. Loenertz*, Notes sur le règne de Manuel II à Thessalonique — 1381/ /82—1387, BZ 50 (1957) 390—94; *Dennis*, Manuel 103—108.

[172] Уп. и *Zakythinos*, Desp. II, 81, који додаје да је царев утицај био „..plus vaste que celui d'un simple suzerain" (83). Како каже западни путописац Перо Тафур (1437—1439), Мореја „...is governed by the Emperor of Constantinople and is the patrimony of the eldest son who is called in greek the Despot of Morea". Cf. *A. A. Vasiliev*, Pero Tafur, a Spanish Traveler of the 15th Century and his Visit to Con/ple, Trebizond and Italy, Byz. 7 (1932) 81.

[172a] Démétrius Cydonès Correspondance, ed. *R.—J. Loenertz*, I, Città del Vaticano 1956, Nr 21, 8. Cf. et Nr 33, 22—24.

[173] Cf. *Zakythinos*, Desp. II, 78, 82—84, 86—88; *Ферјанчић*, Деспоти 130 сл. Ове чињенице треба имати на уму, јер тек у њиховом светлу може се прихватити, а и тада само уз многе ограде идеја о распаду Византије на вазалне државе — апанаже. Cf. *Zakythinos*, Crise 34; *idem*, Desp. II, 84.

нажа, ови фактори — географски, економски и социјални — заоденули су се у ново, политичко рухо. У основи, био је то тријумф, за Византију нажалост негативан и судбоносан, вековног развитка феудализма у овој земљи. Последње столеће пред своју пропаст, Царство је фактички живело као конгломерат апанажа и тако је проблем управљања државом, за који се на почетку тог раздобља чинило да је административне природе, прерастао у кризу врховне власти.

LJ. MAKSIMOVIĆ

GENÈSE ET CARACTÈRE DES APANAGES DANS L'EMPIRE BYZANTIN

Résumé

On a coutume aujourd'hui d'appeler apanages les domaines donnés en gestion, à l'époque des Paléologues, aux membres de la famille impériale. Ces apanages représentent tout un système qui se forma relativement vite vers le milieu du XIV^{e} siècle, mais dont les racines remontent à une époque bien plus reculée. Cette circonstance n'a pas été suffisamment prise en considération jusqu'ici, du fait qu'on abordait ordinairement l'étude de l'origine des apanages comme un problème essentiellement politique. Aussi prenait-on pour premiers précurseurs de la future institution des apanages (a) — les plans de l'impératrice Irène (Yolande de Montferrat), qui incita vainement son époux, Andronic II, à partager l'empire entre leurs fils, ou bien (b) — l'accord entre Andronic II et Andronic III, qui sanctionna en 1321 la division provisoire de l'Etat à l'issue d'une guerre civile. Or, ces deux moments, semblables l'un à l'autre, ont très peu de rapports avec le système des apanages ultérieur, car ils se fondent sur une destruction formelle de la souveraineté étatique, dont la réalisation durable eut certainement entraîné la désagrégation de l'Empire byzantin.

Les apanages sont indéniablement une création de l'époque féodale étant donné qu'ils apparaissent au temps où le développement du féodalisme dans l'Empire byzantin connaît un plein essor. C'est l'époque — sous la dynastie des Paléologues — où l'Etat se transforme finalement en une institution féodale, l'époque où l'administration du pays était exposée à une forte privatisation à différents échelons du pouvoir. Ce processus mena directement à l'instauration du régime dynastique sur l'Empire, ce qui constituait l'expression politique suprême de toute l'évolution des rapports sociaux féodaux jusqu'alors.

Ce n'est qu'à l'époque des Paléologues que l'on voit se multiplier brusquement toutes les manifestations du féodalisme byzantin, mais on peut en

remonter le cours beaucoup plus en arrière, jusqu'au XI^e siècle dans la plupart des cas. Il en va de même des apanages, dont les germes apparaissent bien avant l'époque des Paléologues. Dès la fin du XI^e siècle, les frères de l'empereur Alexis Comnène, Adrien et Isaac se voient conférer les revenus fiscaux de domaines qu'ils ne possèdent pas à titre de propriété privées. De tels privilèges, peut-être même avec des effets quelque peu plus larges, furent acquis à la même époque par le césar Nicéphore Melissenos. Ces phénomènes représentent une nouveauté dans la vie de Byzance et marquent la montée des parents de l'empereur au pouvoir public, et cela sur une base privée. Fait symptomatique, ces cas se produisent à l'époque où le souverain — ce même Alexis Comnène — introduit aussi une note privée dans son propre mode d'administration de l'Etat.

Pour les héritiers directs d'Alexis se forment déjà aussi des projets, parfois en passe de se réaliser, touchant l'érection de véritables principautés avec à leur tête des membres de la dynastie. Ainsi Jean II projetait de donner à son fils Manuel, Antioche, la Cilicie et Chypre, tandis que Manuel lui-même faisait don de Thessalonique à son gendre, Rénier de Montferrat (la mort subite de l'empereur empêche la réalisation de cet acte). On vit surgir aussi des propriétés qui peuvent être qualifiées de propriétés apanagères, car elles représentaient une certaine forme de régence privée. Tel était le domaine du césar Jean Rogerius, à l'est du cours inférieur du Vardar; le même caractère était revêtu par Castoria entre les mains du futur empereur Andronic Comnène. D'une manière générale, la période comnénique se distingue par d'assez nombreuses tentatives d'affirmer l'autorité privée sous un jour nouveau, inconnu jusqu'alors.

Le développement du féodalisme et son affermissement au sein du monde byzantin reçurent une nouvelle impulsion vers la fin du XII^e siècle et au début du XIII^e, du fait que l'appareil administratif de l'Etat était à cette époque profondément ébranlé, que la puissance des seigneurs féodaux s'était énormément accrue et, enfin, que les croisés, en 1204, avaient fait directement connaître aux Byzantins la structure sociale et politique du féodalisme ouest-européen. L'époque de la domination latine et de la lutte des Etats grecs pour la restauration de Byzance commença. Malheureusement, il n'est resté de cette houleuse période que des sources trés rares; on ne connaît qu'un seul grand domaine apanager, et ce dans l'Etat de Nicée — le domaine de Constance Hohenstaufen, épouse de Jean III Vatatzès. Ainsi, en raison surtout des difficultés inhérentes au manque de sources, l'époque du règne latin apparaît comme une période transitoire et peu spectaculaire, dans le développement des propriétés apanagères. Mais, d'autre part, cette période a transmis à la Byzance restaurée un legs particulièrement important pour le développement futur des apanages. La grande guerre des croisés avait pour longtemps, et pour la première fois dans son histoire, brisé l'unité politique de l'Empire byzantin. Cela donna une impulsion décisive et funeste aux tendances centrifuges internes, qui d'ailleurs se manifestaient déjà puissamment.

L'Empire byzantin reconstitué après 1261 vit bientôt progresser brusquement le processus de féodalisation. L'équilibre social s'était finalement déplacé en faveur des grands seigneurs. De ce fait se multiplient, naturellement,

les phénomènes qui peuvent être considérés comme des signes précurseurs des apanages des XIVe et XVe siècles. Le fameux despote Jean Palèologue, frère de l'empereur Michel VIII, est le premier grand apanagiste de l'époque des Paléologues, dont les pouvoirs dépassent les droits d'un grand propriétaire. Le despote Jean n'avait aucune fonction officielle dans l'administration provinciale, mais ses droits de propriétaire rappellent impérieusement ceux d'une sorte de régence, comme cela est d'ailleurs ouvertement spécifié dans un document. Qui plus est, on note, sous le régne de Michel VIII, plusieurs cas de ce genre et, parmi les apanagistes, on voit figurer aussi un étranger, le grand duc Licarius, qui reçut l'île d'Eubée à gouverner, mais aussi comme propriété. Cette politique culmine avec le projet nourri par Michel de céder à Constantin, son fils préféré, Thessalonique et la Macédoine en tant qu'Etat effectivement indépendant. Seule sa mort soudaine empêcha l'empereur de mettre son projet en exécution.

Le développement des propriétés apanagères sous les premiers Paléologues mena infailliblement à l'instauration d'une régence semi-privée dans l'administration provinciale. Les grands changements qui s'opérèrent à cette époque dans l'organisation administrative de l'Etat y contribuèrent aussi pour leur part. L'ancien système des thèmes fut remplacé bientôt, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, par un système nouveau, caractérisé par de très petites unités administratives — les katepanikia. En raison de la petitesse de ces unités et quoiqu'elles fussent directement reliées à Constantinople, le bon fonctionnement de l'administration exigeait l'existence d'un organe intermédiaire de l'autorité, lequel, sous l'appellation de kephalé général, apparaît en Morée, en Thessalie, dans les régions macédoniennes, à Lemnos et, probablement aussi, en Thrace. Mais la féodalisation rapide de l'appareil administratif à l'époque des Paléologues influe aussi fortement sur le profil de cette couche de hauts fonctionnaires. Tout d'abord, les kephalés généraux se recrutaient dans les familles de la plus haute aristocratie, souvent unies à la dynastie régnante par des liens de parenté. Plus important encore est le fait qu'au XIVe siècle on voit changer grandement leur statut et la façon dont ils exercent leur fonction. Cette circonstance est nettement illustrée par le cas de Jean Ange, kephalé de Thessalie, qui était un vassal mi-indépendant de l'empereur plutôt qu'un fonctionnaire classique de l'Etat. Le résultat logique d'une telle évolution fut que, un peu plus tard, les apanages les plus connus prirent corps précisément dans les contrées des anciens kephalés généraux.

La création des apanages avait donc été multiplement préparée, mais leur formation ne suivit pas une voie rectiligne même à l'époque où l'atmosphère était devenue propice à leur apparition. Ainsi, au début du XIVe siècle, en Albanie, on voit gouverner parallèlement, un certain temps, le kephalé de cette contrée, Jean Pincerne, et le fils de l'empereur, le despote Constantin Paléologue, qui n'a pas de fonction déterminée mais possède le „pouvoir général". D'autre part, l'ordre de succession des gouverneurs de la contrée de Thessalonique dénote un cours inégal dans la formation des apanages. Dans des moments politiques difficiles et complexes, à ce poste, alternativement avec les gouverneurs-fonctionnaires, furent désignés des fils de l'empereur avec le titre de despote (Constantin, Démétrius), ou même avec celui d'empereur (Michel IX). Leur statut et leur rôle différaient assurément du statut et du

rôle des autres gouverneurs de la région de Thessalonique, mais la descente prématurée de chacun d'eux du pouvoir, pour cause de décès ou de défaite dans la guerre civile des années vingt du XIVe siècle, empêcha que Thessalonique se transformât réellement en apanage. L'évolution ultérieure des événements fut également caractéristique (soulèvement des Zélotes, séjour de Jean V à Thessalonique), et ce n'est que l'arrivée de Manuel II à Thessalonique en 1369 qui consacra la transformation de cette contrée en un véritable apanage.

Les conditions sociales propices à l'établissement des apanages sur un plan plus large, ainsi que le fondement correspondant dans l'organisation de l'Etat, mûrirent au cours de la première moitié du XIVe siècle. Il fallait seulement que s'instaurent des conditions politiques favorables pour que les apanages deviennent assez rapidement une des principales caractéristiques du féodalisme bas-byzantin et un des principaux leviers du mécanisme de l'Etat. Ces conditions furent créées au temps de la guerre civile entre Cantacuzènes et Paléologues, dans les années quarante et cinquante du XIVe siècle, lorsque la longue crise économique, financière, sociale et politique de l'Empire eut atteint son apogée. On vit alors se poser dans toute son acuité le problème du contrôle des différents territoires, étant donné que le système administratif était entré dans une période de violentes perturbations, consécutives en grande partie aux luttes intestines. Alors s'amorça un processus de désagrégation rapide de l'Etat, auquel, manifestement, l'ancien appareil administratif ne convenait pas. La situation était particulièrement scabreuse pour l'usurpateur Jean Cantacuzène, qui ne pouvait compter sur l'allégeance des régents des différentes régions, lesdits kephalés généraux. C'est ainsi que le pouvoir en province passe rapidement aux mains de ses fils, tandis que ceux-ci deviennent eux-mêmes les rouages de tout un système.

Une solution transitoire dans la formation des apanages doit être vue dans la désignation de Jean Ange à la régence de la Thessalie en 1342, bien qu'il conservât la dignité de kephalé. Solution transitoire aussi sont les fonctions des fils de Cantacuzène, Manuel et Mathieu, respectivement à la tête des régions de Verroia et Komotina dans les années quarante. Mais, en 1347 déjà, surgit en Thrace le premier vrai apanagiste — Mathieu Cantacuzène. C'est ensuite son frère puîné, Manuel, qui en 1349 prend le pouvoir en Morée, puis l'empereur légitime Jean V, qui au début des années cinquante obtient un apanage en Thrace. Dès lors, les apanages des membres de la famille régnante deviennent chose quotidienne à Byzance. Ils se font de plus en plus nombreux car bientôt, au XVe siècle surtout, on voit se diviser les grands apanages en plusieurs plus petits. Leur nombre augmente aussi du fait que, hormis les apanages du cercle le plus étroit de la famille impériale, certains domaines importants deviennent plus semblables à ceux-ci qu'à des grandes propriétés au vrai sens du terme. L'exemple le plus saillant d'une telle évolution nous est fourni par le cas bien connu des frères Alexis et Jean, membres collatéraux de la famille des Paléologues, qui détiennent des villes de la côte septentrionale de la mer Egée et l'île de Thasos, et aussi, bien que dans une moindre mesure, par le cas de la famille Mamonas, qui régna sur la ville de Monembasie, dans le Péloponnèse.

Les apanages byzantins revêtent toutes les caractéristiques du développement du féodalisme dans ce pays. Cela veut dire que le pouvoir de leurs détenteurs était essentiellement privé, comme le démontrent nettement maints exemples d'échanges d'apanages entre fils d'empereurs, ce qui entraînait presque toujours des changements dans leur structure et, parfois, des guerres féodales privées. Ce pouvoir n'était pas minime et, sur son territoire, parmi ses gens, l'apanagiste était considéré comme le véritable maître, à telle enseigne que la personnalité même de l'empereur pouvait, jusqu'à un certain point, se trouver reléguée au second plan. Aux mains de l'apanagiste passe le contrôle de l'administration, de l'armée, des finances et de la justice de sa région, laquelle vit de sa propre vie, sans liens solides avec les autres parties de l'Empire. Les apanagistes ont leur palais; au XV^{e} siècle, ils édictent des chartes qui sont très semblables aux décrets impériaux et, en politique extérieure, ils prennent même des initiatives personnelles qui sont souvent d'une grande portée. Toutefois, l'autorité suprême de l'empereur continue de se faire fortement sentir dans la vie politique, car lui seul confère aux apanagistes leur poste et autorise certaines de leurs décisions importantes. L'unité de l'Etat se reflète aussi dans l'unité du système monétaire et du système législatif, mais il est indubitable qu'une partie de la souveraineté de l'Etat est passée de l'empereur aux détenteurs d'apanages. En fait, dans le dernier siècle de son existence, l'Empire se transforme en un conglomérat d'apanages. Le problème de la gestion de l'Etat, auquel au début de cette période on prêtait un caractère exclusivement administratif, était ainsi devenu une crise du pouvoir suprême.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВИЋ

О ВРЕМЕНУ ПОСТАНКА ЕПИСКОПИЈЕ ЈЕРИСА

Епископија Јериса, чије се средиште налазило на превлаци између Халкидика и Атоса, потпадала је од свога постанка под Солунску митрополију. Због тога су спискови епископија (Notitiae episcopatuum) главни извор за одређивање приближног времена настанка епископије. Међутим, неки од ових спискова, премда прецизно наводе епископије једне митрополије, изазивали су извесну хронолошку забуну, пошто нису били тачно датирани. Тако је један списак из XIV века био приписан времену цара Лава VI (886—912)[1]. У њему се међу епископијама зависним од Солунске митрополије на деветом месту налази епископија Јериса, што је сасвим природно за списак XIV века. То је навело Профирија Успенског да закључи да је ова епископија постојала већ почетком X века.[2] Међутим, у две Notitiae episcopatuum из прве половине десетог века међу суфраганима Солунске митрополије епископија Јериса се не спомиње. Први списак је из првог понтификата патријарха Николе Мистика (901—907), дакле стварно из времена Лава VI, а други је из времена око 940, тј. из доба цара Константина Порфирогенита[3]. Пошто се ова епископија не налази ни у списку архиепископија из времена цара Јована Цимискија (969—976),[4] Ст. Бинон је закључио да она није постојала у X веку, па је време њеног постанка

---

[1] Тако га је објавио *Th. Tafel*, De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Berolini 1839, 56—57.

[2] *П. Успенский*, Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты в 1845 году, I/1, Киев 1877, 314. Ову грешку у датирању већ је исправио *O. Tafrali*, Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1913, 91 сл.

[3] Обе ове Notitiae издао је *H. Gelzer:* први списак у Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum, München 1900, стр. 554, ред 286—291, а други у Georgii Cyprii descriptio orbis romani, Lipsiae, Teubner, 1890, стр. 67—68, ред 1388—1393. У оба ова списка број и поредак епископија зависних од Солунске митрополије је идентичан: ὁ Κίτρους, ὁ Βεροίης, ὁ Δρουγουβιτίας, ὁ τῶν Σερβίων, ὁ Κασσανδρείας.

[4] Њега је такође објавио *H. Gelzer* у поменутим Texte der Notitiae episcopatuum под насловом: Eine Notitia aus der Zeit des Kaisers Johannes Tzimiskes (969—976), стр. 568 сл.

ставио у прву трећину XI века.[5] То мишљење прихвата се у науци до данас.[6]

Уз Notitiae episcopatuum за одређивање времена постанка једне епископије веома су важни и документи настали у њеној канцеларији, на којима се обично налазе потписи чланова епископског клера као сведока, а које је оверавао сам епископ. Такав документ из јуна 982. године, свакако један од најстаријих међу актима канцеларије епископије Јериса, представља најважаније па чак за сада једино сведочанство о постојању ове епископије у X веку.

Тај документ је, из других разлога, већ скренуо на себе пажњу научника.[7] У њему се говори о земљишној нагодби између становника Јериса и Јована Ивирског, која је изгледала од толико велике важности да ју је потписало седамдесет и пет сведока. Први од њих је „Теодот, смерни епископ Јериса" (Θεόδοτος ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἱερισσοῦ); следе потписи Атанасија, игумана Велике Лавре, Петра, игумана манастира Калиука[8] и других, између осталих протопрезвитера Нићифора, презвитера Василија и Јована, ђакона Атанасија и попа Гиоргија, сигурно припадника клера Јериске епископије. Документ је последњи потписао судски чиновник из Солуна Никола (Νικόλαος λιβελλίσιος Θεσσαλονίκης). Због тога је П. Успенски сматрао да је овај документ настао у Солуну.[9] Међутим, имајући у виду број потписаних сведока изгледа много вероватније да је поменути чиновник дошао у Јерисос где је у епископској канцеларији документ направљен и оверен, него да је седамдесет и пет сведока путовало у Солун. Писар, који обично на документима насталим у епископији Јериса наводи своје име и звање у хијерархијској лествици достојанственика дотичне епископије, у овом случају је непознат, јер документ није издат у целини, а можда се он није ни потписао. Уосталом, и чињеница да се епископ Јериса

---

[5] *St. Binon*, Les origines légendaires et l'histoire de Xéropotamou et de Saint-Paul de l'Athos, Louvain 1942, 48 нап. 15, то чини на основу једног списка из XI века у коме се спомиње епископ Јериса или Свете Горе: Notice 3, éd. *G. Parthey*, Hieroclis Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum, Berolini 1866, p. 110, Nr. 206, цит. према *Binon*, ibid. Исти аутор овде наводи (на основу докумената каталога ман. Ксиропотама, у издању Р.П. Евдокимоса, Солун-Сер 1926, Nr. 32, стр. 158 и Nr. 41, стр. 159) као прве поглаваре Јериске епископије: Геогрија, децембра 1025. и Николу, децембра 1032. године. Документ из дец. 1032. објављен је и у Actes de Xéropotamou, éd. *J. Bompaire*, Paris 1964, Nr. 4.

[6] Уп. *Bompaire*, op. cit. стр. 51, нап.

[7] Њега је до сада објавио једино *П. Успенский*, Известия Императорского Археологического Общества, V, 1863, 14—17 и Первое путешествие I/1, 312—313. *I. Dujčev*, Le Mont Athos et les Slaves au Moyen Age, Medioevo Bizantino-Slavo, Roma 1965, 491—492, *G. Soulis*, The Slavic Settlement in Hierisoss, Byzantion 23, 1954, 67—72, *Й. Иванов*, Български Старини из Македония, София 1931, 21—23 као и сам Успенски, анализирали су садржину овог документа, обраћајући при томе посебну пажњу на славенска имена потписаних сведока.

[8] Калиук је најстарији облик имена манастира Калика. Тако и у документу из јануара 1076. године (*Vl. Mošin* et *A. Sovre*, Supplementa ad acta graeca Chilandarii, Ljubljana 1948, Nr. 1, 52).

[9] *Успенский*, op. cit. 313.

потписао први, испред свих осталих сведока иде у прилог мишљењу да је документ писан у Јерису, а не у Солуну.

Пошто најранији познати податак о епископији Јериса, како смо споменули, потиче из 982. године, тај датум је поуздан terminus ante quem за њен настанак. Треба при томе имати у виду да је Јерисос као средњевековно насеље постојао већ у IX веку[10], и да је постанак епископског средишта био сасвим нормалан и природан процес у развитку многих градова, а посебно оних у којима је постојала традиција из антике. Такав је био случај управо са византијским Јерисом који се, наследивши традицију античког града Аканта и епископско седиште мигдонске Аполоније, врло брзо развио у средњевековно градско насеље и црквени центар.[11] Проф. Фанула Папазоглу указује да је Аполонија мигдонска доста далеко од Јериса, али ипак не тако далеко да не би једна епископија могла да обухвати територију и једног и другог града.[12] Поред византијских спискова градова у којима „стоји на три места да се Аполонија доцније звала Јерисос",[13] навешћемо о томе још један веома интересантан податак. Реч је о оригиналном судском документу од априла 1290. године из архива манастира Зографа.[14] У њему се прича да су обе заинтересоване стране, тј. представници манастира Зографа и Хиландара, дошли у епископију Јериса. Ту је донета одлука у присуству „архиереја целог клера, као и свих стараца Јериса, званог Аполонија..." (τοῦ Ἱερισοῦ τοῦ ἐπιλεγομένου Ἀπολωνιάς).[15]

Покушаћемо сада да утврдимо terminus post quem за настанак епископије Јериса. Поред поменутог списка епископија из времена око 940. године у коме нема епископије Јериса, навешћемо један временски близак податак у коме град Јерисос такође није црквени центар. То је документ из маја 942. године о одређивању границе између Свете Горе и земљишта становника Јериса.[16] У њему се, приликом набрајања присутних на месту које је требало разграничити, уз архиепископа Солуна Григорија и судију Цоита наводе: епископ Еркула, угледни чиновници града Солуна, чланови клера Солунске митрополије и више игумана, као и других представника суседних манастира. Да је тога датума епископија Јериса постојала свакако би међу присутним био споменут и епископ Јериса или неко од представника епископије, као што би се

[10] У хрисовуљи цара Василија I из 883. помиње се област Јериса (τοῦ Ἐρισσοῦ ἡ ἐνορία). В. критичко издање *F. Dölger*, Archivarbeit auf dem Athos, Παράσπορα, Ettal 1961, 428, ред 13; уп. и издање *K. Lake*, The Early Days of the Monasticism on Mount Athos, Oxford 1909, 76.

[11] О томе в. *Ф. Пайазоїлу*, Македонски градови у римско доба, Скопје 1957, 35, нап. 48 и стр. 305.

[12] Ibid. 162.

[13] Вид. ibid. 162, нап. 107.

[14] Actes de Zographou. Actes grecs, publiés par *W. Regel*, *E. Kurtz* et *B. Korablev*, Виз. Врем. 13 (1907), Приложение, Nr. 12.

[15] Zogr. 12, 3—6.

[16] Део овог документа објавио је *F. Dölger*, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, München 1948, Nr. 107, и овако га датирао исправљајући Лејка (*Lake*, op. cit. 76—84), који је потпуније објавио документе о овом земљишном спору и ставио их у 881/2. годину.

и његов потпис налазио поред потписа осталих присутних на почетку документа.[17]

Дакле, мај 942. година био би terminus post quem за постанак епископије Јериса. Вероватно је да је она настала у другој половини X века. Није искључено да је постојала већ седамдесетих година тога века, јер поменути списак из времена Јована Цимискија, на који се позива Ст. Бинон, наводи само архиепископије, а не и епископије појединих митрополија. Можда је поменути епископ Теодот, који је потписао документ од јуна 982. године, био први поглавар Јериске епископије.

M. ŽIVOJINOVIĆ

SUR L'ÉPOQUE DE LA FORMATION DE L' ÉVÊCHÉ D' HIÉRISSOS

Résumé

Dans la science, en général, a prévalu jusqu'à maintenant l'opinion que l'évêché d'Hiérissos fut fondé au cours des premières décennies du XI[e] siècle, puisqu'il n'est pas mentionné dans les liste des évêchés *(Notitiae episcopatuum)* datant du X[e] siècle. Cependant, sur un document de juin 982, qui a déjà attiré, pour d'autres raisons, l'attention des savants (P. Uspenskij, G. Soulis, I. Dujčev) se trouve la signature de Théodote, évêque d'Hierissos (Θεόδοτος ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἱερισσοῦ). Dans ce document, il est question d'une transaction concernant une terre, entre les habitants d'Hiérissos et Jean d'Iviron. Parmi les témoins, extrêmement nombreux, qui étaient présents, il y avait aussi quelques membres du clergé épiscopal. De cette manière, juin 982 pourrait être le *terminus ante quem* certain pour la formation de cet évêché.

Dans une liste *(Notitia)* datant de l'époque de l'empereur Constantin Porphyrogénète (940 environ), Hiérissos n'est pas mentionné parmi les évêchés dénombrés qui étaient suffrageants de l'archidiocèse de Thessalonique. De même, ni l'évêque d'Hiérissos, ni aucun des membres du clergé de cet évêché ne sont mentionnés dans le document concernant la détermination de la frontière entre le Mont-Athos et les terres des habitants d'Hiérissos, document qui date de mai 942. Donc, cette date serait le *terminus post quem* pour l'établissement de cet évêché. Probablement faut-il situer cet événement dans la seconde moitié du X[e] siècle. Peut-être que son premier évêque fut le Théodote sus-mentionné.

[17] *Lake*, op. cit. 83 и 80.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

ИВАНКА НИКОЛАЈЕВИЋ

ПОВОДОМ НАЈНОВИЈЕ ДИСКУСИЈЕ О РАНОХРИШЋАНСКИМ КРСТИОНИЦАМА У САЛОНИ

Ранохришћанска уметност, нарочито архитектура и подни мозаик, интензивније су испитивани у нашој земљи у два, за наше подручје, врло важна касноантичка града, у Салони и Стобима. Споменици Салоне су, захваљујући радовима Ф. Булића, R. Egger-а и E. Dyggve-а већ ушли и у стране приручнике за историју архитектуре[1], док се, углавном због незавршених ископавања, о споменицима Стобија говори у мањој мери[2]. Природно је, међутим, што у нашој науци споменици та два локалитета изазивају увек пажњу и што се написи посвећени разним питањима у вези са њима повремено појављују. Један од таквих, нових радова, посвећен крстионицама у Салони, као и резултати нових истраживања у Стобима, непосредан су повод овоме прилогу у коме ћу покушати да испитам појаву двеју крстионица из ранохришћанског доба у једном граду и неке иконографске теме у вези са крстионицама.

Нови радови у Стобима, започети интензивније 1970. године, као ревизија и наставак ископавања раније истраживаних грађевина, дали су врло занимљиве резултате[3]. Очигледно је већ сада да ће многа досадашња тумачења појединих споменика из тога града претрпети разне измене, јер најновији извештај о ископавањима пружа више повода за нова размишљања о разним грађевинским фазама архитектуре, о уметничкој активности и о религијском животу у Стобима у касноантичкој епоси. Са великим занимањем дакле очекују се даљи археолошки резултати ископавања. У међувремену неки подаци су већ забележени и у дневној штампи. Иако су само информативног карактера, ипак та обавештења допуштају да се нека питања у вези са култном архитектуром у Стобима већ сада узму у разматрање. Током

[1] *R. Krautheimer,* Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965, 134—136, 333. В. такође и Byz. Zeitschrift 65 (1972) 114.

[2] *R. Krautheimer,* op.cit. 95. *A. Grabar,* Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien antique I, Paris 1946, 457 sq.

[3] *J. Wiseman—Dj. Mano-Zissi,* Excavations at Stobi, 1970. American Journal of Archaeology 75 (1971) 395—411.

радова у 1970. години могла се наслутити са јужне стране уз базилику епископа Филипа нека конструкција на знатно нижем нивоу од јужног брода цркве[4]. У кампањи од прошле, 1971. године, ту је откривен монументалан баптистериј[5].

Та нова грађевина је друга, као посебна зграда подигнута, крстионица у Стобима. Као што је познато, још 1937. године, са северне стране тзв. базилике Јована Крститеља, откривен је такође један баптистериј[6]. Ако занемаримо покушај Ј. Петровића да у још неколико реципијената за воду или можда неку другу текућину из Стобија види писцине за крштавање[7], остаје ипак чињеница да сада у Стобима, као и у ранохришћанској Салони, имамо остатке два монументална баптистерија.

Недавно је Д. Рендић-Миочевић, полазећи од података забележених у стручној литератури, посветио један рад типологији салонитанских баптистерија[8], у коме је, као доста прихватљиву, изнео хипотезу Е. Дигвеа по којој би крстионица из urbs nova Salonae, припадала хришћанима аријанцима, док је она уз Симферијеву и Хезихијеву базилику служила ортодоксним хришћанима.

Морају ли две крстионице из ранохришћанске епохе, у једном истом граду, означавати неминовно и две катедралне цркве, односно два епископа различитих хришћанских праваца, као што је то Дигве претпоставио за Салону?

Од IV века је било правило да један град може имати једног епископа[9], а као што је познато, Дигве је сматрао „да је у антикно хришћанско доба церемонија крштења била резервирано право епископа"[10]. Он је због тога веровао да два баптистерија у Салони мора да означавају и две главне цркве, две дијецезе, па према тома и два епископа у једној истој вароши.

---

[4] op.cit. 400.

[5] „Борба" 17. VIII 1971. стр. 8. У току штампања овог прилога упознала сам се са краћом белешком *V. Mckeen*, A New Baptistery at Stobi, AJA 76 (1972) 215.

[6] Bericht über den VI. Int. Kongress für Archäologie, Berlin 1940, 592—593. Уп. такође Зборник (1959—1960), изд. Арх. музеј Скопје, кн. III, Скопје 1961, 69—72.

[7] Уметнички преглед 4 (1940) 263—267. Glasnik Hrv. Zem. muzeja 54 (Sarajevo 1942) 490—496.

[8] *D. Rendić—Miočević*, Tipologia dei battisteri salonitani, XIX Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1972, 267—279.

[9] *L. Duchesne*, Origines du culte chrétien, Études sur la liturgie latine avant Charlemagne. V^{e} éd. Paris 1920, 13. Cod. Iust. I 3.55.

[10] *E. Dyggve*, Druga bazilika urbana s baptisterijem u Saloni, Зборник Фил. факултета 1 (Београд 1948) 369; *E. Dyggve*, L'influence des Goths à Salone, Byzantion 19 (1949) 73; *E. Dyggve*, History of Salonitan Christianity, Oslo 1951, 32. 49, n. 1 на стр. 64 у којој се Дигве позива на Duchesne, Origines du culte chrétien, 164 не наводећи издање књиге. Тешко је, због тога, проверити Дигвеову тврдњу, јер се у петом издању споменуте књиге, која нам је при руци, на наведеном месту, уопште не говори о крштењу. Опширно о томе међутим Дишен говори у петом издању наведеног дела у Глави IX, стр. 309—360. — Уп. Byzantinische Zeitschrift 66(1973) 232.

Појава двеју или више крстионица у ранохришћанском периоду у једном истом граду, супротно ономе што је претпостављао Дигве, не представља никако неки изузетак. У Риму је, пре свега, осим баптистерија у Латерану, постојало још неколико крстионица[11]. У Напуљу, осим крстионице S. Giovanni in Fonte из V века, у VI столећу је била подигнута још једна крстионица[12]. Како је A. Khatchatrian могао регистровати, у ранохришћанском периоду су постојале по две, или више крстионица у Милану, Ефесу, Милету, Новом Анхијалу[13].

Умножавање баптистерија илуструје праксу која се, са повећањем броја хришћана, почела стварати већ у првој половини V века и која се током VI столећа, када је хришћанство свуда представљало општу појаву, била потпуно обликовала. Упоређујући ритуале крштења у источним и западним црквама L. Duchesne је показао да се на Западу обред крштења, који је описао Тертулијан, већ у току раног хришћанства променио: епископ је благосиљао света уља, писцину и крштавао неколико кандидата, а затим су свештеници нижег ранга настављали са обредом. Међутим, када су локалне цркве биле издељене и када су изван епископског седишта биле створене њему подређене парохије, морало се и свештеницима тих парохија поверити право да обављају крштење. Ипак, благосиљање светих уља је било ускраћено нижем свештенству; оно је од епископа добијало већ освећено уље. Уствари крштење водом, које се још у најстаријем хришћанству сматрало важећим, чак ако га је у неким посебним случајевима обавио и обичан хришћанин, било је касније додељено свештеницима који су стајали на челу парохије. У земљама римског обреда они су благосиљали писцине и обављали прво помазивање уљем. У тим земљама резервисано право епископа је било консигнација и полагање руку. Они су тај чин обављали у епископском седишту или приликом обиласка дијецезе. На Истоку међутим, где није било разлике између кризме и консигнације, свештеници су имали право да обављају целокупну церемонију крштења[14].

Археолошки споменици са подручја Југославије потврђују праксу коју је изложио Дишен. Пре неколико година, у приказу албума А. Качатријана, покушала сам да илуструјем карту распрострањенос-

---

[11] *A. Khatchatrian*, Les baptistères paléochrétiens, Paris 1962, 122—123. Za S. Maria Maggiore v. Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, Paris, 1955, 234 i 236.

[12] *J.—L. Maier*, Le bapstistère de Naples et ses mosaïques. Étude historique et iconographique, Paradosis 19, Fribourg (Suisse) 1964, 16—17. Уп. такође Cahiers archéologiques 20 (1970) 1—13.

[13] *A. Khatchatrian*, op.cit. 86, 108, 109, 112. Up. i *J. Lassus*, Sanctuaires chrétiens de Syrie. Essai sur la genèse, la forme et l'usage liturgique des édifices du culte chrétien en Syrie du III^{e} siècle à la conquête musulmane, Paris 1947, 225

[14] *L. Duchesne*, op. cit. 350—357. Обред крштења, његов развој и значај не престају да интересују истраживаче. Уп. *E. Stommel*, Christliche Taufriten und antike Badesitten, Jahrb. für Antike u. Christentum 2 (1959) 5—14; *B. Neunheuser*, Erwägungen zur ältesten Taufliturgie. Kyriakon, Festschr. J. Quasten 2 (Münster 1970) 709—723, као и *P. Lemerle*, Philippes et la Macédoine orientale à l'époque chrétienne et byzantine, Paris 1945, 335 sq.

ти тада познатих ранохришћанских баптистеријума у Југославији[15]. Том се приликом показало да распоред крстионица из V и VI века, изразито густ у околини Салоне и Охрида, управо говори у прилог развоја који је описао Дишен. Са повећањем броја верника постало је неопходно изделити дијецезе на мање заједнице, парохије, које су уз цркву имале и друге зграде потребне за обављање служби, па тако и крстионице. Према томе и две крстионице из ранохришћанског доба у неком већем граду, у Салони на пример, па и у Стобима, не морају означавати два епископа; оне могу припадати и двема парохијама, односно представљати епископску и парохијалну крстионицу.

Истраживања о почецима хришћанског култа Л. Дишена показују, као што смо видели, да религијска пракса са краја V века, тј. из доба у коме се сматра да је изграђена друга крстионица у Салони[16] никако не намеће закључак да је та култна зграда морала припадати неком другом епископу, односно другој хришћанској заједници. Дигве је своју хипотезу о аријанској крстионици у Салони оснивао на само делимично коришћеној литератури, али и на чињеници што је Далмација у споменутом раздобљу улазила у оквир источно-готске државе у чијој је престоници, Равени, у то исто доба, био подигнут баптистеријум за хришћане аријевце[17]. Малобројни писани извори о боравку и превласти Гота у Далмацији не пружају довољно података за доношење суда о њиховој етничкој заступљености у Салони или у унутрашњости Далмације[18], па док археолошки подаци, а нарочито

[15] ЗРВИ 9 (1966) 223—255. Недовољно обавештена и сама сам, у томе раду, била спремна да прихватим, као вероватно, Дигвеово објашњење значења друге крстионице у Салони.

[16] *E. Dyggve*, op. cit. 50. — Ширење хришћанства у унутрашњости Далмације повезивала сам са делокругом рада хорепископа (ЗРВИ 9, 1966, 251 н. 118 и 119), јер је на некрополи у Манастиринама у Салони нађен саркофаг хорепископа Eugrafus-а са почетка VII века (Уп. Forschungen in Salona II, 108, № 286, Abb. 63). *D. Rendić-Miočević*, Battisteri in ambienti rurali nell'adriatico orientale, XIX Corso di cultura sull'arte ravennate e biz., Ravenna 1972, 294 види у Венанцију, који је приказан заједно са салонитанским мученицима уораторију Јована IV у Латерану, једног хорепископа из Далмације. Постојање епископа са именом Венанције у Салони није доказано археолошким путем. Фрагмент плоче од импортованог мермера (Forsch. in Salona II, 22, Abb. 19, 91 № 156) са остатком речи IVS реконструисан је као крај имена Венанцијевог, али то је до данас остала само хипотеза којом је покушана да се објасни дедикација ораторија Јована IV у Латерану и присуство епископа са тим именом између приказаних далматинских и истарских мученика чије је реликвије Јован IV пренео у Рим (Liber Pontificalis, éd. *Duchesne*, 330. Уп. такође *Bulić-Bervaldi*, Kronotaksa solinskih biskupa, Prilog k „Bulletino di arch. e storia dalmata" god. 1912, 15—20; *F. Bulić*, Sv. Venancije prvi biskup solinski i mučenik Duvanjski, Vjesnik hrv. arheol. društva 15, 1928, 55 sq.). Није, иначе, познато да ли је Венанције био хорепископ — уп. Reallexicon für Antike und Christentum II, Sp. 1112 и *E. Dyggve*, op. cit. 73, 89 n. 10.

[17] *E. Dyggve*, op.cit. 52. *F.W.Deichmann*, Ravenna. Geschichte und Monumente, Wiesbaden 1969, 207—209.

[18] *Z. Vinski*, Zur Datierung einiger Kleinfunde aus späten salonitanischen Gräbern, Adriatica. Praehistorica et Antiqua, Zagreb 1970, 699—703. Присуство аријанаца у Салони, и пре заузећа града од стране Гота, није искључено. Уп. за Равену *F. W. Deichmann*, op.cit. 207.

испитивање некропола[19] не осветле нешто више то питање, Дигвеово тумачење друге крстионице у Салони остаће и даље ипак само интересантна хипотеза.

За две крстионице из Стобија објашњење се мора тражити у оквиру интерпретација извора које је изложио Дишен. Као и читав Илирик Стоби, у ранохришћанској епоси, подпадају под црквену јурисдикцију Рима[20], па би се због тога могло очекивати да култни споменици тога града одражавају хришћанске обичаје неговане на Западу, односно у седишту папске власти. С друге пак стране, источни Илирик се непосредно граничио са областима које су у црквеном погледу биле под цариградском патријаршијом, тј. црквом која је имала нешто другојачији, оријентални ритуал. Да ли је територијална подела црквене јурисдикције у Илирику, још компликованија од времена Јустинијана, имала неког утицаја на црквену праксу или на симболичан ликовни језик којим се у раној цркви хришћанство изражавало[21]?

Наша познавања споменика из ранохришћанског периода, управо из тих граничних области источног Илирика или из Далмације, упркос приличног броја истраживаних налазишта, још нису довољна да би могла потпуно осветлити свакодневне црквене обичаје и њихов склад са западном, односно источном црквеном праксом или евентуално одступање од њих. За испитивања те врсте потребни су још многобројни претходни радови за које је најнеопходнији предуслов систематско објављивање резултата ископавања, које у нашој археологији, на жалост, већ деценијама представља најслабију тачку. Због сасвим неуједначеног познавања појединих археолошких налазишта нема могућности ни за упоредна испитивања споменика из ужих области, па самим тим, за сада, ни одговора на овде постављено питање. Међутим, захваљујући радовима страних стручњака постављени су нови методолошки путокази за нека специфична истраживања која ћемо овде анализирати и покушати да видимо у којој мери наши, до сада познати споменици, подржавају те правце испитивања.

У овом случају ради се о подним мозаицима ранохришћанског периода. J.—P. Sodini је недавно објавио каталог таквих споменика из Грчке[22], прилог који је већ постао неопходан приручник за про-

[19] У овом погледу занимљиви резултати се очекују од ископавања у Книну. — в. *D. Jelovina*, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 135 (1964) 153—156; ЗРВИ 10 (1967) 99 н. 19. *J. Belošević*, Ranosrednjovjekovna nekropola u selu Kašiću kraj Zadra, Diadora 4 (1968) 221—246. *Z. Vinski*, Autochtone Kulturelemente zur Zeit der slavischen Landnahme des Balkanraums, Pos. izd. XII — Centar za balkanol. ispitivanja knj. 4, Sarajevo 1969, 174 sq.

[20] *Б. Гранић*, Оснивање архиепископије у граду Јустинијана Прима 535 године после Хр., Гласник Скопског научног друштва 1 (1925) 113—134.

[21] Углавном се сматра да су разлике између источне и западне уметности у ранохришћанском периоду само локалне варијанте јединствене уметности: в. *K. Weitzmann*, Various Aspects of Byzantine Influence on the Latin Countries from the Sixth to the Twelfth Century, Dumbarton Oaks Papers 20 (1966) 3 sq.

[22] *J.—P.Sodini*, Mosaïques paléochrétiennes de Grèce, Bulletin de correspond. hellénique 94 (1970) 699—753. Широку скицу провинцијских радионица мозаика у

учавање тих ранохришћанских споменика на Балкану. Као резултат рада на томе каталогу постале су, сасвим природно, очигледне неке чињенице о којима Содини пише у додатку свога врло корисног прилога. Он је, наиме, констатовао да постоје случајеви велике сличности између појединих мозаика на разним локалитетима. Због тога је покушао да утврди центре сталних радионица мозаика, али и да издвоји мозаике путујућих занатлија.

Због сличности које постоје између неких мозаика у једној ужој географској средини — у Стобима, Акрини и Козани — Содини је предложио Стоби као центар једне радионице за мозаике[23]. Међутим суочен са чињеницом да непотпуно објављени споменици пружају само делимичну слику, он је за сличност између неких мозаика, као што су то они из Никопоља и из Хераклеје Линкестис, претпоставио исти или сродан картон-узорак, који је, судећи по стилу тих мозаика, био пропраћен различитом реализацијом[24]. Циркулисање картона са разним мотивима по којима су мозаици рађени представља реално објашњење за велику сличност неких мозаика. Тема мозаика је била забележена у цртежу, а величина и евентуалне финесе у изради су зависиле од одређеног простора и вештине занатлије[25]. На тај начин се могу објаснити неке упадљиве сличности на фигуралним мозаицима, као што је то на пример поље са јеленом који пасе испред неког стабла у баптистерију у селу Октиси код Струге[26]

Југославији дао је *D. Mano-Zissi*, La question des différantes écoles de mosaïques gréco-romaines de Yougoslavie et essai d'une esquisse de leur évolution. La mosaïque gréco-romaine, Paris 1965, 287—294.

[23] *J.—P. Sodini*, op. cit. 747—749.

[24] *J.—P. Sodini*, op.cit. 743—745. Содини је такође упоређивао мозаике Никопоља са онима из Бутринта, којима су опет веома слични мозаици из Лина у Албанији, на северној обали Охридског језера. Уп. Shqiperia arkeologjike, Tirana 1971, 116, 127—9; *S. Anamali*, Les nouvelles découvertes archéologiques sur les rapports des Albanais avec Byzance dans le Haut Moyen Age, Studia Albanica 9, (1972) 138—139. О мозаицима из Хераклеје уп. *M. Medić*, Technique, Materials and Conservation of the Mosaic in the Narthex of the Large Basilica in Heraclea Lyncestis, Heraclea III, Bitola 1967, 92—94.

[25] Било би интересантно упоредити неке мотиве мозаика и скулптура у Стобима, јер има места веровању да су картони за израду мозаика послужили као узор клесарима капитела базилике епископа Филипа. Осим пауна у врежи бршљена са кантаросом уп. на пр. птицу у лету на капителу сл. 40 — *И. Николајевић-Стојковић*, Рановизантиска арх. декоративна пластика у Македонији, Србији и Црној Гори, Пос. изд. Виз. инст. 5, Београд 1957, и птице у лету на мозаицима, на пр. у Хераклеји: *G. Cvetković-Tomašević*, Mosaic Pavements in the Narthex of the Large Basilica at Heraclea Lyncestis, Heraclea III, Bitola 1967, фиг. 2.

[26] *Н. Вулић*, Антички споменици из наше земље, Споменик LXXI (1931) 221—222 бр. 589: „Јелен стоји поред једног дрвета и око њега се види цвеће и грање". Око крстообразне писцине у Октиси, осим панoа са јеленом приказане су и друге сцене. Тако су: „Према једним степеницама у мозајку две бела, а према другим два црна коња и између њих амфора" — op. cit. 221. Очигледно је да се ради о приказивању по једног пара белих и црних оваца или јагњади између којих је амфора — слици која се иначе појављује у нартексу цркве у Октиси (в. *Д. Коцо*, Ранохристијански базилики во областа на Охридското Езеро, Зборник на трудови. Пос. изд. Нар. Музеј Охрид 1961, 20, сл. 3). Беле односно црне овце су приказане и у нартек-

и, нешто умањеним, тим истим мотивом, из палате Перистерија у Стобима[27].

Каталог који је Содини саставио подсетио је и на друге могућности које проучавање подних мозаика, као уметнички и археолошки извор одређене епохе, може да пружи. Позитивно оцењујући тај прилог F. W. Deichmann је, као занимљив задатак за будуће истраживање, предложио проучавање профаних и митолошких мозаика из вила и приватних кућа и истраживање њиховог односа са истим таквим мозаицима у црквама[28].

Податке и за овај вид истраживања Содини је наговестио указујући на врло јасан пример мозаика које је један исти атеље, крајем VI и почетком VII века, израдио у једној вили (Хермионе) и у једној цркви (Суја)[29]. У Македонији се сличан пример појављује нешто раније и то, као и у Грчкој, са истим ликовним садржајем мозаика: око једне вазе окупљеним и хералдички распоређеним животињама (јелени, овце) или птицама. То је хеленистички мотив, који је као што је познато, у раном хришћанству добио алегоријску интерпретацију[30]. Међутим у току тог истог периода, као што показују примери са Крита и Пелопонеза, као и неки из Стобија које ћу овде описати, он није био ограничен само на култне грађевине, већ је приказиван и у репрезентативним дворанама за становање.

Сматра се да мозаици тог садржаја у ранохришћанској иконографији ликовно приказују прве стихове псалма 42—43 (41—42) који је у баптисмалној литургији певан на крају свечаног бдења уочи крштења и да су управо због тога они врло често приказани у крстионицама. Неки истраживачи су опет, због постојања мозаика таквог садржаја, проглашавали за крстионице и неке просторије за које археолошки докази нису говорили у томе смислу. Такав је, на пример, био случај са једном зградом у Стобима[31]. У тзв. „Летњој палати" поред

су базилике епископа Филипа у Стобима — уп. *R. F. Hoddinott*, Early Byzantine Churches in Macedonia and Southern Serbia, London 1963, Pl. 41 и 42, а идентично распоређене, као у Октиси могу се наћи приказане и на мозаичним подовима у вилама (уп. *M. Chehab*, Les caractéristiques de la mosaïque au Liban. La mosaïque gréco-romaine, Paris 1965, 336, fig. 10).

[27] *G. Mano—Zissi*, Mosaiken in Stobi, Bull. de l'Inst. arch. bulg. 10 (1936) 289, Abb. 180.

[28] Byz. Zeitschrift 64 (1971) 238.

[29] *J.—P. Sodini*, op.cit. 705—706, n. 9 i 751—753.

[30] *A. Grabar*, Christian Iconography. A Study of its Origins, Princeton N.J. 1968, Увод, I и II поглавље и посебно стр. 51 sq.

[31] *P. Underwood*, The Fountain of Life in Manuscripts of the Gospels, Dumbarton Oaks Papers 5 (1950) 52, n. 48. *H. Toubert*, Le renouveau paléochrétien à Rome au début du XIII[e] siècle, Cahiers archéologiques 20 (1970) 135, n. 132. У Стобима, у новооткривеној крстионици, добро је сачуван полихроми мозаични под са представама паунова, јелена, водених животиња које фланкирају фонтане — уп. *V. Mckeen*, op. cit. 215. Упоредно проучавање свих мозаика из Стобија који показују овакве композиције омогућиће доношења коначних закључака о овде изнетим гледиштима. О баптистерију и мозаицима в. *J. Wiseman—Dj. Mano-Zissi*, Excavations at Stobi, 1971. AJA 76 (1972) 422—424, Pl. 90.

фонтане која се налазила у средини дворане са апсидом, била је у подном мозаику приказана следећа, често описивана[32], композиција: фонтана-водоскок, декорисана пинијом из које теку млазеви воде, заузима централно место у мозаичном пољу. Са обе стране водоскока израста по једна биљка која издваја две, симетрично према фонтани постављене, птице, највероватније гуске. Изданци неке биљке издвајају опет те птице од два, такође сасвим симетрично приказана, јелена, а иза сваког од њих види се по једно стабло разлисталог дрвета. У литератури је већ запажено да таква композиција није искључиво везана за баптистерије[33], а Содини је издвојио управо ту композицију из „Летње палате" и подвукао њено сродство са сасвим сличним мозаицима у Акрини и Козани[34]. У Стобима је, као што је речено, тај мозаик био постављен у репрезентативној дворани зграде која није имала култну функцију[35], док је њему веома блиска композиција из Акрини имала место у централном броду цркве, а у Козани је била у нартексу. Тим мозаицима се придружује један из јужног брода базилике А у Амфипољу, а такође и један из јужног брода базилике Г из Новог Анхијала[36]. Наведени примери показују да на подручју централног Балкана композиција о којој је реч нема одређено место у подној декорацији ранохришћанских цркава. Штавише, разноврсност места на којима се она појављује доводи у сумњу уобичајени алегоријски садржај који јој се приписује. Изгледа, наиме, много вероватније да је у споменутим црквама та композиција била лишена специфичног алегоријског значења, али да је и даље приказивана као омиљени мотив.

Да видимо како изгледају на Балкану, у западним и централним областима Полуострва, мозаици са таквим композицијама које су несумњиво имале алегоријски значај било као илустрација псалма или сасвим сличне теме која је названа „извор живота".

На првом месту је класичан пример из катехуменеја у Салони. Већ крајем IV века псалм 42—43 (41—42) се певао уочи крштења и то, као што је већ речено, у тренутку када су кандидати за крште-

---

[32] Овим мозаиком се недавно бавио *К. Петров*, Необјаснети места на две христијански алегориски мозаични композиции, Годишен Зборник Филозоф. Фак. 23 (Скопје 1971) 299—305.

[33] *J.—L. Maier*, op.cit. 138, n. 1.

[34] *J.—P. Sodini*, op.cit. 747—749.

[35] Дворана са апсидом и фонтаном у средини је у Стобима типична репрезентативна одаја у неколико архитектонских целина. Осим „Летње палате", она је постојала у тзв. „Перистерија" палати и у тзв. „карташници" — Уп. *J. Petrović*, U Stobima danas, Glasnik Hrv. zem. muzeja 54 (Sarajevo 1942) 487.

[36] *J.—P. Michaud*, Chronique des fouilles et découvertes archéol. en Grèce en 1968 et 1969 Bull. de corr. hell. 94 (1970) 1071, figs. 406—407. *E. Stikas*, Les basiliques paléochrétiennes d'Amphipolis de Macédoine récemment découvertes, XIX Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1972, 308, fig. 4. *J.—P. Michaud*, Chronique des fouilles... Bull. de corr. hell. 95 (1971) 932. У базилици у Амфипољу се појављује нова композиција теме „извор живота": два наспрамно постављена бика између којих је крстообразна писцина.

ње, после свечаног бдења, прелазили из катехуменеја у баптистериј[37]. У комплексу епископске крстионице у Салони композиција описаног садржаја је била приказана управо на излазу из те просторије, односно у пролазу за простазис крстионице. Текст првих стихова псалма је чак био исписан на мозаику како би још изразитије подвукао његово посебно значење и наговестио песму која се на томе месту певала. Мозаик са натписом из Салоне је за сада усамљен — није познато како у целини изгледа и у каквом се архитектонском комплексу налази мозаик са јеленима и вазом у Задру[38] — а његово датовање је само релативно. Гербер је као једну могућност времена израде мозаика у Салони претпоставио неку оправку пода[39], која је можда уследила приликом преуређења баптистерија око средине VI века[40], јер томе времену одговара и стил мозаика.

Друга два баптистерија из централних области Балкана — Бутринто и Охрид — са краја V или почетка VI века показују у подном мозаику нешто другојачију слику. Мозаици који указују на псалм 42—43 (41—42) се сада налазе у самим крстионицама, уз писцине, на месту где се појављују и неке друге композиције које симболично указују на благодет крштења.

У Бутринту је уз писцину израђено мозаично поље у коме је испод лука латински крст кога уоквирују и два кипариса изнад којих су два голуба. Из подножја крста избија извор коме се приближавају два јелена. На основу стилских аналогија овај се мозаик датује у V или, што је можда вероватније, у VI век.[41] Но, без обзира на то који од два предложена датума више одговара стварном времену израде мозаика, његов симболичан језик показује неке необичности. Пре свега крст који стоји изнад „извор-воде“ и очигледно симболизује Бога-Сина, приказан је на поду, што је у потпуној супротности са постојећим законским одредбама[42]. Међутим та чињеница само пока-

---

[37] *L. Duchesne*, op.cit. 327. Уп. такође *H.—Ch. Puech*, Note sur le symbolisme de la mosaïque découverte au baptistère de Henchir Messaouda, Cahiers archéologiques 4 (1949) 41 sq. У православном богослужењу псалм 42—43 се сачувао само у минеју за јануар и пева се на Крстовдан, празник уочи Богојављења, када је у раном хришћанству у Источној цркви и обављано крштавање. На Западу је оно у томе периоду обављано на Ускрс и Духове, а на Истоку још и на Богојављење, односно Крстов-дан (уп. *L. Duchesne*, op.cit. 310). Еволуција баптисмалне праксе у Источној цркви условљена крштавањем деце (уп. *L. Bréhier*, La civilisation byzantine, Paris 1970, 24) утицала је и на измену обреда, али певање псалма 42—43 на Крстовдан само показује да је у раној цркви обред крштења на Истоку и на Западу био сасвим сличан.

[38] *C. F. Bianchi*, Zara cristiana I (Zara 1877) 120—121. О сакристији испод чијег пода се налази мозаик в. *I. Petricioli*, Zadar. Turistički vodič, Zadar 1962, 35.

[39] Forsch. in Salona I, 77. Гербер је подвукао сличност мозаика из катехуменеја са мозаицима крстообразне цркве у Салони која је, највероватније, подигнута у првој половини VI века.

[40] *E. Dyggve*, op.cit. 31.

[41] Shqiperia arkeologjike, 116. *J.—L. Maier*, op.cit. 140.

[42] Cod.Iust. I, VIII, Закон Теодозија из 427. Забрана је била поновљена на Сабору од 692, Can. 73, Mansi XI, 976. В. такође *C. Mango*, The Art of the Byzantine Empire 312—1453. Sources and Documents in the History of Art Series. Englewood, 1972, 36.

зује у којој су мери у ликовном изражавању увек постојали изузеци који обавезују на обазривост приликом интерпретације и датовања споменика. Упркос формалној забрани крст се понекад појављивао на подном мозаику као апотропејски мотив[43].

У Бутринту је алузија на псалм 42—43 потпуно јасна. У истој крстионици, нешто ниже од панoa са јеленима и извором накнадно је убачено још једно мозаично поље чијој се теми такође придаје алегоријски значај: ваза из које израста винова лоза, а на којој су приказана два, хералдички распоређена, пауна; при дну вазе су две птице од којих се једна храни грожђем[44]. Алегоријски језик те композиције би требало да указује на еухаристију, вероватно на причешће које су неофити примали после крштења.

Тема „извор живота" која се појављује у крстионици у Охриду, са краја V или почетка VI века, уствари је само једна варијанта композиције са извором, односно вазом и животињама. Њен садржај се ослања на старозаветни опис раја[45], али је њен ликовни језик такође позајмљен из хеленистичке уметности. Он хералдички групише око фонтане разне животиње и птице. Популарности тога мотива су нарочито допринела теолошко поетска размишљања која, у вези са крстионицама, кулминирају у стиховима Сикста III (432—440) исписаним у латеранском баптистерију[46]. Сличну тему су вероватно илустровали мозаици око крстообразне писцине у Октиси. Међутим тема „извор живота" или илустрација стихова псалма 42—43 (41—42) нису никако биле обавезан репертоар подних мозаика крстионица у источном Илирику. Оне нису приказане у Баргали[47] нити у Хераклеји Линкестис[48], иако су у комплексу велике базилике овог другог локалитета панои са вазама или фонтанама, виновом лозом, афронтираним јеленима и птицама врло бројни[49].

Као што је познато, централни мотив лепог мозаика у нартексу те цркве представља један медаљон у коме је кантарос са виновом лозом, са стране јелен и кошута, а изнад њих у лози, два симетрично

[43] *E. Kitzinger,* The Threshold of the Holy Shrine: Observations on Floor Mosaics at Antioch and Betlehem, Kyriakon. Festschr.J.Quasten 2 (Münster 1970) 639—647.

[44] *J.—P. Sodini,* op.cit. 741, fig. 9.

[45] *T. Velmans,* L'iconographie de la „Fontaine de vie" dans la tradition byzantine à la fin du Moyen age. Synthronon. Bibl. des Cahiers archéol. II, Paris 1968, 119.

[46] Liber Pontificalis, 236. Уп. такође *G. Babić,* North Chapel of the Quatrefoil Church at Ohrid and its Mosaic Floor, ЗРВИ 13 (1971) 271 sq.

[47] *B. Aleksova—C. Mango,* Bargala: A Preliminary Report, Dumbarton Oaks Papers 25 (1971) 270—271.

[48] Крстионица у Хераклеји се налази југоисточно од апсиде „велике базилике". Објављена је у плану *Г. Цветковић-Томашевић,* Хераклеја Линкестис, изд. Туристичка штампа, Београд 1968, стр. 6 и 8. Уп. такође *G. Cvetković-Tomašević,* Mosaïques paléochrétiennes découvertes à Héracléa Lyncestis au cours de la dernière décade. XIV Congrès int. des études byz. Résumés-Communications, Bucarest 1971, 359.

[49] Ibid. Неке сличности постоје између мозаика у Хераклеји и у Питиунту на Црном Мору. Уп. *A. Vostchinina,* Mosaïques gréco-romaines trouvées en Union Soviétique, La mosaïque gréco-romaine, 322—323 и *В.А.Леквинадзе,* О древнейшей базилике Питиунта и ее мозаиках, Вестник древней истории 2 (1970) 174—193.

постављена пауна. Г. Томашевић је пренела мишљење Wilpert-а о симболичном значењу тих мотива и истовремено истражила аналогије за такву композицију[50]. Међутим учесталост тога мотива на подним мозаицима комплекса велике базилике у Хераклеји најочигледније намеће питање које смо овде већ поставили — да ли је композицији са вазом, виновом лозом, јеленима, паунима и другим птицама сваки пут придаван хришћански алегоријски садржај или је она, током времена, поново постала оно што је у хеленистичкој уметности већ била — декоративна, жанр сцена?

Видели смо да је мозаик са фонтаном, јеленима и птицама откривен у Стобима у „Летњој палати" или „Парохијској кући" како би, после контролних ископавања, било правилније звати ту зграду[51]. Но у Стобима је још једна репрезентативна дворана имала у подном мозаику поље декорисано „виновом лозом која израста из вазе са птицама на гранама, а доле са стране по једним јеленом"[52]. Тај мозаик је доста настрадао од пожара па, осим описа, не знамо о њему ништа ближе, ма да, судећи по фотографијама целог ансамбла мозаика, изгледа да се од те композиције ипак доста очувало. То је угаоно поље, десно од улаза, дворане са апсидом тзв. Партениосове палате. Најновије тумачење натписа у мозаику из те исте дворане[53] која је, као и репрезентативна дворана из „Парохијске куће" имала опсим апсиде и фонтану у средини, указује на то да су њени становници припадали хришћанству[54].

У Стобима се дакле, у домовима имућнијих грађана, као и у вили у Хермионе, одомаћио у подном мозаику мотив који је у то исто време израђиван и у црквама. У неким случајевима се, као што је споменуто, могло утврдити да је иста група занатлија била запослена у култним и у стамбеним зградама.

Овде изнети примери из Стобија, малобројни за сада, као уосталом и они из Грчке, осветљавају уствари један међусобно узрочан феномен: хришћани који су својим новчаним прилозима омогућавали декорисање цркава подним мозаицима[55], очигледно су желели да ти исти мозаици украсе и њихове домове па су тако неке иконографске

---

[50] *G. Cvetković—Tomašević*, Heraclea III, 41

[51] *J. Wiseman—Dj. Mano-Zissi*, op.cit. 407. Уп. такође Arheološki pregled 7 (1965) 129—131. „House of Psalms" — AJA 76 (1972) 423 n. 72 и најновије *J. Wiseman*, Stobi. A Guide to the Excavations. Beograd, 1973, 34—36.

[52] *Dj. Mano-Zissi*, Mosaiken in Stobi, Bull. de l'Inst.arch.bulg. 10 (1936) 280. *J. Wiseman*, op. cit. 42.

[53] *J. Wiseman—Dj. Mano—Zissi*, op.cit. 399.

[54] Ibid., заветни мозаик Перистерије у јужном броду базилике епископа Филипа. — Објашњење за паралелну појаву неких мотива у профаним и култним зградама Кицингер види, с правом, у томе што су они били део сталног репертоара мотива који су мозаичари употребљавали — в. *E. Kitzinger*, Mosaic Pavements in the Greek East and the Question of a „Renaissance" under Justinian, Actes du VI[e] Congrès int. d'études byz. II, Paris 1951, 219.

[55] Како су брзо неки хришћански алегоријски мотиви изгубили симболично значење и постали само уопштен симбол хришћанства (на пр. паунови који фланкирају вазу), најбоље илуструје њихова појава на накиту и другим украсним предметима.

теме, ушавши у стамбену архитектуру у културним грађевинама вероватно изгубиле свој алегоријски смисао и поново се вратиле у круг декоративних сцена[56].

Преношење мотива преко картона, не само из култних грађевина у домове хришћана, већ и из једног места у друго, може се и у нашој земљи наслутити, али прави односи између појединих споменика, па тиме и упознавање не само ктиторских жеља већ и уметничких остварења мозаичара, моћи ће се сазнати тек када многи до сада откопани ансамбли, који годинама стоје неиздати (Октиси, Охрид) буду на савремен начин публиковани[57]. Истовремено, брже објављивање резултата ископавања, макар у виду извештаја, којима као узор могу да послуже најновији о ископавањима у Баргали и Стобима, основан је предуслов за унапређење ранохришћанске археологије у нашој земљи. Спутани непотпуним обавештењима често остајемо на нивоу знања постигнутог пре неколико деценија, па због тога ни давно познати ранохришћански комплекси, као што су они у Салони, не могу добити нова, потпунија, објашњења.

I. NIKOLAJEVIĆ

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES BAPTISTÈRES DE SALONE

La contribution d'Ejnar Dyggve au développement d'archéologie chrétienne en Yougoslavie est considérable. Les recherches qu'il avait faites à Salone et ailleurs en Dalmatie et particulièrement les interprétations de monuments qu'il avait avancées ont toujours attiré l'attention des chercheurs. Il s'occupait surtout des fouilles de révision, mais il avait entrepris aussi le dégagement de quelques bâtiments inexplorés. Dans la partie ouest de Salone, il avait découvert — comme il est bien connu — à côté d'une basilique, les

[56] *К. Пешров*, op.cit. 303 sq. сматра да мотив из Стобија, из „Парохијске куће" илуструје „христијанска алегориска содржина со дидактична намена, а никако за случајно одбран декоративен мотив". Датујући тај мозаик у крај IV и почетак V века он сматра да је власник зграде „нарачал христијански мотив на евхаристија во трпезаријата за да ја нагласи својата христијанска горливост и христијански поглед на светот", али истовремено допушта могућност да је дворана, у којој је била израђена композиција, могла служити као приватна капела.

[57] Изузетак у томе погледу је мозаик из нартекса велике базилике у Хераклеји Линкестис који, из више разлога, привлачи пажњу. Без обзира на слагање или неслагање са интерпретацијом, иначе врло добро обавештеног аутора *G. Cvetković-Tomašević*, Heraclea III, 9—62 (в. критику, одн. анализу само једног издвојеног мотива *К. Пешров*, op.cit. 306—316; *J.—P. Sodini*, op.cit. 743, н. 88, с правом сматра да мозаик из нартекса „велике базилике" илуструје тему φιλία τῶν ζώων) остаје чињеница да је Heraclea III једина наша нова публикација која на задовољавајући начин објављује један мозаик.

vestiges d'un baptistère. En publiant pour la première fois ce bâtiment il l'avait appelé „baptisterium II", mais en même temps il avait suggéré que pour la compréhension de ce monument les analogies doivent être cherchées à Ravenne. Plus tard Dyggve avait développé davantage l'étude de cet édifice en soulignant le fait que le baptême était un privilège exclusif des évêques. C'est pourquoi il croyait que le second baptistère de Salone devait appartenir aussi à une église épiscopale. Or, comme vers la fin du V^{e} et au commencement du VI^{e} siècle, époque où Dyggve situe l'édification de ce bâtiment, la Dalmatie appartenait au royaume des Goths, il paraissait très séduisant, par analogie avec Ravenne, d'attribuer aux ariens le nouveau baptistère de Salone. Malgré les critiques, assez sérieuses, adressées à l'interprétation de Dyggve, l'opinion qu'il avait avancée s'est maintenu jusqu'à présent.

L'ensemble de bâtiments qui englobaient le baptistère II à Salone n'est découvert que partiellement. Donc, l'affirmation de l'hypothèse proposée par Dyggve peut-être confirmée uniquement par les fouilles. Cependant on ne doit pas perdre de vue le fait que vers la fin du V^{e} siècle le baptême n'était plus le privilège des évêques et que deux ou plusieurs baptistères de cette époque dans une même ville ne présentent aucunement un cas exceptionnel (Rome, Naples). En Yougoslavie les fouilles à Stobi de 1971 ont démontré le même phénomène. A côté d'un baptistère connu depuis 1937 on a découvert aussi un baptistère au Sud de la basilique de l'évêque Philippe.

Il est intéressant que même avant la découverte de ce nouvel édifice on a essayé de voir à Stobi un second baptistère dans une salle d'un palais. Il s'agit de la salle à l'abside et à une fontaine du „palais d'été" ou selon les résultats de nouvelles fouilles de la „maison paroissiale". Comme il est connu on a découvert dans cette salle un pavement en mosaïque dont une composition représantant des animaux autour d'une fontaine, sujet qui se rencontre assez souvent dans les baptistères. Les nouvelles recherches, faites surtout en Grèce, posent de nouvelles questions. Notamment elles semblent démontrer que les compositions représentant des cerfs et des oiseaux autour d'une fontaine ou d'un vase (à Stobi dans la maison paroissiale et dans le palais de Peristeria), en devenant le motif préféré dans les maisons des chrétiens, ont perdu le sens allégorique dans les bâtiments du culte. D'ailleurs, comme E. Kitzinger l'avait démontré, ces compositions faisaient partie du répertoire des mosaïstes qui les avaient réalisées en même temps, en Grèce et en Macédoine, dans les églises et dans les maisons des chrétiens.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

GORDANA BABIĆ

L'ICONOGRAPHIE CONSTANTINOPOLITAINE DE L'ACATHISTE DE LA VIERGE À COZIA (VALACHIE)

Les relations artistiques entre la Serbie et la Valachie vers la fin du XIV[e] siècle ont été démontrées à plusieurs reprises, surtout dans le domaine de l'architecture. Le catholicon de Cozia en est un exemple connu depuis longtemps.[1] Par contre, on n'a pas encore fait d'études comparatives concernant les peintures murales serbes et roumaines du XIV[e] siècle. Et malgré cela, on rattache parfois, sans raisons convaincantes, l'Acathiste de Cozia aux Acathistes serbes du XIV[e] siècle.[2] Nos connaissances actuelles concernant la peinture de l'époque des Paléologues de même que la signification théologique et iconographique de l'Hymne Acathiste de la Vierge, nous permettent d'examiner avec plus d'attention ce cycle mariologique, conservé dans le narthex du catholicon à Cozia.[3] Daté avec raison de la fin du XIV[e] siècle,[4] ce cycle se prête bien aux comparaisons imposées par toute une série d'images semblables

---

[1] *G. Millet*, Cozia et les églises serbes de la Morava, Mélanges offerts à N. Jorga, Paris 1933, 827—857; *G. Balş*, L'influence du plan serbe sur le plan des églises roumaines, L'art byzantin chez les Slaves, Les Balkans, 1, 2, Paris 1930, 277—294; *S. Radojčić*, Rapports artistiques serbo-roumains de la fin du XIV[e] siècle jusqu'à la fin du XVII[e] siècle à la lumière des nouvelles découvertes faites en Yougoslavie, Actes du Colloque international des civilisations balkaniques, Sinaïa, juillet 1962, 23—30.

[2] *M. Davidesco*, Le monastère de Cozia, Editions Méridiane, Bucarest 1968, 18.

[3] *I.D. Ştefănescu* a consacré quelques mots à l'Acathiste peint à Cozia dans son livre: Contribution à l'étude des peintures murales valaques, Orient et Byzance III, Paris 1928, 21; une partie du cycle a été reproduite sur la pl. 15 de l'album accompagnant le livre de *I.D.Ştefănescu*, La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie, Orient et Byzance VIII, Paris 1930, 70. En étudiant l'iconographie de l'Acathiste de la Vierge certains auteurs se sont servis des données présentées par le cycle de Cozia; voyez: *O. Tafrali*, Iconografia Imnului Acatist, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VII, Bucarest 1914, 49—84, 127—140, 153—173; résumé fr. 168—173; *J. Myslivec*, Die Ikonographie des Akathistos der Heiligen Maria, Seminarium Kondakovianum 5, Prague 1932, 97—130. L'étude qui explique l'iconographie de l'Acathiste de la Vierge comme une évocation de l'apparition sur terre de Dieu incarné, est publiée récemment par: *A. Grabar*, L'iconographie de la Parousie. L'art de la fin de l'Antiquité et du Moyen Age, I, Paris 1968, 569—582. Sur l'Acathiste, en general, voy. aussi: *A. Chadzinikolau*, Akathistos Hymnos, Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, Band I, Stuttgart 1966, 94—95.

[4] *E. Lăzărescu*, Data zidirii Coziei, Studii şi cercetari de istoria artei IX, 1, Bucarest 1962, 107—137; *V. Vătăşianu*, Datarea manastirii Cozia, Studi şi cercet. de ist. artei XVI, 1, 1969, 31—34; *E. Lăzărescu*, Despre manastirea Cozia şi varianta de triconc careia îi aparţine biserica ei, Stud. şi cercet. de ist. artei, XVII, 2, 1970, 167—193. Les sa-

conservées soit sur les murs des églises serbes et grecques du XIVe siècle, soit dans les manuscrits, un bulgare, un serbe et plusieurs grecs du XIVe ou du début du XVe siècle.

Malgré l'état déplorable des fresques du narthex de Cozia, abîmées par l'humidité, couvertes de poussière et de retouches tardives, les scènes de l'Acathiste sont facilement reconnaissables sur le mur Est. Leur aspect actuel exclut la possibilité d'une analyse détaillée du style, mais permet quelques observations relatives à la composition des images et au choix des modèles iconographiques dont le peintre de Cozia s'était inspiré. Il nous semble alors utile d'apporter notre contribution à l'étude des peintures de Cozia, en essayant d'établir l'origine iconographique de l'Acathiste, qui y occupe une place importante.

Description du cycle

Ce cycle évoque l'apparition sur terre de Dieu incarné; il comprend à Cozia vingt-quatre scènes encadrées, accompagnées de longues citations de l'Hymne rédigé en langue dite moyenne-bulgare. Il occupe les deux zones médianes du mur Est du narthex, au-dessus de la zone des saints isolés et au-dessous du Ménologe. La partie historique du cycle, évoquant la première Parousie, est illustrée, comme d'habitude, par les douze premières scènes inspirées des thèmes évangéliques; commençant du côté Nord elles remplissent la zone supérieure; les douze scènes de la zone inférieure rendent le même thème par les images plus abstraites. Aucune strophe d'introduction n'y figure.

1ère strophe (Ier ikos):

La première image du cycle est une Annonciation près du puits: l'ange sort du segment du ciel et s'envole vers la Vierge, debout près du puits, dont la forme fait penser à une piscine tétralobée. La citation ne se voit plus sur cette composition abîmée par l'humidité.[5]

2ème strophe (Ier kondakion):

La deuxième scène révèle la réponse de Marie; l'ange bénissant, le sceptre en main, s'avance vers la Vierge debout sur un piédestal, devant sa maison. Le texte de l'Hymne qui expliquait la scène n'est plus visible.

3ème strophe (IIe ikos):

La troisième scène représente l'ange et la Vierge en conversation. Les fragments de texte qui sont visibles dans la partie supérieure de l'image ne suffisent pas actuellement pour permettre le déchiffrement (fig. 1).

4ème strophe (IIe kondakion):

La Conception miraculeuse termine la partie initiale du cycle. La lumière descend du segment du ciel et se transforme en mandorle, sous forme

---

vants roumains tâchent d'établir la date précise de l'exécution des fresques en se basant sur les documents écrits, qu'ils interprètent de différentes manières.

[5] La photographie ancienne offre davantage de détails, voir: *Ştefănescu*, La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie, album, pl. 15.

d'amande, qui enveloppe la Vierge orante, debout et légèrement vue de côté (fig. 1). Le texte est disposé en trois lignes: сила вышнѣ|го осѣни тогда̀| къ зачатїю[6] . . .

Ainsi, à Cozia, les quatre premières scènes du cycle évoquent, comme d'habitude, l'idée de l'Incarnation.

5ème strophe (IIIe ikos):

La partie historique du cycle continue par la Visitation: Marie et Elisabeth s'embrassent devant une maison dont la porte est ouverte (fig. 1 et 2). Le texte remplit la partie supérieure de la composition exécutée sur fond bleu: и́мащи б[ла]гопрїѧтиѫ| д[ѣ]ва ѫтробѫ,| въстече къ Єлїсавети.[7]

6ème strophe (IIIe kondakion):

Les Reproches de Joseph confus et ému ont lieu devant une architecture peinte, très semblable à celle de la composition précédente: à côté d'une maisonnette à étage, un mur bas ferme l'espace dans lequel se trouvent les personnages. Joseph y est représenté deux fois, d'abord assis, accoudé et pensif, puis debout, appuyé sur son bâton, en discussion avec Marie (МР ΘΥ) (fig. 2). Le texte dit: боурѧ вънѫтрь и́мѣѫ помышлє . . . нѣвѣ|рныхъ, цѣломѫдрѣны їѡсифь . смѧтїсѧ .| оувѣ бжєтн зачѧтїє ѡт д[оу]ха с[вє]та, р[є]чє 'аллїлоуїа.[8]

7ème strophe (IVe ikos):

La salutation des bergers est représentée par une Nativité de Jésus, située comme d'habitude dans une grotte. La mère étendue, accoudée, tourne le dos à l'Enfant couché dans la crèche et aux trois bergers qui sont arrivés avec leurs animaux. Elle regarde l'Enfant que l'on baigne au premier plan. Joseph assis et pensif, occupe presque le centre de la scène (fig. 2 et 3). Le texte est lisible: слышиша пастырє [аг]гєлѡм поѫщи плъ|тьскоє х[рнсто]во пришє́|ствїє.[9]

8ème strophe (IVe kondakion):

La salutation des mages se déploie en trois scènes:

Les trois mages chevauchent à travers un paysage rocheux, guidés par l'étoile (fig. 3). Le texte est ici très abîmé; des trois lignes il ne reste que quelques mots: б[о]гот[єчноу звѣздоу видєвшє волсвы]|тєѧ послѣдоваша зари . . .[10]

9ème strophe (Ve ikos):

L'Adoration des mages est peinte aussi dans un paysage rocheux, où la Vierge assise sur un trône, tient l'Enfant. Les mages offrent leurs présents en s'inclinant devant la Vierge et le Christ. Le texte a disparu (fig. 3).

---

6 Δύναμις τοῦ ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε . . . voir: *C.A. Trypanis*, Fourteen Early Byzantine Cantica, Wiener byzantinische Studien, Band V, Wien 1968, 31.

7 Ἔχουσα θεοδόχον ἡ παρθένος τὴν μήτραν . . . *Trypanis*, o.c. 31.

8 Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων λογισμῶν ἀμφιβόλων . . . *Trypanis*, o.c. 32.

9 Ἤκουσαν οἱ ποιμένες τῶν ἀγγέλων ὑμνούντων . . . *Trypanis*, o.c. 32.

10 Θεοδρόμον ἀστέρα θεωρήσαντες μάγοι . . . *Trypanis*, o.c. 33.

10ème strophe (Ve kondakion):

Les trois mages s'en vont conduits par un ange qui vole au-dessus des colines. Le texte n'est plus lisible (fig. 4).

11ème strophe (VIe ikos):

La Fuite en Egypte: Joseph suit la Vierge qui porte l'Enfant, assise sur l'âne. Le fils de Joseph les accompagne. Ils arrivent vers la porte de la ville dont les maisons dépassent les remparts. Le texte est très abîmé (fig. 4).

12ème strophe (VIe kondakion):

Les paroles de Syméon sont illustrées sur la dernière image de la zone supérieure, c'est-à-dire, de la partie historique du cycle. Joseph est Marie tendent les bras vers Syméon qui porte l'Enfant. Un ciborium dressé derrière les personnages indique l'autel, tandis qu'une tour et un mur bas ferment le fond de la scène. Le texte est abîmé (fig. 4).

Le cycle continue dans la zone inférieure par quatre images dogmatiques illustrant l'Incarnation du Logos.

13ème strophe (VIIe ikos):

La Vierge du type ἡ Νικοποιός (Victorieuse) soutient l'Enfant Emmanuel, situé dans un lozange lumineux sur la poitrine de la mère; elle se tient debout sur un piédestal au centre de la composition, tandis que deux groupes de prêtres l'entourent, figurant, de même que les groupes semblables dans les scènes suivantes, les témoins de la première Parousie. Le Christ Emmanuel les bénit des deux mains. Les quatre lignes du texte, dont on ne voit que des fragments à droit, couvrent la partie supérieure de la scène: [новоу показа тварь њви]сѧ зиждитель на|м от него вышшымъ меньшѧ про.сѧ в... ... даще въ споем... ... радуи|сѧ невѣсто не[невѣстнаа].[11]

14ème strophe (VIIe kondakion):

La Vierge Nikopios est entourée de moines qui tendent les bras vers elle (fig. 7). Une longue citation, de six lignes, explique la scène: странно рождьство видѣвше. оустранимсѧ мира,| оумь на н[е]во прѣложьше. с'его во ради высокыи, на| земли їавїсѧ смѣрень чл[овѣ]к. хотѧ привлѣщи| къ высотѣ възпїѭщих ѥмѹ 'аллилѹїѧ.[12]

15ème strophe (VIIIe ikos):

Le Christ Pantocrator, debout, dans une mandorle qui flotte dans l'espace indéfini, occupe le centre de la composition. Les anges, visibles à mi-corps, sortent des segments situés dans les angles supérieurs et s'adressent à lui (fig. 1 et 8). Cette composition abstraite est expliquée par treize lignes qui couvrent le fond bleu de l'image: весь бѣ въ нижних, и выш|них никако же ѿтстѫ|пль неѿ|писа|нное слово. съхожде|нїе во б[о]жестьвно, не| мѣстно выс[т] прѣхо|жденїе. и рождьство| ѡт д[ѣ]вы б[о]гоприѫтны,| слышѫщѫѧ сїѧ. радуисѧ бл... невъмѣсти|маго въ мѣстилище. радуисѧ невѣсто

[11] Νέαν ἔδειξε κτίσιν ἐμφανίσας ὁ κτίστης... *Trypanis*, o.c. 35.

[12] Ξένον τόκον ἰδόντες ξενωθῶμεν τοῦ Κόσμου... *Trypanis*, o.c. 35.

неневѣ[стнаа].[13] Le dernier mot de cette citation n'est pas complet car la place nécessaire n'a pas été correctement prévue par le peintre qui a commencé par exécuter l'image.

16ème strophe (VIIIe kondakion):

Les archanges portent la mandorle où est assis le Christ Pantocrator (fig. 1). Quatre lignes accompagnent cette image: въсѣко ес[тъ]ство ӑггелское оу̓ди|вися великомꙋ твоего въ|чл[овѣ]ченїа дѣлꙋ. и̓ слы|шаша ѿт въсѣх, ӑлл[и]лꙋїа.[14]

La dernière partie du cycle consiste d'habitude en louanges adressées à la Vierge et au Christ, à tour de rôle. A Cozia, cet ordre n'est pas toujours respecté dans la suite des images.

17ème strophe (IXe ikos):

La Vierge Nikopios debout sur un piédestal, est entourée de rhéteurs païens (fig. 2). Ils sont vêtus de robes longues et coiffés de chapeaux dont certains ressemblent aux kamélavkions hauts et d'autres plutôt à des couronnes coniques ou ouvertes, ornées de pierres précieuses. Le texte en cinq lignes couvre le fond bleu: вѣтїа мнѡ́говѣщанны ꙗ̓ко ры|бы безглáсны вúд[и]мь ȍ тебѣ в[огороди]це. | мы же вѣрьно въпїе́мь | радуися невѣсто нене|вѣстнаа :.[15]

18ème strophe (IXe kondakion):

Le Christ Pantocrator, debout sur un piédestal, bénit des deux mains les deux groupes de rois qui lui adressent une prière. Celui qui est en tête du groupe de droite porte un costume d'empereur byzantin: un sakkos avec le diadème (διάδημα) et le maniakion, de même qu'un stemma, mais sans pendeloques. Derrière lui on distingue un personnage en robe blanche à rayures, coiffé d'une couronne en forme de calotte dont le bord est relevé sur le front. Les deux rois du groupe de gauche sont vêtus de longues robes boutonnées par devant et coiffés de couronnes ouvertes. Dans leurs suites on remarque un homme qui porte une robe blanche lui couvrant les genoux et des bottes décorées. Tous tendent les mains vers le Christ en signe de prière (fig. 2). Deux lignes de texte surmontent la scène: сп[а]сти хо́тѧ миръ и̓же въсѣм оу̓красї|тель. къ семꙋ слыши̓, 'аллїлꙋїа :.[16]

19ème strophe (Xe ikos):

La Vierge Orante ($\overline{\text{MP}}$ $\overline{\Theta\Upsilon}$) debout sur un piédestal, est entourée de part et d'autre par des vierges qui tendent les bras vers elle en priant (fig. 2 et 3). Le texte de cinq lignes explique la scène: стѣна еси д[ѣ]вамь в[огороди]це д[ѣ]во. | и̂вѡ̂ н[е]боу и̓ земли творецъ на́оучи прига́шати тебѣ всѣх. | радуися невѣсто нене|вѣстнаа.[17]

[13] "Ολος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω οὐδ' ὅλως . . . *Trypanis*, o.c. 35.

[14] Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ μέγα . . . *Trypanis*, o.c. 36.

[15] 'Ρήτορας πολυφθόγγους ὡς ἰχθύας ἀφώνους . . . *Trypanis*, o.c. 36.

[16] Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ . . . *Trypanis*, o.c. 37.

[17] Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, θεοτόκε παρθένε . . . *Trypanis*, o.c. 37.

20ème strophe (Xe kondakion):

La Vierge ($\overline{\text{MP}}$ $\overline{\Theta\Upsilon}$) est debout sur un piédestal entre deux groupes de nobles et de chantres; les nobles portent de longs manteaux, certains ont des couronnes ouvertes; tandis que les chantres se distinguent par leurs chapeaux pointus au rebord large et par les cierges qu'ils tiennent à la main (fig. 3). Le texte de quatre lignes couvre le fond: пѣнїе вьсѣко повѣждаетсѧ.| ѱальмъ и пѣснї ѡще приносїм ти ц[а]рю с[ве]ты ни что же творим| вьпїѫщим 'аллилоуїа :.[18]

21ème strophe (XIe ikos):

La Vierge en pied ($\overline{\text{MP}}$ $\overline{\Theta\Upsilon}$), toujours sur un piédestal, maintient debout une bougie plus grande qu'elle (fig. 3). Le texte explique la scène: свѣтопрнемнѫ свѣщѫ зрим с[ве]тѫѧ д[ѣ]вѫ.| почитаемѫ| сйм[ь]. радунсѧ невѣсто| неневѣстнаа.[19]

22ème strophe (XIe kondakion):

Le Christ Pantocrator ($\overline{\text{IC}}$ $\overline{\text{XC}}$) debout sur un piédestal, déchire le contrat d'Adam (fig. 3). Le texte, disposé en quatre lignes, est lisible: бл[а]г[о]д[а]ть дати вьсхотѣвь| раздравь рѫкописанїе, слы|шить ѡт вьсѣх сице| 'аллилоуїа.[20]

23ème strophe (XIIe ikos):

La composition la plus intéressante du cycle représente la louange adressée à l'icône de la Vierge Hodigitria, signée $\overline{\text{MP}}$ $\overline{\Theta\Upsilon}$ (fig. 4 et 6). Un empereur byzantin, suivi de ses archontes, d'un côté et le clergé et les moines de l'autre, prient devant l'icône de la Vierge qui porte l'Enfant sur le bras gauche. Les contours des saints personnages, représentés sur cette icône, sont accentués par des perles. La podéa (ποδέα) de l'icône, attachée au cadre inférieur, représente l'image d'un empereur byzantin en prière; son effigie a pu être brodée ou tissée sur une étoffe dont le fond est également décoré de perles. Le trépied, enfoncé dans un support carré, porte cette icône processionnelle que deux moines soutiennent.

L'empereur, qui précède le groupe de gauche, est en costume d'apparat: sakkos avec le diadème et le maniakion, décorés de perles et de pierres précieuses. Sa couronne a la forme d'un stemma sans prépendules. Seul l'empereur est nimbé. Parmi ses archontes on distingue celui qui porte l'épée, la poignée en haut; il est coiffé d'un skaranikon (σκαράνικον) qui a sur le devant le buste de l'empereur en effigie. Son kabbadion (καββάδιον), dont le col et l'ourlet sont décorés de bandes jaunes, est long, boutonné par devant; sa ceinture est étroite, selon la mode constantinopolitaine des années soixante-dix du XIVe siècle. L'archonte qu'on voit au deuxième rang porte le même costume; son skaranikon est aussi orné du buste de l'empereur, de même que celui des autres dignitaires.

---

18 Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται συνεκτείνεσθαι σπεύδων . . . *Trypanis*, o.c. 38.

19 Φωτοδόχον λαμπάδα τοῖς ἐν σκότει φανεῖσαν . . . *Trypanis*, o.c. 38.

20 Χάριν δοῦναι θελήσας ὀφλημάτων ἀρχαίων . . . *Trypanis*, o.c. 38.

Les clercs et les moines occupent le côté droit de la composition. Un long texte a jadis accompagné cette image. Actuellement, il n'en reste que la partie gauche:

пожще ти рож[дьст]во...
хра́мь б[огороди]це. въ твож...
сѣ ржкож гь... ...ѡ... с҆[ве]ти прослави. наоу҆чи...
невѣсто не[невестнаа[.[21]

24ème strophe (XIIe kondakion):

La dernière scène du cycle est très abîmée, mais on y reconnaît des nobles laïcs à gauche et des moines à droite, priant et louant la Vierge Nikopios dans la mandorle. Elle est debout et porte sur la poitrine l'Enfant, encadré par un lozange lumineux. Le texte de l'Hymne n'y figure plus (fig. 4).

Commentaire

Par son language iconographique, laconique, le cycle de l'Hymne Acathiste illustré à Cozia se distingue des autres sycles peints au cours du XIVe siècle en pays balkanique, conservés à Thessalonique (dans l'église de Saint-Nicolas l'Orphanos, peinte vers 1310—1320[22] et de la Sainte-Vierge des Chaudroniers, repeinte au XIVe siècle),[23] à Elasson (Olympiotissa, peinte vers 1350—1360),[23a] à Dečani (vers 1346),[24] à Mateič (1356—1357),[25]

---

[21] Ψάλλοντες σου τὸν τόκον εὐφημοῦμεν σε πάντες... *Trypanis*, o.c. 39.

[22] *A. Xyngòpoulos*, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ 'Αγίου Νικολάου 'Ορφανοῦ Θεσσαλονίκης, Athènes 1964, 17—18.

[23] *D.E. Evangelidis*, 'Η Παναγία τῶν Χαλκέων, Thessalonique 1954, 63—64 et 77—78, fig. 29 et 30.

[23a] Qu'il nous soit permis de ne pas être d'accord avec les savants grecs sur la datation des fresques d'Elasson entre 1294 et 1304. Mme M. Sotiriou a rapproché l'exécution des fresques d'Olympiotissa à la date inscrite sur une porte en bois conservée dans la même église (*M. Sotiriou*, 'Η πρώϊμος παλαιολόγειος ἀναγέννησις εἰς τὰς χώρας καὶ τὰς νήσους τῆς 'Ελλάδος κατὰ τὸν 13ον αἰῶνα, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς 'Αρχαιολογικῆς 'Εταιρείας IV, 1964, 271—273; voir aussi *G. Sotiriou*, Μονὴ 'Ολυμπιωτίσσης 'Ελασσῶνος, 'Επετηρὶς 'Εταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν IV, 1927, 329. *M. Chatzidakis* a accepté la date proposée; voir son article: Aspects de la peinture murale du XIIIe siècle en Grèce. L'art byzantin du XIIIe siècle, Symposium de Sopoćani, Beograd 1967, 71, fig. 22; *idem*, Classicisme et tendances populaires au XIVe siècle, XIVe Congrès international des études byzantines, Bucarest, 6—12 sept. 1971, Rapports, vol. I, 100.

Cependant, on distingue deux couches de peintures à Olympiotissa d'Elasson: celle du sanctuaire, refaite après coup, et la couche ancienne, bien conservée dans le naos, dans les collatéraux (où l'Acathiste est peint) et dans le narthex (la zone des personnages isolés). Les qualités stylistiques de la couche ancienne, surtout le modelé lent et minutieux des visages vieillis (saint Jean le Précurseur, saint Nicolas), les formes simples des architectures peintes, le nombre restreint des personnages dans les compositions, les dimensions considérables des saints isolés, les couleurs, trahissent les peintres qui connaissaient le début du siècle, mais travaillaient à l'époque suivante.

[24] *V. Petković*, Manastir Dečani, II, Beograd 1941, 44—46.

[25] *L.N.Okunev*, Građa za istoriju srpske umetnosti; 2. Crkva Svete Bogorodice-Mateič, Glasnik Skopskog naučnog društva VII—VIII, Skoplje 1930, 102—104.

à Ohrid (Sainte-Vierge-Péribleptos, 1364—1365),[26] dans le psautier dit de Tomić, actuellement au Musée historique de Moscou, №2752 (1360—1363),[27] dans le psautier serbe de Munich (enluminé vers 1370),[28] dans l'église de Saint-Démétrius du monastère de Marko à Sušica (peinte vers 1370—1372)[29], dans l'exonarthex de Gračanica (où la première couche de fresques date de la deuxième moitié du XIV[e] siècle)[30] et dans l'église de Saint-Pierre sur une île du lac de Prespa (dont les façades ont été peintes au cours de la deuxième moitié du XIV[e] siècle).[31]

La composition des images examinées à Cozia révèle des qualités peu appréciées en pays balkanique au XIV[e] siècle: les protagonistes sont situés dans un espace peu profond, décrit par des moyens très restreints. Les personnages, peu nombreux, sont toujours situés au premier plan, défini par un sol et fermé soit par une architecture très simplifiée, soit par un paysage. Ces deux éléments font une sorte de coulisse verticale devant le fond bleu dans la partie historique du cycle. Contrairement aux tendances bien prononcées en Serbie au début du XIV[e] siècle et encore vers la fin du XIV[e] siècle (fig. 15), l'artiste de Cozia n'a pas développé dans ses images les formes architecturales. Elles sont monotones, simples, et, sauf exception, très aplaties. Cela est également valable pour les formes de paysages représentés. D'autre part, les images de Cozia permettent au spectateur de constater un goût particulièrement prononcé pour la symétrie dans la composition. Cela est surtout évident dans la partie théologique du cycle. Là, évitant toute représentation du mobilier ou de l'architecture, toute description de l'espace réel, le peintre de Cozia place ses protagonistes sur un sol indéfini et range les autres personnages à ses côtés. Le protagoniste est toujours de plus grandes dimensions que les autres, et de plus, surélevé à l'aide d'un piédestal.

Ces éléments archaïques éloignent la peinture de Cozia des fresques du XIV[e] siècle, connues en Serbie, en Macédoine, ou à Thessalonique. Les images de Cozia se distinguent encore par un autre trait des peintures murales balkaniques illustrant l'Acathiste: ce sont les légendes qui jouent un rôle très important à Cozia. Plus la signification théologique de l'image est compli-

---

[26] *C. Grozdanov*, Ilustracija himni Bogorodičinog akatista u crkvi Bogorodice Perivlepte u Ohridu, Zbornik Sv. Radojčića, éd. Filozofski fakultet, Beograd 1969, 39—52, pl. 1—12.

[27] *M.V. Ščepkina*, Bolgarskaja miniatjura XIV veka, Issledovanie Psaltiri Tomiča, Moscou 1963, 78—83, pl. LII—LXIII.

[28] *J. Strzygowski*, Die Miniaturen des serbischen Psalters, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Band LII, Wien 1906, 75—81, pl. LII—LVIII; *S. Radojčić*, Minhenski srpski psaltir, Zbornik Filozofskog fakulteta (Spomenica V. Novaka) VII, 1, Beograd 1963, 277—285.

[29] *L. Mirković*, Markov manastir, Srpski spomenici III, éd. Narodni muzej u Beogradu, Novi Sad 1925, 45—53, fig. 40—52. Sušica est le village où se trouvent plusieurs églises, ce que M. M. Chatzidakis (o. c. Rapport I, 106) et Mme T. Velmans (C. A. XXII, 1972, 132, note 4) semblent ne pas avoir compris en citant mon article (C. A. XII, 1962, 303—339).

[30] *P. Mijović*, O hronologiji gračaničkih fresaka, Starine Kosova i Metohije IV—V, Priština 1968—1971, 193—198; *B. Vulović*, Manastir Gračanica, Starine Kosova i Metohije IV—V, 1968—1971, 170.

[31] *B. Knežević*, Crkva Svetog Petra u Prespi, Zbornik za likovne umetnosti, Matica srpska, 2, Novi Sad 1966, 252—260, fig. 6.

quée, et plus l'image est chargée de citations. On dirait que les doctes spectateurs y cherchaient la confirmation du dogme exprimé par l'image. L'exemple évident en est l'illustration de la quinzième strophe: весь бѣ въ нижних..., où le texte se déploie sur treize lignes. Selon une tradition théologique différente et une formule iconographique très abstraite et condensée, le Christ y est représenté une seule fois, de même que sur la miniature du manuscrit grec, qui reproduit l'illustration originale de l'Hymne, selon l'avis de G. Millet. Ce manuscrit était autrefois dans la Bibliothèque synodale (№ 303, ensuite № 429) et se trouve actuellement au Musée historique de Moscou; il est daté de la fin du XIV^e^ ou du début du XV^e^ siècle.[32] D'autre part, les images balkaniques du XIV^e^ siècle, illustrant la même strophe de l'Hymne, montrent une formule différente: ä Ohrid, à Dečani, à Mateič, dans le psautier serbe de Munich, au monastère de Marko, à Thessalonique (Saint-Nicolas l'Orphanos) on voit toujours le Christ représenté deux fois „en haut" et „en bas" et les légendes ne sont jamais aussi longues.[33]

L'illustration de la quatrième strophe de l'Hymne (сила вышнего осени тогда...), évoquant la Conception virginale, confirme que le peintre de Cozia s'est servi de sources iconographiques différentes de celles qu'employaient les peintres dans les Balkans.

Dans le psautier dit de Tomić, la Conception est représentée par la Vierge du type „Znaménie", où le buste du Christ Emmanuel est enfermé dans un médaillon situé sur la poitrine de la mère, qui ne le tient pas mais lève les bras; elle est entourée de la lumière descendue du ciel et accompagnée d'une jeune fille, assise à côté d'elle et filant. La jeune fille est le témoin de la

---

[32] *Arch. Amfilochij*, O licevom grečeskom Akafiste Božiej Materi, vtoroj poloviny XIV veka, Mosc. Sinod. bibl. № 429, Čtenija Moskovskogo Obščestva ljubitelej duchovnogo prosveščenija X, Moscou 1870, 118—126. Depuis ce temps là, les chercheurs tâchent d'établir la date du manuscrit Sinod. gr. 429, en le situant entre le XI^e^ et le XV^e^ siècle. Actuellement, on le place autour du 1400, le plus souvent. Dernièrement, *V.D. Lichačeva* a présenté les opinions de la plupart des chercheurs, en considérant elle-même, la deuxième moitié du XIV^e^ siècle comme date probable de l'exécution des miniatures, voyez son article: The Illumination of the Greek Manuscript of the Akathistos Hymn (Moscow, State Historical Museum, Synodal Gr. 429), Dumbarton Oaks Papers, 26, 1972, 255—262 (avec la bibliographie détaillée). Pour les questions iconographiques, voyez surtout:

Strzygowski, Der Akathistos Hymnos der Synodalbibliothek, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, LII, Wien 1906, 128—133; *Ščepkina*, o.c. 147; *G. Millet*, Sur l'illustration de l'Hymne Akathiste, Actes du IV^e^ Congrès international des études byzantines, Sofia sept. 1934, dans Izvestija na bŭlgarskija arheol. institut X, Sofia 1936, 90.

L'image illustrant la quinzième strophe de l'Acathiste du Ms. grec de l'Escorial (19. R. I. 19), daté de la fin du XIV^e^ ou du début du XV^e^ siècle, nous reste inconnue; ce manuscrit est mentionné par *A. Grabar* (L'iconographie de la Parousie, 577) à propos de la quatrième strophe de l'Acathiste; deux de ses miniatures illustrant l'Hymne Acathiste de la Vierge ont été publiées par *T. Velmans*, Deux manuscrits enluminés inédits et les influences réciproques entre Byzance et l'Italie au XIV^e^ siècle, Cahiers archéologiques XX, 1970, 230—233, fig. 28 et 29.

[33] *Grozdanov*, o.c. 43; *Petković*, Dečani II, 45, pl. CCXLVIII, 2; *Okunev*, o.c. 104; *Strzygowski*, o.c. 80, pl. LVI; *Mirković*, o.c. 50, fig. 47; *Xyngopoulos*, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ, 18, fig. 103; *Myslivec*, o.c. 108—109. Sur la signification théologique de la 8^ème^ strophe, voy. *L.H. Grondijs*, Quelques remarques sur le 8^e^ oikos de l'Hymne Akathiste à la Vierge, Actes du IV^e^ Congrès intern. des études byzantines, Sofia 1936, 27—28; *Trypanis*, o.c. 22.

descente de „l'ombre de la puissance du Très-Haut" sur la Vierge.[34] Une illustration semblable de la quatrième strophe, qui montre aussi l'Enfant, mais sans médaillon, devant la poitrine de la Théotocos aux bras levés au moment de la Conception, est celle du psautier serbe de Munich. On voit sur cette image deux vierges, témoins de la parousie, tendant un voile, symbole du mystère, derrière le trône de Marie.[35] Une des deux images illustrant le même sujet à Dečani présente une autre version iconographique, où les témoins de la descente de la Grâce sont deux vierges debout de part et d'autre du trône où la Vierge siège et file.[36] La version la plus répendue au XIV[e] siècle est pourtant celle qu'on trouve sur l'autre image illustrant ce sujet à Dečani, puis à Mateič, à Ohrid, au monastère de Marko, où les jeunes filles ou les anges élèvent derrière Marie trônant le voile, symbole du mystère, qui couvre la Vierge au moment de la Conception.[36a]

Aucune de ces versions ne figure à Cozia. Par sa simplicité iconographique, l'image roumaine s'apparente plutôt à la composition correspondante du Ms. Syn. gr. 429, où l'on voit également la Vierge en Orante, debout et vue de côté, devant trois rayons de lumière venant du ciel.[37] On dirait que l'image de Cozia, de même que celle du Ms. Syn. gr. 429, témoignent de l'existence de versions laconiques et archaïsantes de l'Acathiste, apréciées à Constantinople vers la fin du XIV[e] siècle.

La vingtième strophe de l'Hymne (пѣнїе въсѣко побѣждаетсѧ . . .) parle des dons que le „roi saint" nous a offert en s'incarnant. Dans les images illustrant cette strophe les louanges sont plus souvent adressées au Christ (ainsi dans le psautier dit de Tomić, à Ohrid et dans le Ms. Syn. gr. 429).[38] A Dečani, par contre, les évêques, les prêtres et les chantres prient devant une icône de la Vierge Hodigitria.[39] L'image de Cozia en diffère, elle représente la Vierge elle-même, qui reçoit les louanges, donc, le peintre de Cozia suit une toute autre tradition.

---

[34] *Ščepkina*, o.c. 79, pl. LIII (85); *Grabar*, L'iconographie de la Parousie, 577—578; sur le type „Znaménie" voy. *N.P. Lichačev*, Istoričeskoe značenie italo-grečeskoj ikonopisi. Izobraženija Bogomateri v proizvedenijach italo-grečeskich ikonopiscev i ich vlijanie na kompozicii nekotorych proslavlennych russkich ikon, Sanktpeterburg 1911, 83—106; *N.P. Kondakov*, Ikonografija Bogomateri, Petrograd 1915, 107—108, indique explicitement la différence iconographique entre deux types: Znaménie et Nikopios. Une classification des types iconographiques de la Vierge est proposée récemment par *H. Hallensleben*, Das Marienbild der byz.-ostkirchl. Kunst nach dem Bilderstreit, Lexikon der Christlichen Iconographie, 161—178.

[35] Strzygowski, o.c. 76, pl. LII, 127; l'explication du type dans *Grabar*, L'iconographie de la Parousi, 577.

[36] *Petković*, Dečani II, pl. CCL, 1.

[36a] *Petković*, Dečani II, 44, pl. CCXXXIX, 2; *Okunev*, o.c. 102; *Grozdanov*, o.c. 40; *Mirković*, o.c. 48, fig. 42; *Strzygowski*, o.c. 76, pl. LII, 127; *Myslivec*, o.c. 120—121; *G. Babić*, Les fresques de Sušica en Macédoine, Cahiers archéologiques XII, Paris 1962, 330—331.

[37] *Treneff*, Copies photographiées des manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque synodale, autrefois patriarchale, de Moscou (album), Moscou 1862—1863, pl. V; *Arch. Amfilochij*, o.c. 120; *Strzygowski*, o.c. 129.

[38] *Ščepkina*, o.c. 81—82; pl. LXI (101); *Grozdanov*, o.c. 45; *Arch. Amfilochij*, o.c. 124; *Strzygowski*, o.c. 132.

[39] *Petković*, Dečani II, 46.

On remarque aussi que les compositions de Cozia traduisent plus exactement le texte de l'Hymne que les images peintes en Serbie, en Macédoine, à Thessalonique. Par exemple, sur l'image illustrant la douzième strophe, qui ne commente pas la Présentation du Christ au temple mais évoque le saint Syméon, témoin de la venue du Christ, la prophétesse Anne est absente à Cozia. Elle est absente aussi sur la miniature illustrant la douzième strophe de l'Acathiste dans le psautier dit de Tomić;[40] tandis que le Ms. Syn. gr. 429, non seulement Anne mais aussi Joseph est absent.[41] Donc, l'image de Cozia s'apparente plutôt à la tradition, grecque ancienne et laconique qu'à l'iconographie des scènes semblables conservées à Dečani, au monastère de Marko, à Matelč, dans le psautier serbe de Munich, à Prespa, à Thessalonique.[42]

De même, l'image illustrant à Cozia la vingt-et-unième strophe (свѣтопрнемнѫ свѣщѫ зрнм...) diffère, par sa formule iconographique, très laconique, des autres images conservées dans la peinture balkanique (Dečani, Ohrid, Mateič, le psautier dit de Tomić, le psautier serbe de Munich), aussi bien que de la miniature illustrant cette même strophe dans le Ms. Syn. gr. 429 de Moscou.[43] L'image de Cozia, dépourvue de tout détail secondaire, ne montre que deux éléments essentiels de cette composition: la Vierge et la bougie. Cette simplicité très grande n'est pas issue de la tradition narrative des cycles balkaniques du XIVe siècle.

L'analyse détaillée des autres scènes du cycle pourrait confirmer les observations déjà faites. Le peintre de Cozia n'a pas suivi les tendances stylistiques et iconographiques des Acathistes balkaniques. Il s'inspira certainement d'un modèle constantinopolitain dont les traits sont surtout visibles dans la vingt-troisième scène illustrant la prière devant l'icône de la Vierge Hodigitria: пожще ти рождество . . . Des traits laïcs apparaissent dans cette scène aussi bien dans les coutumes que dans les costumes représentés. Les dignitaires byzantins peints portent des vêtements qui n'ont été connus qu'à la cour de Constantinople, comme par exemple le skaranikon.

Selon Pseudo-Kodinos, qui a décrit les costumes que les archontes portaient au XIVe siècle, le skaranikon était le couvre-chef des hauts dignitaires, ceux qui se trouvaient entre despote et grand cartulaire à l'échelle hiérarchique byzantine. Le skaranikon était porté dans certains circonstances de la vie aulique, entre autres, pendant le chant des tropaires, aux vêpres, à la messe, etc; il était orné des figures de l'empereur représenté debout, assis sur le trône, ou à cheval. La couleur du skaranikon changeait selon le rang de celui qui le portait, comme changeaient l'aspect et le matériau utilisé pour figurer l'effigie impériale.[44]

---

[40] *Ščepkina*, o.c. 148.

[41] *Arch. Amfilochij*, o.c. 122; *Strzygowski*, o.c. 131.

[42] *Petković*, Dečani II, 45; pl. CCXLVI; *Mirković*, o.c. 49, fig. 45; *Okunev*, o.c. 103; *Strzygowski*, o.c. 79, pl. LV, 135; *Knežević*, o.c. fig. 6; *Evangelidis*, o.c. fig. 29.

[43] *Petković*, Dečani II, 46; *Grozdanov*, o.c. 45—47; *Okunev*. o.c. 104; *Ščepkina*, o.c. 82 et 151, pl. LXII (102); *Arch. Amfilochij*, o.c. 125; *Strzygowski*, o.c. 132; *A. Xyngopoulos*, Θεοτόκος ἡ φωτοδόχος λαμπάς, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 1, 1933, 321—339.

[44] Les archontes portent le skaranikon, aux vêpres, à la messe, etc. selon Pseudo-Kodinos, voir: *J. Verpeaux*, Pseudo-Kodinos, Traité des offices, Paris 1966, 195, 145—

Ce couvre-chef des dignitaires byzantins apparaît non seulement dans la vingt-troisième strophe de l'Acathiste peint à Cozia, mais aussi dans les illustrations des Conciles (visibles également dans le narthex (fig. 5), donc, chaque fois lorsqu'il a fallu représenter l'empereur byzantin avec son entourage habituel. Sur plusieurs exemples des skaranika peints à Cozia, on ne remarque que des bustes d'empereur. Quoique ce détail ne soit pas explicitement mentionné par Pseudo-Kodinos, l'existence en est connue. Le grand logothète Constantin Akropolite, représenté sur le cadre du revêtement en argent d'une icône du XIVe siècle (autrefois dans la Laure de Saint-Serge, près de Moscou et actuellement à la Galerie Tretjakov) porte un skaranikon orné du portrait en buste de l'empereur (fig 9).[45] Le Typicon du monastère constantinopolitain dédié à Notre-Dame de Bonne-Espérence (Ms. Lincoln Coll. Gr. 35, de la Bibliothèque Bodleian, à Oxford, daté de la fin du XIVe siècle) contient une série de portraits de nobles qui vivaient au cours du XIVe siècle: le fameux prôtostratôr Théodore Comnène Doucas Synadène, (fig. 10), le grand primmicier Manuel Comnène Raoul Asane, le prôtosébaste Constantin Comnène Raoul Paléologue (fig. 11), tous portent ce skaranikon d'apparat, où l'on voit une effigie d'empereur assis sur son trône.[46] On connaît également les portraits du megas dux Alexis Apokaukos (mort en 1345, représenté sur le fol. II, du Ms. Par. gr. 2144, vers 1342),[47] du grand primmicier Jean Paléologue et de son frère ainé Alexis, grand stratopédarque (représentés sur le cadre de l'icône du Christ Pantocrator, en 1363),[48] qui témoignent de l'existence de couvre--chefs semblables. Donc, les images connues représentent sur ces cocardes tantôt l'empereur assis sur son trône, et tantôt en buste. Il est évident, alors, que le peintre de Cozia a du connaître une image constantinopolitaine illustrant la vingt-troisième strophe de l'Hymne Acathiste, où ces éléments de la vie aulique se manifestèrent déjà vers le milien du XIVe siècle, au plus tard.

—146, 302, 152—164, 219—220. Le skaranikon a été identifié avec un couvre-chef dans l'étude de *St. C. Caratzas*, Byzantinogermanica (kapanos — σκαράνικον), Byzantinische Zeitschrift 47, 1954, 320—332; la même identification a été proposée depuis longtemps par *A.P. Smirnov* (Qu'est-ce que le σκαράνικον?, Byzantion 1, 1924, 726) et par *A. Grabar* (L'empereur dans l'art byzantin, Paris 1936, 22—23). Cependant, *N.P. Kondakov* a vu dans le skaranikon un vêtement, voyez: Les costumes orientaux à la Cour Byzantine, Byzantion 1, 1924, 16—18; *id.* Očerki i zametki po istorii srednevekovogo iskusstva i kultury, Prague 1929, 238—239, 189.

[45] *N.P.Kondakov*, Izobraženija russkoj knjažeskoj sem'i v miniatjurach XIV veka, Sanktpeterburg 1906, 80—83, fig. 10; *Grabar*, L'empereur, 22, note 5; *A.V.Bank*, Vizantijskoe iskusstvo v sobranijach Sovetskogo Sojuza, Leningrad—Moskva 1966, fig. 244—245.

[46] *H. Omont*, Portraits de différents membres de la famille des Comnènes peints dans le Typicon du monastère Notre-Dame-de-Bonne-Espérance à Constantinople, Revue des études grecques 17, 1904, 365; *O. Pächt*, Byzantine Illumination, Bodleian Picture Book № 8, fig. 22.

[47] *T. Velmans*, Le portrait dans l'art des Paléologues, Art et société à Byzance sous les Paléologues, Venise 1971, pl. LV, fig. 43 et 44; Catalogue de l'Epxosition: Byzance et la France médiévale, Paris 1958, № 64, pl. XXIII.

[48] *G.Ostrogorski*, Serska oblast posle Dušanove smrti, dans Vizantija i Sloveni, Sabrana dela, vol. IV, 552, fig. 27; l'icône du Christ Pantocrator, où figurent les portraits du grand primmicier Jean Paléologue et de son frère Alexis, grand stratopédarque, se trouve à l'Ermitage (Leningrad, USSR); *Bank*, o.c. fig. 265—268.

Les costumes portés à la cour des Paléologues soulignaient les différences précises dans la hiérarchie des pouvoirs, de même que l'idée traditionnelle de l'origine divine du pouvoir impérial transmis aux archontes. Les hauts dignitaires portaient l'effigie impériale sur leur skaranikon, et l'empereur lui-même portait, pour des occasions précises, une effigie du Christ sur sa couronne. Une preuve iconographique de l'existence d'une telle couronne impériale nous est parvenue grâce à la découverte d'une fresque du début du XVI^e siècle, nettoyée récemment dans l'église de Saint-Georges à Krepičevac, en Serbie orientale. Sur cette fresque on voit une Déisis avec le Christ et la Vierge représentés en costumes impériaux (fig. 12), comme c'en était l'habitude au XIV^e siècle.[49] Le costume du Christ est particulièrement intéressant à cause de la couronne: sur le devant de celle-ci le Christ Emmanuel, nimbé, apparaît en buste, parmi les pierres précieuses et les perles qui décorent normalement les couronnes impériales. Cette couronne de Krepičevac est dépourvue des prépendules et de l'orphanos, mais elle a la forme d'un stemma. Le costume du Christ-empereur comporte tous les autres insignes du pouvoir impérial, comme on avait l'habitude de les représenter au XIV^e siècle: le sakkos avec le maniakion, les péribrachia, les manchettes, les ourlets et les carrés sur les genoux richement décorés de perles et de pierres précieuses; le diadème décoré de la même manière, croisé sur la poitrine et dont le bout est soutenu par la main gauche; et la couronne qui ressemble beaucoup à un stemma.[50] Il est, donc, possible que le peintre de Krepičevac se soit inspiré d'une image du XIV^e siècle, où un tel costume du Christ-empereur pouvait être reproduit. En acceptant cette hypothèse, qui explique l'apparition de la couronne extraordinaire (avec l'image du Christ Emmanuel sur le devant) sur une fresque exécutée à l'époque où les innovations de ce genre n'étaient plus concevables, on peut être certain qu'au temps des Paléologues une telle couronne impériale a pu être peinte car elle existait réellement. Celle-ci exprimait parfaitement l'idéologie traditionnelle, selon laquelle l'empereur byzantin est le seul prince de ce monde élu pour régner selon la volonté divine. L'empire byzantin est l'empire de Dieu et l'empereur byzantin est le représentant de Dieu sur terre. Cette idée domine la pensée byzantine depuis l'époque de Constantin le Grand et se manifeste au cours des siècles aussi bien dans les documents écrits que dans les monuments d'art, sur les monnaies et les sceaux, ou à travers le cérémonial aulique.[51] Il n'est, donc, pas étonnant de retrouver

---

[49] *S.Radojčić*, Staro srpsko slikarstvo, Beograd 1966, 154—155.

[50] En décrivant le costume d'un empereur byzantin du XIV^e siècle nous avons adopté les termes employés par Pseudo-Kodinos; voy. *Verpeaux*, Pseudo-Kodinos, s.v. σάκκος, διάδημα, στέμμα. Le mot λῶρος signifie ceinture, en général, et le mot διάδημα désigne l'insigne du pouvoir impérial: *Verpeaux*, o.c. 200, 201, 256, 264; *Radojčić*, Portreti, 83, 50; *St. Novaković*, вѣнецъ (στέφανον) i діадима (διάδημα) u srpskim krunidbenim ceremonijama, Rad JAZU XLIII, Zagreb 1878, 189—195. Les sources écrites serbes confirment la signification des mots grecs mentionnés.

[51] *Grabar*, L'empereur, 112 sqq; *O.Treitinger*, Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell, Jena 1938; *G. Ostrogorski*, Die byzantinische Staatenhierarchie, Semin. Kond. 8 (1936), 41—61; *id.* The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order, The Slavonic and East European Review XXXV, № 84, December 1956, 1—14; les deux derniers articles ont été traduits en serbe et publiés dans *G. Ostrogorski*, O verovanjima i shvatanjima Vizantinaca, Sabrana dela, vol. V, 238—277.

l'expression de cette même pensée, généralement connue, sur une couronne impériale. Elle montre l'autorité suprême de laquelle l'empereur byzantin détient son pouvoir. Tandis que les skaranika des hauts dignitaires montrent, par l'image de l'empereur, l'autorité du pouvoir terrestre, dont une partie descend sur eux. Le skaranikon est alors un insigne qui prouve la légitimité du pouvoir des nobles, de même que la couronne impériale prouve la légitimité du pouvoir du basileus. L'intérêt considérable de la Déisis de Krepičevac réside dans le fait qu'elle apporte un renseignement précieux et unique, pour le moment, sur l'aspect d'une couronne impériale byzantine. D'autre part, la fresque de Krepičevac témoigne de l'introduction des éléments laïcs dans les images religieuses et traditionnelles. Ces interpolations se voient dans les deux cas, à Krepičevac comme à Cozia, dans les costumes des personnages saints ou laïcs qui interprètent les thèmes religieux. L'empereur, les archontes, les moines portent les costumes de l'époque dans les scènes de l'Acathiste à Cozia, et ce fait n'est pas une exception. Dans d'autres monuments du XIV^e^ siècle on trouve également ce phénomène que l'on a remarqué dans la vingt-troisième strophe de l'Acathiste illustré à Cozia. Cependant, le cas de Cozia est plus intéressant car il montre la vogue constantinopolitaine.

Le second détail intéressant qui entre dans le même ordre d'idées est l'apparition, dans la vingt-troisième scène de l'Acathiste à Cozia, d'un dignitaire qui porte l'épée. L'archonte qui porte l'épée peut être identifié à un grand domestique ou à un prôtostratôr, car au XIV^e^ siècle c'étaient le plus souvent ces dignitaires qui étaient chargés de porter l'épée de l'empereur pendant les cérémonies auliques.[52] On les voit figurer sur certaines images illustrant les événements contemporains, de même que sur les images traditionnelles illustrant les thèmes religieux. Par exemple, sur la miniature bien connue du Ms. Par. gr. 1242 (fol. 5 v.), enluminée entre 1370—1375 et représentant l'empereur Jean VI Cantacuzène entouré des archontes, des évêques et des moines, on y retrouve le dignitaire portant l'épée du basileus, la poignée en haut.[53] De même à Cozia, dans certaines compositions des sept Conciles oecuméniques, un dignitaire de la suite impériale porte l'épée du souverain, la poignée en haut (fig. 5). Donc, les éléments du cérémonial réel apparaissaient dans les images où l'empereur byzantin devait figurer avec sa suite. Les coutumes de la cour byzantine s'introduisaient ainsi dans la peinture grâce aux sujets iconographiques bien appropriés.

Le troisième détail qui rattache encore davantage la vingt-troisième scène de l'Acathiste peint à Cozia à la tradition constantinopolitaine est l'icône de la Vierge Hodigitria. Il est bien connu qu'il existait à Constantinople une icône fameuse de la Vierge Hodigitria particulièrement vénérée pendant des siècles. Elle était décorée souvent de podéai que les pieux fidèles lui offraient. Une de ces podéai a pu être offerte par un empereur qui voulait voir son portrait

[52] *Verpeaux,* o.c. 168, 176, 190, 191, 203, 234.

[53] *Grabar,* L'empereur, 92, pl. XXII, 2; sur la signification de cette image voy. aussi l'étude récente de *Ch. Walter,* L'iconographie des conciles dans la tradition byzantine, Paris 1970, 70—73, 143—144, 242, pl. 33.

à côté de l'image sainte.[54] Donc, à un certain moment de sa longue existence l'icône de la Vierge Hodigitria pouvait réellement portait la podéa dont l'image s'est conservée à Cozia. A cause de son pouvoir miraculeux et de sa bienveillance on sortait souvent l'icône de la Vierge Hodigitria de son sanctuaire, on la transportait en procession au palais impérial où avaient lieu des cérémonies liées à son culte. Selon la mention d'un Triodion, au moment de l'attaque des Arabes contre Constantinople (717), cette même icône de la Vierge Hodigitria fut portée sur les remparts pour protéger la capitale.[55] Depuis cet événement l'icône aurait été liée à la tradition qui a inspiré un prooemion (προοίμιον) de l'Hymne Acathiste.[56] Une coutume conservée encore au XIV^e siècle, et jusqu'à la fin de l'Empire, témoigne de la dévotion constante des empereurs envers cette icône et de son rôle important dans les cérémonies auliques. On la transportait solennellement au palais impérial le jeudi de la cinquième semaine de Carême et elle y séjournait jusqu'au lundi de Pâques. Lorsqu'on célébrait la vigile au palais, à la veille de la fête de l'Acathiste (le samedi de la cinquième semaine de Carême), l'icône y était.[57] Et pourtant, nous n'avons pas le droit de comprendre la scène de Cozia comme une illustration exacte de cette même vigile aulique, car le texte du Pseudo-Kodinos nous apprend que l'empereur se tenait pendant cet office dans celle des chambres qui lui plaisait et les archontes restaient dans le triklinos.[58] Il faut, donc, comprendre l'image de Cozia, de même que son prototype constantinopolitain, comme des compositions-types, ne représentant pas un moment précis de l'office réel, mais une synthèse des moments effectifs: c'est une image-type de la prière impériale adressée à la fameuse Hodigitria. Du fait qu'un verset de la vingt-troisième strophe de l'Hymne loue la Vierge qui aide à vaincre les ennemis (χαῖρε, δι' ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι . . .),[59] ce verset a pu inspirer, à l'origine, la création d'une image qui montre la prière de l'empereur byzantin, vainqueur par excellence. On sait que les chefs militaires ou les empereurs byzantins demandaient souvent la protection de la Vierge en s'adressant à la fameuse icône de la Vierge Hodigitria, avant de partir pour les campagnes militaires: le césar Bardas (866), l'empereur Jean Comnène (1118—1143), l'empereur Isaac II l'Ange (1185—1195), l'empereur Michel VIII Paléologue (1259—1282) manifestaient leur dévotion envers cette icône.[60] Le culte de la Vierge qui aide dans les luttes contre les ennemis fut, donc, très tôt lié à cette icône constantinopolitaine. Les iconographes et les peintres de la capitale furent conscients de ce fait, et il est par conséquent normal qu'ils se servissent de

---

[54] *A. Grabar*, La soie byzantine de l'évêque Gunther à la cathédrale de Bamberg, L'art de la fin de l'antiquité et du moyen âge I, Paris 1968, 218, et III, Paris 1968, pl. 36 c; sur la podéa, en général, voy. *A. Frolow*, La „podéa" un tissu décoratif de l'église byzantine, Byzantion XIII, 2, 1938, 461—504.

[55] *R. Janin*, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, III. Les églises et les monastères, Paris 1953, 209, 212.

[56] *Trypanis*, o.c. 17—26.

[57] *Verpeaux*, o.c. 230—231; *Janin*, o.c. 214.

[58] *Verpeaux*, o.c. 230, 29—33.

[59] *Janin*, o.c. 208—209; *Trypanis*, o.c. 39.

[60] *Janin*, o.c. 209—212.

cette fameuse icône de la Vierge Hodigitria pour représenter la prière de l'empereur adressée à la Vierge dans une strophe de l'Acathiste. Composée d'éléments réels, l'illustration de la vingt-troisième strophe de l'Acathiste était déjà à l'origine une image-type; elle gardait à Constantinople ce motif traditionnel, l'icône fameuse de la capitale, même lorsque les détails, comme par exemple, les costumes, changeaient selon le temps et la mode.

Les illustrations de la vingt-troisième, ou parfois de la vingt-quatrième strophe de l'Hymne, conservées dans les Balkans, et mentionnées déjà, diffèrent considérablement de l'image décrite à Cozia. Même dans certains cas où l'on reconnaît le souverain et les clercs ressemblés autour d'une icône de la Vierge, comme à Dečani et au monastère de Marko, les éléments constantinopolitains y manquent. Ce n'est pas l'empereur byzantin avec sa suite, mais le souverain serbe Dušan, avec son épouse et son fils Uroš, présents à côté de l'icône de la Vierge Hodigitria à Dečani; les habits des souverains et les chapeaux pointus à rebord des chantres témoignent de l'influence des costumes constantinopolitains sur ceux de la cour de Dušan, mais l'image est différente, elle représente la cour serbe.[61] De même au monastère de Marko (le XII^e^ ikos et le XII^e^ kondakion) l'empereur serbe Uroš V assiste à la cérémonie, paré de tous les insignes du pouvoir impérial à l'instar de son père, ou d'un empereur byzantin du XIV^e^ siècle, mais il ne prie pas, il se tient debout, dans une attitude frontale et solennelle à côté d'une icône processionnelle de la Vierge Eléousa; ses dignitaires ne portent pas de skaranika, et personne ne tient son épée (fig. 13 et 14).[62] Les différences sont nettes par rapport à l'image de Cozia. Dans d'autres cas, comme à Mateič, à Ohrid, dans le psautier serbe de Munich (la vingt-quatrième strophe), dans le psautier dit de Tomić, les prières sont adressées à une icône de la Vierge soit par des clercs, soit par des clercs et des laïcs, les prêtres et les chantres ensemble, mais l'empereur n'y figure pas.[63]

Ainsi, l'analyse iconographique de la vingt-troisième strophe révèle un fait important: au XIV^e^ siècle, cette image reflète le milieu pour lequel elle est peinte. Les exemples balkaniques en font preuve.

Cependant, ce serait une erreur que de chercher un reflet de la cour valaque dans l'iconographie de cette image peinte à Cozia. N'ayant pas un système administratif développé à la manière byzantine, les princes valaques n'avaient aucune raison d'imposer aux peintres qui travaillaient pour eux vers la fin du XIV^e^ siècle la transformation des modèles iconographiques importés, qui illustraient la hiérarchie et le cérémonial byzantins. De même, la cour des princes valaques n'avait pas à cette époque un protocole établi à l'instar de celui de Constantinople, ses nobles n'étaient pas vêtus selon la mode byzantine.[64] A cause de tout cela les scènes de l'Acathiste, peintes à Cozia, ne présen-

---

61 *Petković*, Dečani II, 46, pl. CCXLIX; *Radojčić*, Portreti, 53.

62 *Mirković*, o.c. 53, fig. 52.

63 *Okunev*, o.c. 104, fig. 19; *Grozdanov*, o.c. 48; *Strzygowski*, o.c. 83, pl. LVIII, 146 (d'après la copie du XVI^e^ siècle); *Ščepkina*, o.c. 82, pl. LXIII (105).

64 *C. Nicolescu*, Istoria costimului de curte în țarile romane XIV—XVIII, Bucarest 1970, pl. LXXVI (le portrait du prince Vladislav I, peint vers 1364); pl. LXXV (le

tent aucune intervention de la part des iconographes locaux. Le cycle a été copié tel quel, d'après un modèle qui reflétait les coutumes de la cour constantinopolitaine vers la fin du XIVe siècle, alors que Constantinople était encore un centre artistique renommé. L'importance des fresques conservées dans le narthex de Cozia s'accroît par ce fait qu'elles apportent quelques renseignements précieux sur la peinture constantinopolitaine du XIVe siècle, qui nous est toujours mal connue.

---

gisant représentant un prince, sculpté au XIVe siècle); pl. LXXVIII (les portraits des princes Mircea l'Ancien et son fils Michel, peints au XIVe siècle et repeints au XVIIe); pl. LXXXI (le portrait d'un prince, peint vers la fin du XIVe siècle). Tous ces exemples témoignent en faveur de l'observation que les princes valaques ne portaient pas des costumes semblables à ceux des archontes byzantins.



Fig. 1. Cozia, Acathiste, strophes: 3 , 4 , 5 , 15 et 16 . Phot. de l'Institut d'histoire de l'art, Bucarest.



Fig. 2. Cozia, Acathiste, strophes: 5ᵉ, 6ᵉ, 7ᵉ, 17ᵉ, 18ᵉ et 19ᵉ. Phot. de l'Institut d'histoire de l'art, Bucarest.

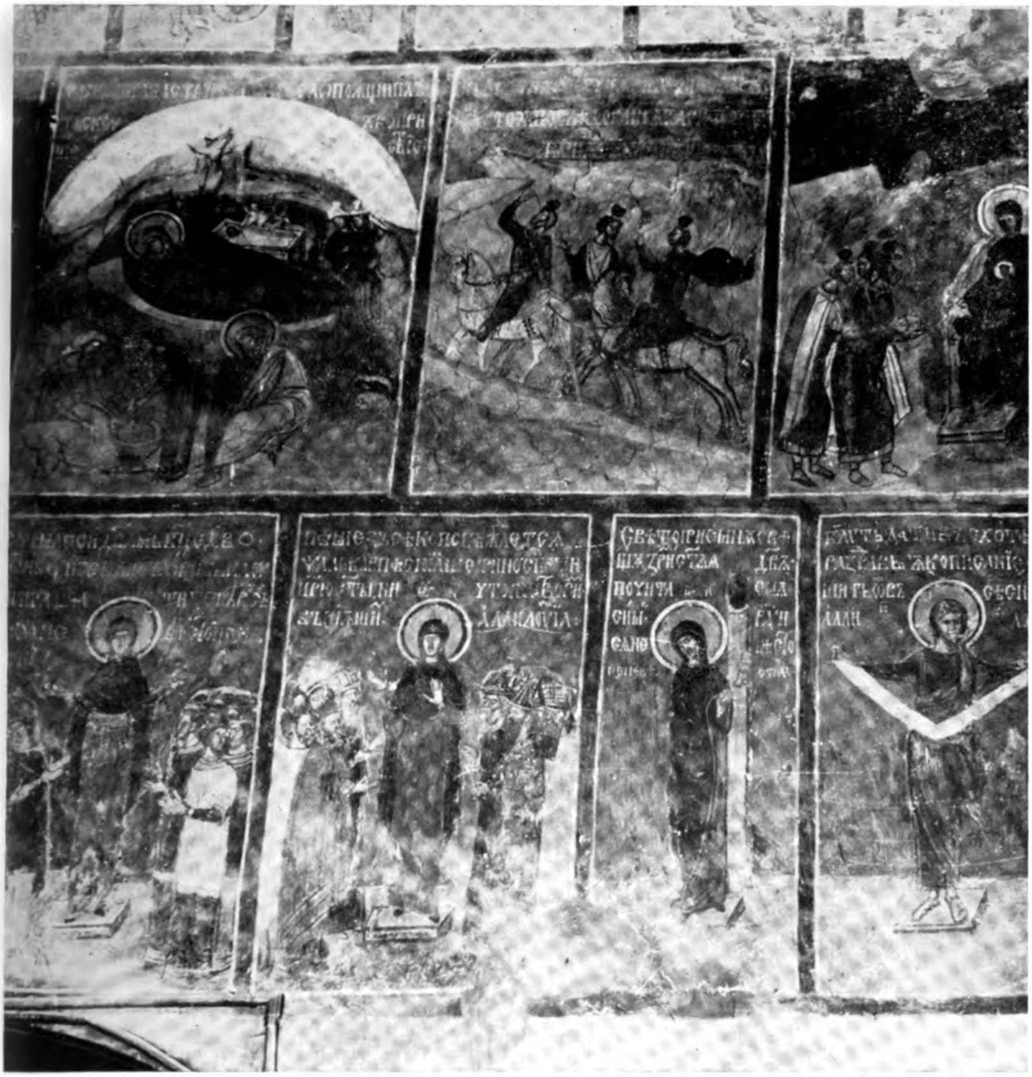


Fig. 3. Cozia, Acathiste, strophes: 7ᵉ, 8ᵉ, 9ᵉ, 19ᵉ, 20ᵉ 21ᵉ et 22ᵉ. Phot. de l'Institut d'histoire de l'art, Bucarest.



Fig. 4. Cozia, Acathiste, strophes: 10ᵉ, 11ᵉ, 12ᵉ, 23ᵉ, et 24ᵉ. Phot. de l'Institut d'histoire de l'art, Bucarest.



Fig. 5. Cozia, Conciles (détail). Phot. M. Djordjević.

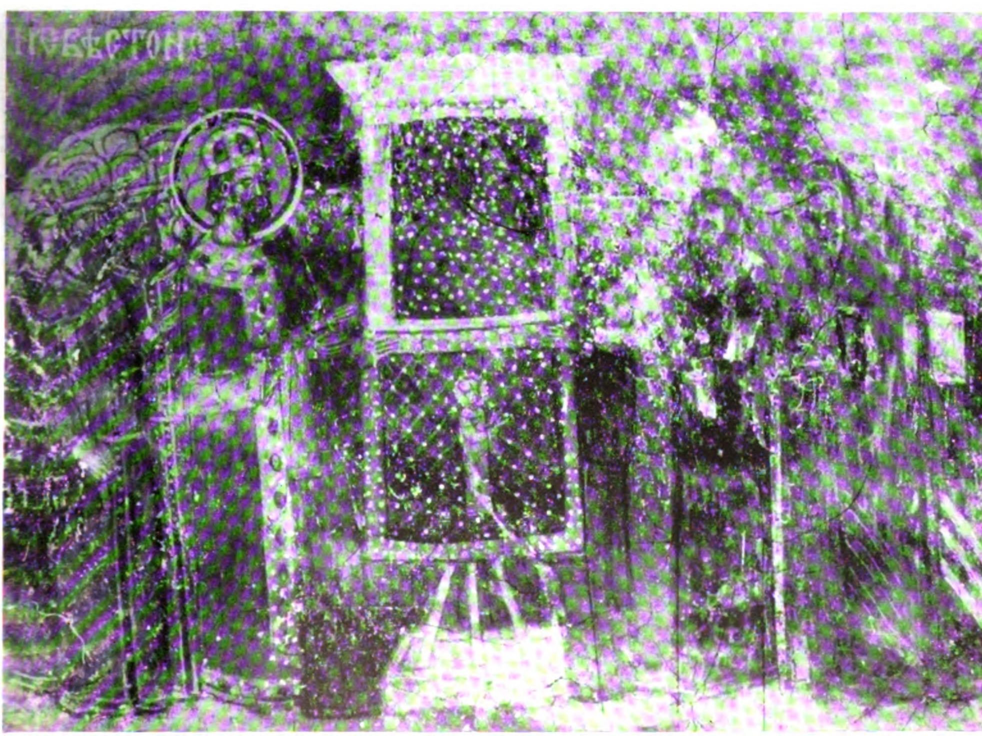


Fig. 6. Cozia, Acathiste, strophe 23^e^. Phot. M. Djordjević.



Fig. 7. Cozia, Acathiste, strophe 14e. Phot. M. Djordjević.



Fig. 8. Cozia, Acathiste, strophe 15e. Phot. M. Djordjević.

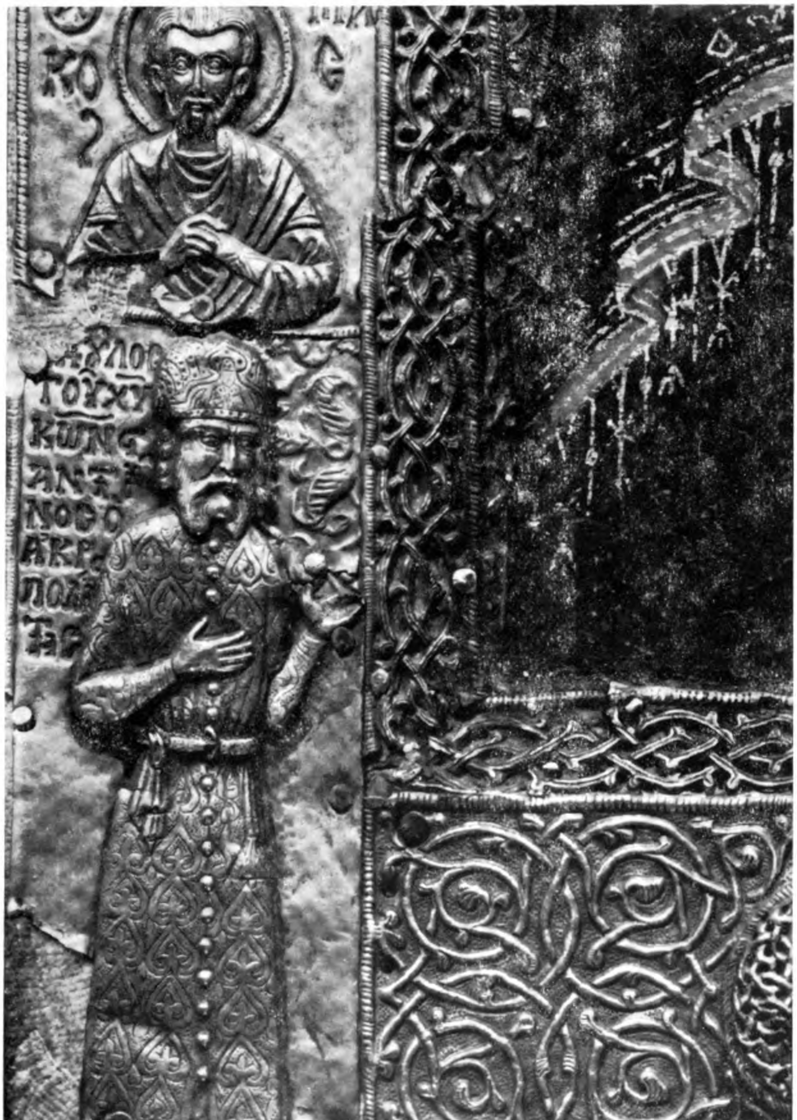


Fig. 9. Galerie Tretjakov, Moscou. Icone de la Vierge, détail, le grand logothète Constantin Acropolite. Phot. Coll. de l'Ermitage.



Fig. 10. Ms. Lincoln Coll. Gr. 35. Le prôtostratôr Théodore Synadène et son épouse, fol. 8. Phot. Bibliothèque Bodleian.



Fig. 11. Ms. Lincoln Coll. Gr. 35. Le prôtosébaste Constantin Raoul Paléologue et son épouse, fol. 6. Phot. Bibliothèque Bodleian.



Fig. 12. Krepičevac, Déisis, détail. Phot. M. Djordjević.



Fig. 13. Monastère de Marko. Acathiste, strophe 23[e]. Phot. de l'Institut pour la protection des monuments historiques, Belgrade.



Fig. 14. Monastère de Marko. Acathiste, strophe 24e. Phot. de l'Institut pour la protection des monuments historiques, Belgrade.



Fig. 15. Monastère de Marko. Acathiste, strophe I^ère Phot. de l'Intstitut pour la protection des monuments historiques, Belgrade.

Зборник радова Византолошког института, XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux de l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

SLOBODAN ĆURČIĆ

THE NEMANJIĆ FAMILY TREE IN THE LIGHT OF THE ANCESTRAL CULT IN THE CHURCH OF JOACHIM AND ANNA AT STUDENICA*

One of the most conspicuous royal iconographic schemes in Medieval Serbia — the Nemanjić family tree — has been recognized and analyzed by art historians on several occasions.[1] Its complex iconography, fully formulated for the first time at the very end of the reign of King Milutin, did not evolve overnight. Others have already discussed the fluctuations in the earlier royal iconographic schemes and have related them to the corresponding historical circumstances.[2] However, the royal iconography of the small church of Joachim and Anna (also known as the King's Church) within the compound of the Studenica Monastery has not been analyzed in this context, although it represents a very important stage in the evolution of King Milutin's elaborate political propaganda. The Nemanjić family tree is but the final visual manifestation of that prolonged process.

The oldest surviving example of the Nemanjić family tree is found in Gračanica, commonly accepted as the last foundation of King Milutin. Dated roughly around 1320,[3] it is considered to represent the earliest occurrence

* I am grateful to Dr. Gordana Babić and Dr. Đorđe Stričević for reading the manuscripts and for their valuable suggestions.

[1] Most recently by *Desanka Milošević*, „Srbi svetitelji u starom srpskom slikarstvu," O Srbljaku (Beograd, 1970), 200—202, citing the older literature. See also *Svetozar Radojčić*, Portreti srpskih vladara u srednjem veku (Skoplje, 1934), 38—44.

[2] *Mirjana Ćorović—Ljubinković*, „Uz problem ikonografije srpskih svetitelja Simeona i Save," Starinar, N.s., VII—VIII (Beograd, 1958), 77—79, analyzes the development of the Nemanjić family procession as an iconographic entity, and relates specific developments to historical events.

[3] The dating of the Gračanica frescoes is still an unresolved problem. The year 1321 (date which appears in the monastery charter recorded on the west wall of the southern chapel) is now commonly accepted as the *terminus ante quem* for the completion of the building and its decoration, both inside and outside. Many individual problems are still awaiting answers. *Pavle Mijović*, „O hronologiji gračaničkih fresaka," Starine Kosova i Metohije, IV—V (Priština, 1968—1971), 191—192, has suggested that the entire Nemanjić family tree replaced an earlier fresco on the same spot. The later fresco must have been painted still during Milutin's lifetime (before Oct. 29, 1321), since he is depicted as the ruling king. The presence of the king's son Konstantin in the Nemanjić family tree

of this iconographic formula in Serbia.[4] The scheme was most likely derived from the traditional depiction of the Tree of Jesse[5] and contains a clear twofold message. It establishes in purely graphic terms the legitimate dynastic lineage in accordance with the contemporary political views, and it alludes to the divine origins of the Nemanjić family reflecting King Milutin's ambition to rival the Byzantine Emperor himself. Both aspects are characteristic products of King Milutin's complex political ideology. His admiration of the Byzantine culture and his fascination with the Imperial court ceremonial are well known from contemporary sources.[6] The internal difficulties stemming from the perpetual struggle with his older brother Dragutin have been illuminated more thoroughly only in recent years.[7] The fraternal dispute over the question of succession led to a civil war which lasted over a decade. Despite the fact that Milutin was victorious in the crucial combat with Dragutin, the problem of succession was apparently not resolved until Dragutin's death in 1316. Under such circumstances, the legitimacy of Milutin's own rule must have remained a painful issue which was kept alive by Dragutin's supporters. Seen in that light, the Nemanjić family tree becomes understandable as the ultimate product of Milutin's propaganda which aimed at fortifying Milutin's position as a reflection of the Divine Order.

The church of Joachim and Anna was built in 1314 as one of the many foundations of the generous donor King Milutin.[8] It is located near the northwest corner of the older church of the Virgin, on the grounds of the Studenica

---

has long puzzled historians. The seven year long exile of his half-brother Stefan constitutes the theoretical period during which Konstantin could have been depicted as the heir-apparent. Unfortunately, the span of time is too great to be of consequence for the dating of the fresco. Mijović has accepted Purković's erroneous dating of Stefan's exile (*M. Purković*, „Prilošci srpskoj istoriji — 2. Kad je zidana Gračanica?“ Glasnik Skopskog naučnog društva, XXI (Skoplje, 1940), 165, and note 30.). The correct dating is given by *Konstantin Jireček*, Istorija Srba, I (Beograd, 1952), 199, although this too has little bearing in establishing the absolute date of the Nemanjić family tree at Gračanica. What is most interesting in our context is that the Nemanjić family tree should have replaced an earlier composition. The tantalizing questions when and why this change took place, as well as what the content may have been, all remain without answers. It can only be hoped that the extensive cleaning and conservation of the Gračanica frescoes, presently underway, may offer some solutions.

[4] *Radojčić*, op.cit., 38.

[5] *Ćorović-Ljubinković*, op. cit., 79. *Radojčić*, op.cit., 40—43, discusses the possible sources of the motif. In addition to the probable Byzantine models, Radojčić points out interesting thirteenth and fourteenth century French and Italian sculptural depictions of the Tree of Jesse, sometimes incorporating members of royal families.

[6] This is best attested to by the description of King Milutin and his court left by Theodore Metochites; *K. N. Sathas*, Μεσαιωνικὴ βιβλιοθήκη (Bibl. graeca medii aevi), I (Venice-Paris, 1872), 154—193, passim. Various aspects of the 'byzantinization' of the Serbian state are discussed by *V. Mošin*, „Vizantiski uticaj u Srbiji u XIV veku,“ Jugoslovenski istoriski časopis, III (Ljubljana, Zagreb, Beograd, 1937). 147—160. On the general changes in Serbian art after 1300 see: *Vojislav J. Đurić*, „L'art des Paléologues et l'État serbe. Rôle de la Cour et de l'Église serbe dans la première moitié du XIVe siècle,“ Art et société à Byzance sous les Paléologues (Venise, 1971), 179—191.

[7] *Mihailo Dinić*, „Odnos izmedu kralja Milutina i Dragutina,“ Zbornik radova Vizantološkog instituta, 3 (1955), 49—80.

[8] *Milan Kašanin*, et al., Studenica (Beograd, 1968), 60—61 (architecture); 103—134 (frescoes), is the most recent publication with older literature cited.

Monastery. Its unique dedication to the ancestors of Christ, Joachim and Anna, has been noted,[9] but the significance of this dedication has been overlooked. The dedicatory inscription is carved in stone on the outside of the apse and reads as follows:

„вь име оц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а азь рабь бж҃и стефань . ѹрошь . правнѹкь ст҃го гн҃а симеѡна . и вьнѹк прьвовѣнчаннаго кра[л]ıа стефана сн҃ь великаго кр҃а ѹрошa ·:· и кр҃а всѣх србскых земль и поморскых ·:· сьздах си҃ храмь вь име стью праведникѹ и прародителю хс҃вѹ иѡакıма . и анны ·:· в лѣт. ѕ҃·ѡ҃·к҃·в҃· иньдикта ·кв҃· и вс҃а ıаже приложıхь семѹ ст҃омѹ храмѹ и ѹ хрисѹволѹ пис҃хь кто ли се прѣтвори . да ıе҃с проклет ѡт б҃а и ѡт мене грѣшнаго аминь ✝ сьзда ж҃ се сы храмь сь потрьждениемь арьхıмандрıта и протосıнгелѹ игѹмена ıѡвана“[10]

This brief inscription emphasizes the king's royal ancestry, and the dedication of the church to Christ's forbears, Joachim and Anna. The insistence on the listing of the Nemanjić lineage is typical of King Milutin's documents.[11] Here it appears further emphasized by concurring with the dedication to the ancestors of Christ himself. The curious parallel between the Nemanjićs and the divine family of Christ which is so explicitly stated later,[12] is here suggested for the first time.

The iconography of the fresco decoration further substantiates our hypothesis. In the lowest tier, among the standing figures on the south wall, west of the iconostasis, are depicted (Fig. 1 — right): 1. Christ, 2. Joachim, 3. Anna holding the infant Virgin, 4. King Milutin holding the model of the church, and 5. Queen Simonida. In the corresponding area on the opposite, north wall of the church are shown, from east to west (Fig. 1 — left): 1. Virgin with the infant Christ, 2. St. Simeon, 3. St. Sava, 4. St. George, and 5. St. Demetrius. This arrangement is without precedent in Serbian Medieval art. The traditional intercession of the Serbian saints and deceased rulers with Christ or the Virgin on behalf of the living ruler, which had been employed from the beginning of the thirteenth century,[13] is here altered.

---

[9] *Miodrag Al. Purković*, „Svetiteljski kultovi u staroj srpskoj državi prema hramovnom posvećivanju," Bogoslovlje, XIV (Beograd, 1939), 171.

[10] The tracing of the entire inscription accompanied by a few detail photographs was published recently by *Rajko Nikolić*, „Natpis na Kraljevoj crkvi u Studenici," Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, IX (Beograd, 1970), 76—79. Unfortunately, the published tracing of the text is not without omissions. A more correct, though incomplete reproduction of the inscription has been published by *Petar Đorđić*, Istorija srpske ćirilice (Beograd, 1971), 299, fig. 86. The text of the inscription as reproduced here is based on these two publications. I am indebted to Dr. Gordana Babić for helping me with the reading of the text.

[11] *Stanoje Stanojević*, „Studije o srpskoj diplomatici — II. Intitulacija," Glas, Srpska kraljevska akademija, XCII (1913), 146, 147.

[12] As, for example, in the Service for the Holy King Milutin; *Danilo Banjski*, „Služba Milutinu kralju banjskomu," Srbljak, II (Beograd, 1970), 90 and 110.

[13] This arrangement occurs for the first time in the south chapel flanking the exonarthex of the Church of the Virgin in the Studenica Monastery. King Radoslav is shown with the model of the exonarthex presenting it to Christ. Radoslav's father, Stevan Prvo-

The donor-king is depicted approaching Joachim and Anna, and through them Christ, without the usual intercession. What is important, however, is that the Serbian saints, Simeon and Sava, though excluded from this procession, are not omitted from the total iconographic scheme. They appear in a conspicuous place on the opposite wall of the church. Their placement was hardly an accident, but a carefully planned iconographic concept. Saints Simeon and Sava are shown as a pair, in the center of the wall, directly opposite from Joachim and Anna.[14] The divine ancestry of Christ was deliberately chosen as the pendant to the Serbian pair of saints. The message was thus clearly formulated: Milutin, the legitimate successor to the Nemanjić throne, through his own saintly ancestry stems from the divine lineage of Christ. This is precisely the idea which was verbalized somewhat later and presented graphically in more direct terms in the Nemanjić family tree.

Milutin's military success in his conflict with Dragutin,[15] as well as the dependence of his father-in-law, Andronicus II, on his military aid[16] show Milutin in a position of strength at the time of the construction and decoration of the church of Joachim and Anna. A new vigorous phase of political propaganda which ensued, proposed subtle rivalry with the Byzantine Emperor through adopting claims hitherto reserved for the Byzantine ruler alone. Boosting the divine provenance of the Nemanjić family was intended only in part as a direct challenge to the Emperor in Constantinople. It also aimed at eradicating all possible doubts about the righteousness of Milutin's succession. The increased degree of confidence which characterized the later years of King Milutin's reign is most clearly reflected in the formulation of his title on various documents and inscriptions. A more elaborate form with a complete listing of the Nemanjić lineage, sometimes including even the father-in-law Andronicus II, in the earlier years,[17] gives way to a very abbreviated version, such as the one in the Gračanica charter, where only Nemanja is mentioned. It is hardly an accident that the final crystallization of the Serbian royal iconography in the Nemanjić family tree should coincide with the abbreviated listing of the ancestry in the charter of the same foundation — Gračanica. The righteousness of Milutin's succession had ceased to be a legal issue in the minds of the king's ideologists. It simply became part of the Divine Order of things in the manner of the Byzantine tradition.

venčani, and his grandfather, Nemanja, are depicted interceding on his behalf. Different arrangements of the basically same procession devised for kings Vladislav and Uroš I, have been convincingly interpreted by *Ćorović-Ljubinković*, op.cit., 79.

[14] Symmetrical juxtaposition of related images (Apostles Peter and Paul flanking the west portal; Archangels Michael and Gabriel on the opposite sides of the bema arch), or even parts of the same composition (Archangel Gabriel and the Virgin on the opposite spandrels of the triumphal arch) is quite common in Byzantine church decoration.

[15] *Dinić*, op.cit., 69, dates the termination of the conflict between Milutin and Dragutin before the beginning of 1313.

[16] *Jireček*, op.cit., 198, and note 56.

[17] The earlier form of Milutin's title is found accompanying his portrait in Bogorodica Ljeviška. A similar form, mentioning only Nemanja and Andronicus II, was used in the inscription on tiles on the exterior of the main apse of the same church; *Slobodan Nenadović*, Bogorodica Ljeviška (Beograd, 1963), 25.

In the long and complex reign of King Milutin the arts played an important political role. Among the surviving monuments the small church of Joachim and Anna occupies a special place. The cult of Saints Simeon and Sava reappeared [18] fused with another ancestral cult, that of Joachim and Anna.[19] An immediate, internal problem of the legitimate succession was shrewdly resolved through the implication that the Nemanjić lineage was governed by the Divine Order. Such a concept, of course, would have been unthinkable without the full approval of the Serbian Church. The Church was, indeed, Milutin's principal supporter in his struggle against Dragutin. It is of no surprise then, that Milutin should have chosen to revive the cult of the Nemanjić saints promoted by the Church at the very moment when the idea of the dynastic divine provenance must have been conceived. Hence, in the church of Joachim and Anna the cult of Saints Simeon and Sava was ingeniously juxtaposed with the cult of Christ's ancestors. Subsequently, when the idea of the divine provenance had reached its full maturity, and was graphically realized in the Nemanjić family tree, the joint cult of the two Nemanjić saints was once more dissolved. In the Nemanjić family tree at Gračanica, Simeon and Sava do appear next to each other, but the axial emphasis is clearly placed on the former, depicted as the temporal ruler, Nemanja,[20] and no longer as the ascetic monk, Simeon. The iconographic scheme employed in the church of Joachim and Anna was obviously only an intermediate stage toward a more explicit ideological statement which was ultimately formulated in the Nemanjić family tree at Gračanica.

---

[18] *Ćorović—Ljubinković,* op.cit., 80—81. The author has analyzed the origins and the growth of the joint cult of Saints Simeon and Sava as reflected in the numerous examples in painting and literature. Of particular importance are the fluctuations of the popularity of this cult in the realm of court art. King Milutin was responsible for the re-emergence of this cult under the auspices of royal patronage. Dr. Ćorović—Ljubinković has illustrated this phenomenon by using several examples in painting, and two textual references in a contemporary charter; ibid., 81. To this may be added a reference to the „law of Saints Simeon and Sava," in the charter of the Monastery of St. George on the Serava River, also from the time of King Milutin; *A. Solovjev,* Odabrani spomenici srpskog prava (Beograd, 1926), 80, nos. 68 and 69. The clearest evidence of Milutin's worship of the cult of „his holy ancestors," Saints Simeon and Sava, is to be found in the „Praise of King Milutin," from a fragmented manuscript bound with several other fragmented manuscripts into a single volume entitled „Zbornik Mitropolita Mihaila"; see *P. Srećković,* „Nekoliko srpskih spomenika," Spomenik, Srpska kraljevska akademija, XV (Beograd, 1892), 27. Despite the late date of this manuscript, there is no reason to suspect that the passage relating Milutin's embellishment of the tombs of Saints Simeon and Sava with gold and silver should have been an invention of the person copying the manuscript from an original which no longer exists.

[19] Reliance on Biblical, and particularly on Old Testament associations occurs in Serbian texts and iconography already in the thirteenth century, no doubt inspired by Byzantine models. An illuminating example is discussed by *Radivoje Ljubinković* „Sur le symbolisme de l'histoire de Joseph du narthex de Sopoćani," L'art byzantin du XIII^{e} siècle (Beograd, 1967), 207—237.

[20] *Radojčić,* op.cit., 38.

Зборник радова Византолошког института, књ. XIV/XV, 1973.
Recueil des travaux du l'Institut d'études byzantines, XIV/XV, 1973

НИНОСЛАВА РАДОШЕВИЋ-МАКСИМОВИЋ

КЊИЖЕВНА ВРЕДНОСТ ЕПИГРАМА ТЕОДОРА СТУДИТА

Овај рад представља магистарску дисертацију одбрањену на Филозофском факултету Универзитета у Београду пред комисијом коју су сачињавали редовни професори др Фрањо Баришић, др Мирон Флашар и виши научни сарадник Народне библиотеке у Београду др Димитрије Богдановић.

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

Beck	*H. G. Beck*, Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich, München 1959
BCH	Bulletin de Correspondance Hellénique
Blass-Debrunner	*F. Blass*, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, bearbeitet v. *A. Debrunner* I, Göttingen 1943
Боїгановић	*Д. Боїгановић*, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд 1968
Brightman	*F. E. Brightman*, Liturgies Eastern and Western I, Oxford 1896
Browning	*R. Browning*, An Unpublished Corpus of Byzantine Poems, Byzantion 33 (1963), 289—316
Christ-Paranikas	*W. Christ* — *M. Paranikas*, Anthologia Graeca carminum Christianorum, Leipzig 1871
Detorakis	*D. Detorakis*, Ἀνέκδοτος ἀκολουθία Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ, ΕΕΒΣ 36 (1968), 139—151
Доброклонский	*А. Доброклонский*, Преподобный Феодор, исповедник и игумен Студийский I, II, Одесса 1913/14
DOP	Dumbarton Oaks Papers
ΕΕΒΣ	Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
EO	Echos d'Orient
The Epitaph of Thomas . . .	*Th. Drew-Bear* and *C. Foss*, The Epitaph of Thomas, a Middle Byzantine Verse Inscription from Afyon, Byzantion 39 (1969), 74—85
Eugenius Panormitanus . . .	Eugenii Panormitani Versus Jambici, ed. *M. Gigante*, Palermo 1964
Frolow, Inscription bulgare . .	*A. Frolow*, Une inscription bulgare inédite, Revue des Etudes Slaves 21 (1944), 95—111.
Frolow, La relique	*A. Frolow*, La relique de la vraie croix, Recherches sur le développement d'un culte, Archives de l'orient chrétien 7, Paris 1968.
Grabar, Iconoclasme	*A. Grabar*, L'iconoclasme Byzantin. Dossier archéologique, Paris 1957
Hilberg	*I. Hilberg*, Ein Accentgesetz der byzantinischen Jambographen, Byz. Zeitschr. 7 (1898), 337—365
Kominis, Τὸ ἱερὸν ἐπίγραμμα.	*A. Kominis*, Τὸ Βυζαντινὸν ἱερὸν ἐπίγραμμα καὶ οἱ ἐπιγραμματοποιοί, Атина 1966
Kominis, Συναγωγή	*A. Kominis*, Συναγωγὴ ἐπιγραμμάτων εἰς τοὺς τέσσαρας Εὐαγγελιστάς, ΕΕΒΣ 21 (1951), 275

Ladner, Concept	*G. Ladner*, The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy, DOP 7 (1953), 1—34
Lampe	*G. W. H. Lampe*, A Patristik Greek Lexicon, Oxford 1961—1968
Leroy, Studitisches Mönchtum	*J. Leroy*, Studitisches Mönchtum, Spiritualität und Lebensform — Theodoros Studites Monastische Epigramme, Erstmalig metrisch übersetzt aus den „Jamben auf verschiedene Gegenstände“ v. Dr. Franz Schwarz, Graz-Wien-Köln 1969
Maas	*P. Maas*, Der byzantinische Zwölfsilber, Byz. Zeitschr. 12 (1903), 278—323
Минеј	Μηναῖον, ἐκδ. τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑλλάδος, Атина 1967
Norden	*E. Norden*, Die antike Kunstprosa, I—II, Leipzig-Berlin 1915
Ostrogorsky, Studien	*G. Ostrogorsky*, Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreits, Amsterdam 1964 reimpr.
Острогорски, СД	*Г. Острогорски*, Сабрана дела I—VI, Београд 1970
Pallas	*D. J. Pallas*, Βυζαντινὸν ὑπέρθυρον τοῦ Μουσείου Κορίνθου, ΕΕΒΣ 30 (1960—61), 413—452
Pelikanidis	*St. M. Pelikanidis*, Βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Πρέσπας, Солун 1960
Pitra	*J. B. Pitra*, Analecta sacra spicilegio Solesmense parata, Paris 1876, 336—380
Speck, Heiligenbilderzyklus .	*P. Speck*, Ein Heiligenbilderzyklus im Studios-Kloster um das Jahr 800, Actes du XII Congr. Inter. d'Etudes Byz. III, Beograd 1964, 333—344
Speck, Jamben	*P. Speck*, ed. Theodoros Studites Jamben auf verschiedene Gegenstände, Berlin 1968
ЗРВИ	Зборник радова Византолошког института, Београд

УВОД

У историји византијског монаштва, а нарочито у историји борби око икона у којој је овај друштвени слој био један од главних актера, име Теодора Студита има своје одређено и веома важно место. Овај необично свестран човек, који је био вичан и теоријским теолошким разматрањима и решавању сасвим практичних проблема свакодневног манастирског живота, успео је да обнови киновитско монаштво и постави основе за његов даљи развој кроз векове. Све чега се својом енергијом прихватао настојао је да бескомпромисно изврши по цену сопствене егзистенције у бурном добу иконоборских криза.

Рођен 759. г. у цариградској чиновничкој породици, под утицајем своје образоване и веома побожне мајке Теодор је од детињства усмерен ка вишим циљевима духовног живота. Његово дефинитивно повлачење у манастир пада у време после првог иконоборског периода кад су се прогоњени монаси враћали у своје манастире и растурена братства се с новим еланом поново формирала. У битинијском манастиру Сакудиону Теодор је под искусним вођством свог ујака Платона, чувеног монаха тога доба, почео да развија своје изузетне организаторске способности преузимајући постепено на себе тежак задатак компликованог управљања људским душама и надзора над функционисањем апарата једног бројног братства. 794. г. Платон се дефинитивно повлачи и Теодор постаје игуман. 798. г. пред све ближом арабљанском опасношћу цело братство се повукло у престоницу и настанило се у Студијском манастиру. Полунапуштени Студиос се под Теодоровим мудрим вођством и чврстом руком претворио у веома бројну, хомогену заједницу чији су се чланови, потчињавајући се законима општежића, изграђивали у заиста добре монахе, врло упорне у тежњи за постизањем аскетских идеала. У тренуцима дубоких немира, које су са собом доносили догматски спорови, манастир је био жариште најстрожије ортодоксности и зилотизма. Он је постао узор на који су се угледали манастири следећих векова, а његово уређење, чије је основе поставио Теодор, утицало је на развој православног монаштва од Јужне Италије до Русије. 815. г. обнавља се, само привремено притајена, борба око икона. Теодор, који је већ и раније долазио у сукоб са црквеним и државним властима и био у два маха у прогонству, по-

стаје један од најжешћих противника цара Лава V и његове иконоборске политике. Коло огорчене борбе је почело да се окреће и са собом повукло непоколебљивог Теодора у вртлог прогонства, тамновања и телесних патњи. Не дозвољавајући да га животне недаће сломе, Теодор наставља са својом преписком и из затвора се брине за своје истомишљенике подстичући их да истрају и пружајући им моралну подршку. Иако је цар Михаило II, дошавши на власт 821. г., престао да прогања иконофиле, Теодор је одустао од коначног пресељења у престоницу, не пристајући на званичну политику полумера и компромиса. Тако је 11. новембра 826. у добровољном изгнанству на Принчевским острвима умро овај човек који је живео заиста онако како су му то налагала његова начела.

Васпитан у једној културној и образованој средини Теодор је био човек од пера. Његов плодни књижевни опус, који носи сва обележја литерарног стваралаштва тога доба, потпуно је уклопљен у његову делатност као реформатора монаштва и ватреног присталице култа икона. Профано песништво у коме се, поред литургијског, са успехом огледао има превасходно религиозни карактер. Збирка епиграма Ἴαμβοι εἰς διαφόρους ὑποθέσεις представља најзначајнији резултат његовог песничког стваралаштва.

Изразиту наклоност према епиграмима Византинци су врло спремно прихватили као део античког наслеђа. О великој омиљености овог језгровитог и често духовитог начина песничког изражавања сведоче сачуване средњовековне збирке које су обухватале како византијске тако и античке епиграме. Паралелно са традиционалним избором профаних тема, који је преовладао у богатом епиграматском песништву VI в., директно везаним за позну антику, у новој духовној клими, у потпуности прожетој хришћанском вером, ствара се посебна врста религиозног епиграма. Вотивни стихови се сад обраћају светитељима, у епитафима се јавља нови хришћански поглед на живот и смрт. Поента епиграма често израста из неког догматско-теолошког или морално-аскетског проблема.

Појава Студитових јамба занимљива је као веза кроз векове између великог песника Писиде и процвата епиграматске књижевности X—XII в. С једне стране Теодорово дело је значајно као наставак процеса формирања новог метричког облика и утврђивања програма и физиономије религиозног епиграма. С друге стране, неки његови стихови представљају сасвим оригинална поетска остварења. Својом разноврсношћу они још једном указују на свестраност Теодорове личности. На првом месту ту су епиграми посвећени монашком животу, који својом непосредношћу и топлином одскачу од целе збирке и представљају необично живе и свеже странице византијске књижевности уопште. Епиграми прожети полемиком са иконоборцима нису тако оригинални, али су интересантни као поетска синтеза његове теолошке доктрине. Међу стиховима посвећеним светим местима и предметима, који чине највећи део збирке, издвајају се као засебне групе епиграми који се односе на поједине делове храма и они посвећени

крсту. Необично хомогену целину, садржински повезану и стилски веома уједначену, чине епиграми састављени у славу различитих светитеља. Неколико епитафа и стихова различите садржине углавном се утапају у море сличних стихова насталих пре и после нашег песника.

Збирка свакако није настала у једном кратком временском периоду. Манастирски епиграми, као и они посвећени црквама и другим грађевинама настали су у мирно време, у доба бујања манастирског живота у Сакудиону и Студиосу, док су сви они епиграми који носе у себи жаоку догматске нетрпељивости у вези са култом икона настали после 815. г., у јеку полемичких расприи прогона.

Постоји неколико издања Теодорове збирке епиграма:

1. J. J. Sirmondi Opera varia V, Paris 1696 (друго издање: Венеција 1728).
2. J. P. Migne, Patrologia Graeca (PG) 99, Paris 1860 (reimpr. Brepols-Turnhout), col. 1780—1812, где је у ствари пренето Сирмондово издање са његовим латинским преводом.
3. Theodori Studitae Epigrammata, ed. A. Garzya, ΕΕΒΣ 28 (1958), 11—64.
4. Најзад, најновије изврсно издање Шпека са исцрпним коментаром — Theodoros Studites, Jamben auf verschiedene Gegenstände, Einleitung, kritischer Text, Übersetzung und Kommentar besorgt v. Paul Speck, Berlin 1968.

I

МАНАСТИРСКИ ЕПИГРАМИ

У време када је Теодор приступио монашком реду, организација манастирског живота није била на некој нарочитој висини. Правила и савети старих утемељивача киновије били су занемарени и скоро заборављени, стеге су биле попустиле, а схватања о правом садржају аскетизма поремећена. Нарочито су прогони иконоборског периода утицали на растурање братстава и разбијање манастирских језгара. У оваквој запуштености Теодор је, пун здраве енергије и младалачког полета, нашао себи плодно поље рада. Требало је створити један чврст оквир у коме ће сваки појединии монах наћи своје место, добити тачно одређене задатке и на најбољи могући начин посветити своје дане Богу. Епиграмима, као и катехезама, Теодор је настојао да ободри своје братство и упути га на правилан пут аскетске борбе за духовно усавршавање.

С огромним одушевљењем Теодор повлачи за собом своју сабраћу из грешнога света подстичући их да се трком одазову Христовом позиву —

Бежимо, смртници, из грешнога света!
Христос нас зове, похитајмо...[1]

Као ватрени пропагатор монаштва, он настоји да песничким језиком искаже своје дубоко убеђење у спаситељску мисију аскетског позива, узвишену функцију коју има у друштву и у овоземаљском животу уопште. У тежњи човековој за очишћењем од греха Теодор монаштво изједначује са крштењем и уласком у рај[2]. Свест о манастиру као идејном стегоноши у домену духа, морала и праве вере, која је од Теодора створила непоколебљивог прегаоца, а од монаштва, сконцентрисаног око Студиоса, тако јаку политичку снагу, огледа се и у начину на који он у спиграмима надахнуто прославља свој позив узвишеним метафорама и поређењима. Кућа божија (23), град божији у коме пребива срећно стадо духовних оваца (23, 78, 106), небески рајски град (23) — све су ове метафоре израз идејне концепције о манастиру као најприближнијем земаљском одразу савршеног небеског света и самим тим најутицајнијем и најпозванијем фактору духовног живота у Царству. Тако је капија манастирска излаз и улаз у само царство божије — πύλη θείας εἰσοδ' ἐξόδου како гласи Теодорова кованица (26). Велики оци — монаси прошлости добијају најузвишеније епитете у његовим хвалоспевима (76—84). Василија Великог, утемељивача киновије и највећи свој узор, Теодор назива новим Петром, чуварем целе Цркве и тиме само понавља своју идеју о водећој улози коју монаштво игра у самој Цркви, а истовремено наглашава тесну повезаност његову са новозаветним светом.

Величајући идеал монашког живота, он приказује спољашњи свет лаика у најцрњим бојама. Теодорова слика „грешног света" типична је за многе његове претходнике теоретичаре аскетизма[3]. Пороци набројани у непрекидном низу, који се протеже кроз неколико стихова епиграма 24. 3—6, један је од начина посебног упечатљивог изражавања карактеристичног како за Нови Завет, тако и за књижевни стил киничко-стоичке дијатрибе[4]. Оваквим асиндетским нагомилавањем Теодор се послужио и у епиграму 9 где указује на страсти које могу да се крију и унутар манастирских зидова и да се у тој средини, ако им се пусти на вољу, претворе у велику опасност[5].

---

[1] Упореди веома сличне стихове посвећене јеванђелисти Марку, за које издавач претпоставља да су настали у IX—X в. — *Kominis*, Συναγωγή, 269.

Τοίνυν δράμωμεν εὐσεβῶς πάντες, φίλοι,
κόσμον λιπόντες τὸν μάταιον καὶ πλάνον.

[2] *Leroy*, Studitisches Mönchtum, 24.

[3] О појму света као антитези монашког живота код Јована Лествичника (VI в.) — в. *Богдановић*, 81. Cf. *I. Hausherr*, Saint Théodore Studite, l'homme et l'ascète (d'après ses catéhèses), Or. Christ. 6, Roma 1926.

[4] V. *R. Bultman*, Der Stil der Paulinischen Predigt und die kynischstoische Diatribe, Göttingen, 1910, 19, 71.

[5] Репертоар порока је углавном утврђен — Рим. 1, 29; 13, 13; 1 Кор. 5, 11. Пороци карактеристични за монашку средину нашли су своје место у систему Јована Лествичника — в. *Богдановић* 50 сл. Уп. стихове Григорија Назијанског PG 37, col. 646, 660.

Богатом духовном садржају аскетизма Теодор радо супротставља бесциљност и празнину живота у коме Бог и спајање с њим нису главни циљ (21, 22, 24). Жалосну узалудност и јаловост човекових тежњи за световним успесима Теодор је вешто сажео у својој кованици ματαιοχοσμία (28). Пролазност и безвредност материјалних добара он дочарава добро познатом сликом о злату које тече и слави која пролази као дашак ветра, ток воде, или ноћни сан (21)[6]. Иза спољњег сјаја право стање ствари је жалосно и јадно — како се Теодор епски изразио — Πολύστονα, θρηνηρὰ πάντα τἀνθάδε (21). Сваког човека без разлике Теодор на класичан начин подсећа да спозна самога себе, да буде свестан своје подређености божанском провиђењу, своје скромне улоге у краткотрајном и пролазном бивствовању на земљи (21). Веома раширену метафору бурнога мора, метафору повезану са библијском сликом Црвеног Мора и успешног преласка преко њега уз помоћ божију, Теодор често и радо користи и у својој прози, описујући њоме немир и промењивост живота. Насупрот животу — олујном мору стоји манастир — лађа којом могу најлакше да се преброде немири и разочарења. Истовремено, манастир је и тиха лука у којој престаје сва туга и жалост, што је очигледна алузија на вечни мир загробног живота, коме се манастирски живот, у толикој мери посвећен Богу и прожет мишљу о спајању с њим, веома приближује[7].

У оштром контрасту су дати људске свађе и мржња према благости и доброти њиховог учитеља Христа (22), привидна спољашња смиреност верника (ἔξω) према унутрашњим, прикривеним мислима пуним мржње и грешних прохтева (ἔσω), светлост рајских пространстава, која чека праведнике, према страшној казни за грешна дела (21).

Монаштво је, дакле, једини излаз из овог света пуног порока и ружних страсти. — Како је диван и хвале достојан живот монаха који су се повукли из световне вреве (3), како је сигуран и частан њихов пут! (25) — узвикује Теодор у искреном заносу. Потпуно одвајање од спољашњег света и губитак сваког интереса за његова добра и вредности неопходан је предуслов за стваран успех аскетског задатка. Међутим, у реалним приликама било је немогуће искључити сваки додир између два света и апсолутно изоловати братство од свих спољашњих утицаја. Теодор се зато брижљиво стара да предупреди сваку немилу последицу неминовних сусрета његових монаха са животом изван манастира. Свима који долазе споља у манастир (22, 23, 24) Теодор скреће пажњу на то да буду свесни светости места у ко-

---

[6] Cf. Greg. Naz. PG 37, col 711; PG 38, 121—22.

[7] Cf. Th. St. 944 C/D, 1276 C, 1457 C, 1497 D. *Leroy*, Studitisches Mönchtum, 25 f. Уп. Кондак Романа Мелода Εἰς τὴν ἄρνησιν Πέτρου 18—19 (*K. Krumbacher*, Studien zu Romanos, Sitzungsber. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 1896_2, 119); Greg. Naz. PG 37, 397, 1481; Eugenius Panormitanus, песник XII в., XXIV, p. 129. V. *Lampe*, s. v. λιμήν, θάλασσα; *Speck*, Jamben, 117. О овој метафори у западној средњовековној књижевности в. *Curtius*, Evropska književnost i latinsko srednjovekovlje, Zagreb 1972 (српскохрв. превод), 136.

је ступају и да се у страху прилагоде узвишеној средини у којој се налазе. Поред ових општих опомена, које јако подсећају на формуле многобројних натписа над црквеним вратима, Теодор детаљно упућује манастирског посетиоца како да се понаша, шта не сме да каже, а шта сме и на који начин. Понављајући исту реч на крају два стиха, он упечатљиво подвлачи јаз између његових аскета и спољњег света —

> **Не збори ништа о таштим стварима у животу**
> **јер си са онима што утекоше од живота (23).**

Сличне савете он даје вратару (26) и монасима који су због посла морали да напусте мирно уточиште свог манастира. Иако су, према Теодоровим саветима погнуте главе и у непрекидној молитви пролазили кроз град у коме су се осећали као „риба на сувом" (27)[8], њихов повратак је могао са собом да унесе немир и пометњу. Из предострожности, на којој је још и св. Пахомије инсистирао[9], Теодор изричито забрањује да повратници преносе браћи своје утиске. Веома живо он директно наводи пример празног наклапања које је у манастиру било строго забрањено —

> **Видех, поједох; дешава се то и то.**
> **Овај ми рече ово, а онај оно (28).**

Поред обавезног раскида са спољашњим светом, други захтев који Теодор поставља пред своје монахе је апсолутно потчињавање — ὑποταγή, без чега живот у киновији не може уопште да се замисли. Хијерархијска структура братства, тачно одређене дужности и одговорности појединих функција и њихова међусобна потчињеност неопходни су за правилно одвијање дисциплинованог живота општежића. На челу монаха, као директан Христов представник међу њима, налазио се игуман (4), а њему у управљању помаже читав један апарат — његов заменик ὁ δευτερεύων (6), економ (7), епистемонарси — манастирске судије (8), надзорници — „очи братства" (9), редари и канонарси који су се бринули о одвијању литургије (10). Теодор веома радо замишља манастир као тело Христово, а сваког појединог монаха као део тог тела и истовремено део тела свога ближњег. Међутим, то није само фигура преузета из Светог Писма (Мат 10.28, Рим 12. 5 и др). Овом метафором Теодор с једне стране изражава суштину свог мистичког схватања монаштва као узвишеног живота у Христу. С друге стране, представа о манастиру као телу исказује чврсту повезаност његову као јединствене, а истовремено хијерархијски организоване целине (7, 10, 13, 17)[10].

Међутим, ὑποταγή није само ствар формалног потчињавања правилима и претпостављенима у циљу нормалног одвијања свакодневног живота заједнице. У питању је пре свега један много виши циљ — постизање унутрашње дисциплине и искрене покорности и смер-

[8] О омиљености овог поређења у монашкој литератури в. *C. Mango*, The Hermitage of St Neophytos and its Wall Paintings, DOP 20 (1966), 138.
[9] V. *Migne*, Patrologia Latina 23, col 74.
[10] Cf. Th. St. PG 99, 1128 B. V. *Lampe*, s.v.

ности пред Богом. Цео манастир и сваки монах посебно, свака његова молитва и посао који свакодневно обавља, све је то посвећено Богу. Монаси су посленици Христови (12, 19) који плодове свога труда дају Богу (7) и све што предузимају обављају мислећи на њега (7) и како њему одговара. Христос је присутан у сваком њиховом поступку. Добровољним потчињавањем и извршавањем задатака аскета исказује своју љубав према Христу, љубав која је основни покретач киновијског монаштва.

У теорији византијске киновије, коју је Теодор преузео, овакав аскетски програм заснован на апсолутној послушности и усмерен ка спољашњој активности чини основну садржину монашког живота. За разлику од других система у којима је послушност само предрадња за компликованији умни посао успостављања директног духовног контакта са Богом, или од индивидуалног монаштва где је излишна, Теодор сматра да потчињеност која се остварује у киновији сама по себи испуњава задатак подвижника[11]. Аскетска пракса потчињавања и извршавања задатака идентична је, по Теодору, са процесом моралног усавршавања и спасавања душе. Треба подвући чињеницу да је историјски тренутак захтевао да се после антииконофилских прогона приберу расуте снаге монаштва и да се створи једна чврста организација која ће бити у стању да се супротстави сваком мешању царске власти у проблеме религије и цркве. Свакако је Теодора и сопствена природа навела да се определи за овај вид монаштва. Он је у много већој мери био спреман за активно делање, за решавање конкретних организационих проблема и имао прави дух вође који је у стању да својим полетом повуче друге за собом, него што је био обузет тежњом за повлачењем у себе и за усредсређивањем свих својих духовних снага искључиво на религиозне медитације. Епиграми врло јасно одражавају овакав његов став својом садржином, а начином на који су писани његов необично жив темперамент.

Израђујући своју аскетску теорију Теодор је себи поставио као циљ повратак на поставке светих отаца и на начин живота првих монашких центара. Највећи ослонац му је био Василије Велики, први прави теоретичар киновијског идеала, на кога се тако често позива и чије учење о спајању с Богом путем практичних врлина у потпуности преузима. Инсистирајући на обавезном мануелном раду свакако је имао пред очима Пахомијеву велику заједницу претворену у радну кошницу, а у погледу потпуне потчињености и пресудне улоге духовног вођства утицали су на њега дела Доротеја из Газе и јужнопалестинска школа. У многоме се види да му ни Лествичников пут систематског очишћења од страсти и постизања врлине није био стран. Преузимајући богату аскетску традицију и примењујући је у сопственој средини, Теодор јој је удахнуо нешто своје и ново. Ставио је печат своје живе природе и сопствене праксе коју је стекао стварајући и управљајући манастиром чијим је животом у потпуности живео[12].

---

[11] *Beck*, 345 f.

[12] *Leroy*, Stud. Mönchtum 18; *Beck*, 359; *Доброклонский*, I 421—432.

У његовом програму, како се то јасно види из епиграма, веома значајно место заузима мануелни рад. За монахе око светог Антонија рад је био сигуран начин да се одагнају грешне мисли, док је св. Пахомије радом обезбеђивао егзистенцију своје заједнице. Василије Велики је пак, избегавао Пахомијеву сувише меркантилистичку политику и у својим мањим братствима настојао да успостави равнотежу између рада и молитве. У жељи да киновијско монаштво доведе на његов стари колосек, Теодор је огромну важност придао раду, више него било ко пре или после њега. Касније је његово мистичко схватање рада, као битног средства аскетског усавршавања и приближавања Христу постепено изгубило свој значај упоредо са претварањем манастира у моћне феудалне поседе и са коначном превагом контемплативног монаштва чији је крајњи резултат био исихастички покрет последњих векова Царства[13].

Аскетски идеал рада и послушности заменио је идеал мучеништва првобитних Христових следбеника. Отуда тако често поређење монаха са мучеником (5, 7, 19) и аскетског позива са тегобним путем паћеника за Христову веру (7, 14, 17, 19). Обављајући и најситније послове, извршавајући и најбаналније задатке монах испољава своју сталну спремност на жртву за Христа те тако и кувар својим прозаичним радом заслужује мученички венац (14). С овим је у вези и метафора атлете (5, 17, 19), која води порекло из паганске агонистичке традиције, а постала је хришћански симбол мученика, и касније подвижника[14]. Μαρτύραθλος, епитет који је Теодор створио да би га придао неком монаху Дионисију, јасно указује на ову тесну везу између атлете, мученика и аскете. У еп. бр. 5 Теодор развија читаву слику позивајући „шакача" — киновијског монаха да остане последњи на рингу победивши сопствене слабости, придржавајући се основних захтева киновије —

> Дед', борче, дедер, одупри се ватрено
> главу своју послушно приклонивши
> сав смеран, мртав у свим жељама својим
> откривајући сваку мисао срца свог
> да на попришту последњи останеш ти (5).

Нису сва задужења обухваћена епиграмима, али је значајно да има стихова посвећених и монасима са високим функцијама, а и онима који врше најситније послове[15]. С обзиром на узвишени циљ духов-

[13] V. *J. Décarreaux*, Du monachisme primitif au monachisme Athonite, Le Millénaire du Mont Athos 963—1963, Etudes et Mélanges I, Chevetogne, 19—54; *J. Leroy*, La conversion de Saint Athanase l'Athonite à l'ideal cénobitique et l'influence Studite, Millénaire I, 101—120; *idem*, Stud. Mönchtum., 34 sq.

[14] Ова веома коришћена метафора је према 1 Кор. 9, 24—27. Cf. 905 D, 936 B, 1097 A etc. Cf. *H. Follieri*, Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae, I, Studi e testi 211, Citta del Vaticano 1960, 281. *Богдановић*. 81; *J. Gribomont*, L'exhortation au renoncement attribuée à saint Basile, Orientalia Christiana Periodica 21 (1955), 391.

[15] Интересантно је да се преписивачи који су на Теодорову иницијативу створили богату студијску ризницу рукописа, у епиграмима нигде не спомињу (cf. *Доб-*

ног усавршавања, свако задужење без разлике је од необичне важности и у овим песничким творевинама добија известан ореол. Готово истим речима се говори о озбиљности игумановог позива (4) и о бризи и труду које кројачи улажу у свој начин аскетске борбе (15). Поред искреног убеђења да је и најскромнији посао у манастиру божанског порекла — θεῖον χρῆμα — Теодор у извесној мери очигледно рачуна и са психолошким ефектом својихババ песнички вешто сроčених похвала. Да би сваком улио вољу за сопствени задатак, Теодор често поједина задужења пореди са сличним примерима из Св. Писма — игумановог заменика са Јошуом (6, према — Бројеви 27.8), економа (7) и подрумара (12) са св. Стефаном (Дела 6.1—6), обућара са апостолом Павлом, а афиписте са анђелима (16)[16].

Обраћајући се својим монасима он им обично прво даје упутства опште природе, претпостављенима препоручује правичност и смиреност, а ситне занатлије подстиче у ревности и исправном извршавању задатака. Поред метафоричких израза као што су „паклени огањ безбројних захтева“ који подрумар без роптања мора да трпи (12) и „зној свакодневних напора“ који прави Христов посленик горући од одушевљења жељно прихвата (19), Теодорови савети могу да буду сасвим конкретни и реалистично изражени. Они су подједнако прецизни и кад је у питању многострана дужност игумана, организациони посао економа и чисто мануелни рад кувара или обућара. Кувару Теодор говори о томе како да од ране зоре у кујни спрема дрва за потпалу и пере судове, а кројачима (15) и обућарима (19) како да разумно и штедљиво кроје нову одећу и обућу, а стару да обнављају крпећи је и чистећи.

Крај сваког епиграма представља неку врсту закључка, резултата целокупног рада сваког аскете — јер сви поступци носе у себи последицу далеку и непромењиву — награду или испаштања које одређује „онај који све мери и дели по заслузи“ (16). Теодор у епиграмима не спомиње манастирске епитимије, које су у Студиосу биле тачно одређене, нити сувише често прети казнама страшног суда (22, 24 и 28). Напротив, он се труди да подстакне монаха на савесно и марљиво извршавање задатка истичући велику одговорност коју је он преузео пред самим Богом. Све вредне и послушне посленике очекује велика награда — венац славе (10, 12), божија милост (9, 11, 13), благослов раван оном који је Јаков добио (15), гостољубиво Аврамово наручје (29) и недостижна небеска светлост (17). Ослањајући се на новозаветно поређење са трговцем, Теодор често настоји да упрошћеном дидактиком, прожетом унеколико меркантилистичким духом, укаже своме

роклонский I, 494; *N. Eleopoulos*, ʽΗ Βιβλιοθήκη καὶ τὸ Βιβλιογραφικὸν ʼΕργαστήριον τῆς Μονῆς τῶν Στουδίων, Атина 1967). Прећуткивање било какве манифестације просветно-културних делатности у Студиосу вероватно је резултат тога што је Теодор састављајући ове стихове првенствено имао пред очима обичне монахе, којима је желео да пружи једноставне поуке, занемарујући при том оне учене и образоване којих је у тако угледном престоничком манстиру свакако било.

[16] О манастирским задужењима в. *Доброклонский*, I 410 сл.; *Pl. de Meester*, De monachico statu iuxta disciplinam Byzantinam, Vat. 1942.

сабрату на трајну и сигурну добит коју ће као неки разборити и далековиди трговац себи обезбедити (3). Учињено добро на земљи осигурава одговарајуће дарове и праву вредност у замену на небу — ἡ ἀντάμειψις τῶν καλῶν — 9, 15, 105a[17].

•

У односу на садржину, а истовремено и на стил којим се она исказује, у Теодоровим манастирским епиграмима могле би се уочити две основне линије. С једне стране, то су главне Теодорове идеје о смислу монаштва, његовом значају, месту у друштву и Цркви, о његовом односу према лаичком животу. Затим ту су, поред општих тема као што су пролазност и краткотрајност овоземаљског живота, подређеност човекове судбине провиђењу, несавршеност његове природе, размишљања о смрти и страшном суду, изнети и главни принципи на којима се заснива организација манастирског живота — унутрашња хијерархија, потчињеност појединца, завети сиромаштва и целибата, обавезан рад, спремност за патњу и жртве, као и стална одговорност пред Богом.

Избор песничких слика које је Теодор користио тесно је повезан са теолошком патристичком литературом и аскетском традицијом. Тако, например, у епиграмима Григорија Назијанског, светог оца и чувеног монаха, често наилазимо на метафору узбурканог мора (κῦμα πόλυπλα νεὸς βιοτοῖο), претпостављање правих божијих дарова сребру и злату, или набрајање готово истих порока који су пратили аскетску праксу. Без сумње, безбројне алузије, симболи и слике воде нас до Светог писма, иако се библијске личности изричито не помињу сувише често.

Друга линија овог дела збирке испољавала би се у стиховима који су директно везани за свакодневну аскетску праксу, стиховима којима се Теодор обраћа сваком монаху од игумана до обућара, брижно га упућујући у најситније детаље његовог задужења. Необична привлачност ових епиграма је у томе што је Теодор успео да суву дидактику потисне непосредношћу и природношћу. Сасвим једноставним речима обраћа се он скромним кројачима и обућарима саветујући их на њима разумљив начин. Из редова врца хуманост и љубав, бескрајна привржeност манастиру и сваком његовом житељу. Ослобођени празне реторике и патетичног стила, двеју особености тако уобичајених за средњовековну књижевност, ови стихови одишу правом свежином и животном радошћу. Због свега тога они се заиста издвајају из Теодоровог песничког опуса, а и из целе византијске литературе.

У тесној вези са садржином појединог епиграма стоји и његова композициона схема. Епиграми, чији је број стихова углавном између девет и дванаест, обично су подељени у три дела различитог интензитета и ритма, у зависности од њихове садржине.

[17] Cf. PG 99 1361 B/C, 1425 B, 1460 A.

Узмимо као пример епиграм којим се Теодор обраћа својој сабраћи, онима који су се одвојили од света (Εἰς ἀποτασσομένους —3).

Вокатив, па затим адхортативни коњунктиви на истом месту у оба прва стиха, на самом почетку стварају атмосферу пуну енергичног подстрека. Набрајање животних недаћа у трећем стиху још више потврђује потребу хитње —

> Ἄνδρες βροτοί, φύγωμεν ἐκ κόσμου πλάνου.
> Χριστὸς καλεῖ, δράμωμεν· εὔπλους γὰρ βίος
> ζάλης,[18] μεριμνῶν καὶ στρωφῶν ὑπερπλέων.
>
> Бежимо, смртници, из грешнога света!
> Христос зове, похитајмо! Јер лако је
> с њим препловити буре, бриге, промене.

Напротив, следећа три стиха у мирнијем тону као да заиста дочаравају тиху луку монашког живота —

> Φροντὶς γὰρ αὕτη τῷ μοναστῇ καὶ μόνον
> τυχεῖν ἐκείνου τοῦ γαληνοῦ λιμένος,
> ἐν ᾧ πέπαυται τῶν λυπηρῶν πᾶς πόνος.
>
> Јер брига је ова монаху једина
> да што пре стигне у ону мирну луку
> где престаје бол свих патњи и жалости.

Затим се ритам поново диже у одушевљеном узвику седмог стиха и у реторском питању осмог. Последњи стих је уједно и одговор на постављено питање и логички завршетак ове похвалне песме у славу монаштва —

> Ὢ πῶς πάνυμνος ὁ ξένος τούτων βίος!
> Καὶ τίς φρόνιμος πραγματευτὴς κερδάνων;
> Ὃς πάντ' ἀφεὶς ἕλοιτο τὸν σταυρὸν φέρειν.
>
> О како је песме вредан живот њихов!
> А ко тако мудро, корисно послује?
> Онај што све напусти, одабра крст да носи.

Паралелно са овом поделом песме, с друге стране, завршним слоговима стихова постиже се утисак једне целине. Осим првог и деветог, сви се стихови завршавају на -ος или -ον, стварајући било директни хомојотелеутон било обгрљену риму -ος 2 и 5—7, -ον 3, 4 и 8. Први и последњи стих са различитим завршецима чине као неки оквир ове целине.

Још једна глорификација монаштва, односно самог манастира Студиоса, има такође врло јасну тројну поделу — еп. 25. После првог статичног дела у коме сам манастир говори у првом лицу — Ја сам предворје срећнога стада —, и у једној метафоричној перифрази спо-

[18] О метафоричкој употреби ове речи в. The epitaph of Thomas, 79.

миње свога патрона Јована Претечу — τοῦ προταγοῦς ... φωτοπροδρόμου, други део у коме се износе главне особине киновијског монаштва много је динамичнији због анафоре ὧν (чији), анафоре која се у четвртом стиху понавља и на почетку његовог другог дела, као и због чисто звучних ефеката πόλις /πόλος у 4. стиху, πᾶς/ ἅπας у 5. и нагомилавања сугласника -т- у 6. После 7. стиха, који је нека врста допуне, одговора претходним стиховима, тон се нагло диже у патетичном узвику пуном дивљења, слично оном из еп. 3.

У епиграмима посвећеним појединим задужењима свуда се, углавном, понавља иста структура. У уводном делу аутор се обраћа посленику истичући вредност његовог посла неким поређењем или реторским питањем — Ко је од тебе, дете, бољи посленик божији? — пита Теодор манастирског подрумара (12), или етимолошком фигуром у којој се понављају облици или корен речи која означава одређено задужење. Почетак еп. 11, посвећеног редару — таксијарху истакнут је једном таквом фигуром — ταξιαρχεῖν, ταξίαρχος, τάξιν — јављају се редом у првом делу три почетна стиха. Сличан је случај еп. 8 (манастирским судијама — епистемонарсима) где се речи κρίσις (суђење) и κρίνω (судим) јављају у разним облицима два пута у почетним стиховима и три пута у последња два стиха.

Затим, Теодор даје посленицима и њиховим претпостављенима опште савете и конкретна упутства. Пошто је то средишни део епиграма и садржи у себи главни циљ песников — да поучи и упути, он је готово увек истакнут читавим сплетом различитих песничких средстава.

Саветујући енергично своју браћу Теодор гомила императиве (нпр. 4 и 6), инфинитиве (15), и ниже читаву скалу прилога истог завршетка којима упућује монахе како треба радити разумно (ἐμφρόνως), енергично (πανσθενῶς, κεκριμένως), стрпљиво (μακροθύμως), ревносно (προθύμως) итд.

Нарочитој експресивности придоносе и звучни ефекти анафоре (25), хомојотелеута (17), игре речи — Ἕωθεν εὐθὺς (17), реч λόγος на крају два стиха, употребљена у два различита значења, алитерације и сл.

Најупечатљивији су свакако типично реторски украси — паралелизми и антитезе. Честе су забране са негацијом у почетку где је паралелизам комбинован са анафором —

> Не доносите одлуке одока,
> нити пристрасно, нити у неком бесу,
> нити из љубави, нити из мржње (8; в. и 5 и 9).

У епиграму 6. паралелизам је нарочито истакнут идентичним синтактичким (в. и еп. 29) и акценатским распоредом, анафором νῦν μέν — νῦν δέ, и игром сазвучних речи на крају стихова — ἐκ πάθους — ἐκ πόθου.

Антитезе, односно антитетички паралелизми, веома су погодно средство поуке, јер осуђујући један поступак, јасно препоручују други. Овакве антитезе негативно — позитивно подвлаче се често свезама

οὐ γάρ — δέ (7), или ὡς μή — ἀλλ' (7), или заменицама ταῦτα — ἐκεῖνα (26). У епиграму 26 антитеза је појачана синтактичким паралелизмом и понављањем средишних речи у оба стиха —

Об'ави ово што (τῶν ὅσα) изгледа долично,
Прећути оно што (τῶν ὅσα) доноси штету.

Хијазмом појачана антитеза у једном стиху исказује непожељност неједнаког и пристрасног односа према потчињеном — нека те не руководи наклоност према једном, према другом мржња и завист — οὐ γὰρ σχέσει τόν, τὸν δὲ μίσει καὶ φθόνῳ (7).

Антитезом се исказује и свеобухватност неког тврђења или препоруке која се односи и на оне унутра и на оне споља, и на браћу и на странце (26).

На крају је увек нека варијанта формуле о одговарајућем награђивању на оном свету за исправно вршење датог задужења.

Са тачке гледишта композиције и улоге реторских украса у њој добар је пример епиграм 11 чији су 12 стихова јасно подељени на четири дела од којих сваки за себе има неку видљиву карактеристику која га издваја као целину. У првом делу то је игра речи у вези са називом монаховог задужења — таксијарх. Следећа три стиха повезана су међусобним паралелизмом са анафором, док сваки стих посебно има своју структуралну повезаност — у стиху 4 је у питању антитеза коју носе речи на почетку и на крају стиха — ἐν εἰσόδοις ... καὶ διεξόδοις, док следећа два стиха у другој својој половини ређају речи истог завршетка ὄψεων τῶν ἐξόχων — стих 5, стих 6 — τοῦ ναοῦ τοῦ Δεσπότου. Стожер претпоследње групе чине партиципи презента на почетку стихова (χοροστατῶν, τηρῶν, στολὴν ἀπαιτῶν), а у завршном делу формула о заслуженој награди у рају истакнута је низом од пет прилога истог завршетка, низом, који, као што смо већ видели, Теодору често служи у његовим поукама.

Веома је занимљива идејно-композициона схема епиграма 14, посвећеног кувару, чија сама појава у једном поетском делу привлачи посебну пажњу.

После уобичајеног похвалног почетка, овог пута исказаног реторским питањем —

Τὸν ὀψοποιὸν τίς σε, τέκνον, οὐ στέφει
πολὺν φέροντα τὸν κόπον καθ' ἡμέραν;

Ко тебе, кувара, не би овенчао
што носиш сваки дан терет огроман.

долазе три стиха са паралелним антитезама које повезују земаљске патње са небеском наградом[19] —

[19] На овакво повезивање земаљских патњи са одговарајућом наградом на небу — унеколико подсећају дистиси Христифора из Митилене који, користећи се игром речи, супротставља начин погибије појединог мученика са његовом небеском наградом —

Θνήσκεις θαλάσσης ἔνδον, ὦ Παρθαγάπη,
Καὶ δωρεῶν θάλασσαν εὑρίσκεις ἄνω (Минеј за 2. септ., стр. 19)

Δουλευτικόν σοι χρῆμα, μισθὸς δ' οὖν μέγας·
χρῆσις ῥυπώδης, ἀλλὰ πλυτρὶς πταισμάτων·
φλέγει σε νῦν πῦρ, οὐ τὸ μέλλον δὲ κρίνει.

Ропски ти позив, ал' награда велика;
прљав је посао, ал' чисти од греха;
сад огањ пали, ал' онај вечни неће.

Са гледишта стила ово је веома занимљиво супротстављање и истовремено спајање реалистичког изражавања везаног за животну прозу и метафоричког, инспирисаног идејама о страшноме суду. Карактеристично је да се може уочити извесна градација у јачини од првог до трећег поређења. Затим следе два чисто реалистичка стиха са практичним упутствима —

Προσβὰς σταθηρὸς λοιπὸν εἰς τὴν ἑψίαν
ἕωθεν εὐθὺς κλῶν δαλούς, χύτρας κλύε

Пођи, зато, бодар, чио, у кухињу,
зором раном дрва цепкај, суђе пери,

док у следећа два стиха метафоре — монаси — божија деца и молитва — со којом се јело зачињује, уско повезане са послом који се обавља, уносе извесну узвишену ноту дајући мистички смисао прљавом и тешком занимању —

βρώσεις προσεψῶν ὡς Θεοῦ τὰ τῶν τέκνων·
εὐχαῖς ἀλίζοις ταῦτα, ὥσπερ ἀρτύσεις

као да деци божијој храну припремаш
молитвом је посоли као зачином.

На крају је завршна формула са библијским поређењем —

ἵν' εὐλογηθῇς ὡς Ἰακὼβ τῷ πάλαι,
καὶ χαῖρε τούτοις ἐκτελῶν σου τὸν δρόμον.

Да благословен будеш као некад' Јаков,
радуј се што тиме живот испуњаваш.

II

ИКОНОФИЛСКИ ЕПИГРАМИ

Радикални покрет против икона VIII и прве половине IX века, који је узео у Византијском царству великог маха, нагонио је иконофилску опозицију да јасно формира одређени став и да у своју одбрану изнесе што убедљивије и темељније аргументе. Из ове потребе израсла је једна разрађена и целовита доктрина о култу икона. Огорчена и жива полемика била је плодоносна за стварање читаве једне филозофије.

Теодор Студит је био један од последњих значајних теолога иконофила. Као духовни вођ монашке зилотске опозиције свог времена, упркос прогонима и мучењу, енергично се супротстављао свим неортодоксним одлукама цркве и двора. У борби за црквену самосталност, нарушену политиком царева иконобораца, туђа су му била лавирања којима су патријарси са високим клером често умели да прибегну. Иконофил и на делу и на речи, Теодор је проблему култа икона посветио добар део своје књижевне делатности. Својим догматским списима он је дао завршни облик иконофилској теорији слике. Анализирајући схватања својих претходника и износећи своја детаљно аргументована гледишта, резимирао је садржину ове идеологије. Тумачио је цитате из Св. Писма и ране патристике и проналазио у њима нови смисао. Теолошке формулације искристалисане током христолошких распри ранијих векова, обогаћене неоплатоничарским филозофским појмовима инфилтрираним у хришћанство, представљале су за Теодора материјал којим се он богато користио, оштро полемишући са противницима.

Проблему култа икона Теодор је пришао и као песник. Поред групе епиграма у нашој збирци[1], постоји неколико стихова у полемичком спису Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπή[2]. Главне мисли које је Теодор исказао у својим теолошким списима јављају се у кратким стиховима кондензовано и једноставно, без реторске опширности прозног текста. Међутим, и поред поједностављења, оне нису окрњене ни непотпуне. На основу ових двадесетак епиграма можемо да створимо одређену представу о Теодоровој доктрини о иконама.

Две су основне ствари које Теодор доказује. Прво — да се Христос може насликати, а да то не буде у супротности са ортодоксном догмом, и друго — да таквој слици Христа треба обавезно исказивати поклоњење — проскинезу. Први проблем задире у саму срж догме о природи Христа, његовом месту у Св. Тројству и његовој инкарнацији. Питање проскинезе се решава захваљујући неоплатоничарској теорији о архетипу и његовој слици, која у модификованом облику полази од Платоновог односа материјалне слике и духовног појма — идеје.

У епиграмима инкарнација Логоса, као непобитни доказ да се Христос може насликати, долази у први план[3]. Бог који је бестелесан, изван сваког места и времена (33, 31), узима на себе „обличје роба“

[1] Иконофилској теорији посвећени су епиграми 30—39, затим још поједини стихови ове збирке носе печат теолошке полемике — 41, 92, 93. Епиграми посвећени светитељима који се сигурно, како то тврди Шпек, односе на неки циклус слика, већ сами по себи говоре о Теодоровом иконофилском ставу.

[2] PG 99, col 436—477. Ови јамби, col. 437—441, представљају одговор на епиграме песника иконобораца које Теодор у истом том делу побија и у прози стих по стих.

[3] Cf. PG 99, 405 D/408 A. Повезивање христологије са култом икона било је од самог почетка основна теза иконофилске доктрине. *Beck*, 301; *Г. Острогорский*, Соединение вопроса о св. иконах с христологической догматикой в сочинениях православных апологетов раннего периода иконоборчества, SK 1 (1927), 35—48 = СД V 148—163.

(VII)[4] — тело човека. Онај кога нису видели ни људи (32), ни анђели (37), ни херувими (VII) — прима „густину пути“, расте, гладује, пати од жеђи и подноси све оно чему су подложни смртни људи (33)[5]. Тајном безгрешног зачећа Творац света постаје дете кога мајка држи у наручју као своје рођено чедо (38, 36, 41). Дете — Христос сједињује очеву божанску суштину и мајчину људску, смртну природу. Као што су то већ одавно коначно утврдили ортодоксни догматичари, ово двојство Христа усклађено је појмом „лица“ — хипостазе у којој су здружене обе природе (31)[6]. Пошто се божијом милошћу спојило неспојиво, свака природа задржава све своје одлике без обзира на ону другу. Тако је Богочовек захваљујући својој двострукој природи и бестелесан и телесан, и смртан и Бог — „пошто је смртан постао, будући Бог по природи“ (34). Како материјална људска природа има ту особину да се може представити у некој другој материји, јасно је да Христос, као човек, „младица своје блажене мајке“ може бити материјално приказан[7]. Да би био потпун и у једној и у другој природи, морају бити присутне све особености његовог двоструког порекла (V)[8]. Оно што се не може насликати једноставно је и није сложено. Али Христос је двострук и сложен — ако се не наслика, изгубиће облик и вредност сложености[9].

> Док је једноставан, не може се насликати
> јер он је Бог, изван сваког места.
> Ал' узевши на себе нашу суштину
> човек је, и може се представити (συνθέσει γεγραμμένος —31).

Христос је према оцу ἄγραψ, према Богородици γραπτέος, искључивање једне од ових особина повлачи за собом и порицање целе једне природе, а то је грех[10]. Пут омогућава материјалну слику и њој тежи — „жели да се приказује“ (VIII)[11].

Евхаристија, као очигледна, људима приступачна потврда да се Бог оваплотио, није само доказ инкарнације него и могућност да се Христос наслика. Теодор то сасвим једноставно и јасно каже —

> Ако тело Христово узимамо да једемо
> пијући његову крв животворну,
> како не бисмо приказали насликаног
> оног чије тело има облик који се може представити
> (σχηματόγραπτον πέλει —31).

---

[4] Римским бројем су означени епиграми из Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπή за разлику од оних из наше збирке, означених, као и обично, арапском цифром.

[5] Cf. PG 99, 332 B/C.

[6] Cf. PG 99, 400 C/D. О семантичком развоју речи ὑπόστασις у античко време и у различитим хришћанским догматским теоријама в. *Lampe*, s. v. и The Oxf. Dict. of the Christian Church, ed. by *F. L. Cross*, London 1957, s. v.

[7] Cf. PG 99, 356 B, 444 B, 413 C/D.

[8] PG 99, 392 B, 408 B.

[9] PG 99, 409 C.

[10] PG 99, 392 B/C.

[11] PG 99, 336 C/D.

Уколико иконоборци не признају слику Христа, то значи да сумњају и у саму инкарнацију Логоса и у његово силажење међу људе (33)[12].

Ово материјално представљање није светогрђе јер се Христос не слика према божанском у себи, него према телу у коме се као смртан појавио (V)[13]. Хипостатичка разлика између Бога Оца, бестелесног и невидљивог, и оваплоћеног Сина, и поред њиховог суштинског јединства, омогућава ликовно представљање Христа. С друге стране, насупрот иконоборцима, који су сматрали да слика мора бити исте природе као и њен прототип, и зато су једино евхаристију признавали за праву слику Христа, присталице култа икона не поричу суштинску разлику између Христа, као архетипа, и његове материјалне слике, али инсистирају на њиховој идентичности у погледу Христовог људског обличја[14]. Ова идентичност се огледа и у њиховом номиналном јединству, хомонимији — „у називу (κλήσει) је истоветност (ταυτότης), а не у природи (φύσει)“ — еп. 30[15]. Теодор је у полемичкој жестини чак инсистирао на хипостатичкој једнакости слике и архетипа. Не изједначује се, дакле, слика са суштином Христа, којом је он сједињен са Оцем, него се на њој представља његова хипостаза, која спојивши у себи божанско и људско, има особину смртника да се може насликати.

За овако схваћену слику, која не претендује да представи природу архетипа, него се номинално поистовећује са њим на основу хипостатичке сличности, захтева се од верника иста, неподељена проскинеза која се указује и архетипу —30[16].

Проскинеза је једна и заједничка за Оца и Сина због њихове заједничке природе, а исто тако је једна и неподељена за Христа и његову слику, јер имају исту хипостазу. Клањајући се слици, верници се у ствари клањају њеном архетипу, Христу или неком другом свецу — тврде иконофили ослањајући се на готово класичну изреку Василија Великог да се поштовање исказано слици односи уствари на њен архетип[17]. У једном даљем епиграму (61) персонификована слика Јована Претече тврди да сви који се њој у жудњи клањају уствари исказују поштовање самоме свецу. Култом икона се не уводи никаква нова, друга проскинеза за слику посебно. Слика је као сенка, увек прати

---

[12] PG 99, 349 B/C, 356 D, 1580 D.

[13] PG 99, 336 D. Cf. Joh. Damascenus PG 93, 1236 C, 1237 D. V. *G. Ostrogorski*, Les décisions du „Stoglav“, Recueil Uspenskij I (1930), 404 = СД V 194.

[14] PG 99, 341 B. Cf. *idem*, Гносеологические основы виз. спора о св. иконах, SK 2 (1928), 47—51; *idem*, Studien, 43 = СД V 49; *L. Ouspenskij*, Essai sur la théologie de l'icone dans l'église orthodoxe, Paris 1960, 147—148; *Ladner*, Concept, 13; *Beck*, 298; *J. Meyendorff*, L'image du Christ d'après Théodore Studite, Synthronon (1968) 115—117.

[15] PG 99, 341 B, 345 A, 432 A, 337 C.

[16] PG 99, 405 A: Παντὸς εἰκονιζομένου, οὐχ ἡ φύσις, ἀλλὰ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται, 359 D/372 A, 420 D/421 A. Cf. *Beck*, 305; *Ladner*, Concept 16; *Ostrogorsky*, Studien 44 = СД V, 50.

[17] PG 32, 1249 C. Cf. Th. St. PG 99, 368 D; Joh. Dam. PG 94, 1252 D.

свој архетип и зато јој се треба клањати јер оно што се односи на архетип као узрок, важи и за проузроковано — слику[18].

При томе, материја слике уопште не учествује у проскинези — „моја сенка не узима ни најмањи део славе" (39). Слика је само нека врста материјалног посредника који својом конкретношћу омогућава и олакшава општење верника са чисто духовним[19].

Кад су у питању крст (в. даље еп. 59)[20], светиња, а и иконе, Теодор се — што су одавно већ иконофили учинили — ограђује од обожавања — λατρεία — намењеног само Богу. Свим осталим светим личностима и светим предметима припада релативно поштовање (σχέσει) — 32[21].

Интересантно је какво је место у Теодоровој доктрини заузимао уметник, сликар. Теодор се придружио идеји о паралели између уметника, који постиже на слици сличност са узвишеним архетипом и Бога, који је створио човека према своме обличју (Пост. 1.27). Ова идеја која преко неоплатонизма води своје порекло од Платонове представе о Творцу — Демиургу, и која је нашла свој одраз у космичкој хијерархији слика Јована Дамаскина — придаје очигледно божанску вредност уметности — θεῖον χρῆμα — како то Теодор на једном месту каже[22]. Квалитативна разлика између ова два стваралаштва усаглашује се односом φύσει — θέσει, односом, добро познатим из античке филозофске терминологије, који је Јован Дамаскин први применио у иконофилској доктрини[23]. Док је син природна слика Оца, дотле се он сам као и сви људи, представља ἐν θέσει καὶ γραφῇ (33).

Поредећи креативност уметника са божијом творачком моћи, Теодор је уметника уздигао веома високо. Својом руком која „даје облик" он улепшава слику (32). Овоземаљским средствима и својим даром он конкретизује и приближава људима духовни садржај дајући му материјални облик.

На педагошко-просветном значају иконе, који је на почетку сукоба био у првом плану, а и касније је слика истицана као извор сазнања

---

[18] PG 99, 349 D. Cf. Joh. Dam. PG 94, 1337 A. У ранијој патристици појам сенке σκιά — није био потпуно идентичан са појмом слике — већ са јављао паралелно са њом у једном апстрактнијем значењу симбола и предзнака — в. *Lampe*, s. v., под бројем 3; уп. и каноне 34 и 82 Трулског сабора, *Grabar*, Iconoclasme, 184, *Ladner* 7.

[19] PG 99, 368 D/369 A, 428 B. Cf. Joh. Dam. PG 94, 1245 A/B.

[20] О култу крста код иконофила и иконобораца в. *G. Millet*, Les iconoclastes et la Croix, à propos d'une inscription de Cappadoce, BCH 34 (1910), I—IV, 96—109; *Grabar*, Iconoclasme 135 sq.

[21] PG 99, 348 D/349 B, 503 B, 1472 — јерес је признати обожавање слике Христа. На овој разлици је нарочито инсистирао VII васељенски сабор — *Beck*, 313. Cf. *V. Grumel*, Recherches récentes sur l'iconoclasme, EO 29 (1939), 99; *idem*, L'iconologie de saint Th. St., EO 20 (1930), 264. О разлици између λατρεία и προσκύνησις код Јована Дамаскина и патријарха Нићифора в. *A. J. Visser*, Nikephoros und der Bilderstreit, Groningen 1952, 111.

[22] PG 99, 420 A. Cf. Joh. Dam. PG 94, 1345 A/B. *Grabar* o. c., 246; *Ladner*, Concept 12, n. 58.

[23] PG. 99, 429 B. Cf. Joh. Dam. PG 94, 1337 C. *Ladner*, Concept, 16 sqq.

једнак Светом писму, Теодор такође веома инсистира[24]. За њега је чак визуелно поимање Христа важније и непосредније од писане речи Јеванђеља. Посматрање — „аутопсија“ изазива у нама „сећање“ (ὑπόμνησις) на Христа и његова божанска дела — 32[25]. Адекватно својој материјалној природи, човек чулним сазнањем долази до доживљавања духовног и узвишеног. Посматрајући на слици лик Христов он успева да уз помоћ материје продре кроз њу, дигне свој дух изнад њених граница и „бере духовне плодове“ — како се Теодор сликовито изразио (32)[26]. Исто тако надахњујуће делује на човека и слика светитеља, осветљава његове мисли (62).

Поновно појављивање Христа на икони, као и његов први боравак међу људима, има спаситељску улогу. Показавши се после инкарнације, спасао је људе од паганства, а показавши се на слици, спасава их од јереси (I, II, VI)[27].

Велика је почаст за људе што се Бог отеловио, ступио међу њих и што им се материјалан приказује. Они тога треба да буду свесни и да славе што им је дозвољено да га гледају — VIII, III.

*

Одевање теолошке мисли у рухо епиграма није представљало новост. Било је епиграма са догматском проблематиком и пре и после Теодора, а било их је који су настали за време иконоборске кризе и на једној и на другој страни[28]. Ови Теодорови епиграми по оригиналности, свежини и непосредности, далеко заостају за онима посвећеним манастирском животу. Међутим, својом језгровитошћу они су одговарали свом циљу пропаганде у врло широким слојевима верника. Теодор није дозволио да га спутавају сопствене филозофске мисли. Његова ученост је ненаметљива, па су и стихови без претераних магловитих алузија. Јасноћа изражавања доказује да је Теодор господарио једном тако компликованом и нимало лаком материјом и успео да је прилагоди облику епиграма. Овладао је вештином да сажме у један до два ретка од по дванаест слогова суштину једне доктрине.

Структуре ових епиграма су са извесним варијацијама и одступањима углавном сличне. Судећи према почетним стиховима већина их се односи на одређене слике. Песник почиње тиме што се обраћа гледаоцу (30, 32), или директно апострофира представљену личност (35, 37). Понекад говори насликани Христос, Богородица или светац (36, 38, 39; уп. и еп. 93). Ова персонификација сасвим је у складу са теори-

---

[24] PG 99, 373 B, 392 A — Ὄψις ἀκοῆς πρωτέρα. Cf. Joh. Dam. 1348 C.

[25] PG 99, 1220. Cf. *Beck*, 304; Reallexikon, II 336; *Speck*, Jamben 180.

[26] Cf. Joh. Dam. PG 94, 1288 B.

[27] Cf. Joh. Dam. PG 94, 1256 A.

[28] За неколико имена песника иконобораца и за њихове епиграме знамо баш захваљујући Теодоровом спису Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπή. Иако ови цитирани епиграми не казују много о суштинским поставкама иконобораца, можемо да претпоставимо да су постојали још други, можда значајнији и садржајнији, које су метежи борбе однели са собом.

јом о хо̀монимном јединству слике и њеног архетипа. Тако се постиже ефекат непосредности и живости и ствара директан контакт између гледаоца и иконе[29]. Централни део садржи иконофилске аргументе тако срочене да задовољавају све захтеве стиха у који су без тешкоћа уклопљени филозофски појмови.

Код великог броја епиграма постоји завршни део у коме Теодор уздиже своје једномишљенике обећавајући им божију милост, док је сву снагу свог темперамента уперио против својих противника. Ови завршни стихови се могу упоредити са анатемама које он на крају списа Antirrheticus I баца на иконоборце. Жаока намењена непријатељима — коју ова књижевна врста кратких песама често у себи садржи у античко време — има код Теодора читаву скалу у јачини — од замерки због неразумне лудости, до грозних претњи казном Страшног суда.

Језик је прилично једноставан, без компликованих конструкција. Избор речи, ограничен тематиком, није нарочито богат. Изгледа као да се песник није трудио да постигне разноликост и није се устезао од понављања. И мисли се такође јављају једне исте на више места јер је Теодор инсистирао на оним аргументима који су најочитији и најразумљивији свим верницима. Метафоре и епитети су углавном стереотипни и једнолики. Има их знатно више у епиграмима из Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπή који се уопште одликују мање једноставним стилом. У њима нема оне чистоте израза карактеристичне за епиграме прве збирке[30].

Стихови 34—39 представљају праве кратке епиграме, можда чак и натписе, који у јасно истакнутој поенти подвлаче неку од Теодорових иконофилских мисли. Претходни епиграми 30—33 су нешто дужи, па и своје аргументе износе на други начин. У том погледу се нарочито издвајају 31 и 33 који се очигледно не односе на одређене слике него представљају мале есеје у којима Теодор поступно, логички развија своје мисли и доказе.

Ова поступност у изражавању мисли огледа се и у стилској конструкцији песме. У првом стиху епиграма 33 у мирном, наративном стилу, са формулом „каже" — φησίν — Теодор износи добро познате чињенице о невидљивости Бога пре инкарнације —

[29] За епиграме у којима сама слика, или представљена личност, говори у првом лицу може се сматрати да су били натписи на тим сликама. Исто се може закључити и за епиграме 30 — „слика коју гледаш Христова је" и 32 — „гледајући, људи, овде насликану слику".

[30] У издању које је приредио Garzya, на крају збирке се јавља Appendix од пет епиграма које на основу података из биографија и преписке самог Теодора не бисмо могли да идентификујемо као део неке изгубљене збирке. Због тога, а и на основу закључака које је извукао из садржине ових епиграма, Шпек (Parerga zu den Epigrammen des Theodoros Studites, Ἑλληνικά 18 (1964), 11—43) претпоставља да ови стихови не припадају Теодору него су настали касније под његовим утицајем и у његову част. У сваком случају ови епиграми су по својој тематици, аргументима, терминима и појединим изразима врло блиски оригиналним епиграмима Теодоровим и не излазе из оквира његове доктрине уопште. Али начин на који се та доктрина излаже, различите структуре епиграма, недостатак тежње за једноставношћу, испољавање учености и извесни реторски обрти као да сами по себи подстичу на сумњу у аутентичност.

Док Христос бестелесан беше, видљив није био,
Јер Бога, кажу, нико од људи не угледа.

Други део, у коме се сликовито говори о стварности Христове инкарнације, много је динамичнији и експресивнији, јер у себи садржи главни аргумент тезе. Нижу се полисиндети (καὶ χρόνου τε καὶ τόπου), асиндети (ἁπτός, παθητός), нагомилавају исти глаголски облици са истим завршецима (αὔξει, διψεῖ, πεινεῖ τὲ καὶ σύμπαν φέρει). Подвлачећи у парадоксној антитези огромну разлику између бестелесног који је „изван сваког времена и места" и отеловљеног Христа, који може да се додирне, који расте, гладује, жеђа и подноси патњу, Теодор истиче величину мистерије оваплоћења и тиме придаје свом аргументу јачину. Одмах затим, једним реторским питањем, патетично се обраћа своме противнику „безумнику" и „несрећнику", како може после тако убедљивих доказа да не промени мишљење. На крају, он свог противника ставља пред бескомпромисну алтернативу истакнуту свезама или — или и императивима са истим завршетком на крају стихова —

Ил' заблуду одбацив постани верник,
Ил' бежи далеко од божијег двора.

III

ЕПИГРАМИ ПОСВЕЋЕНИ СВЕТИМ МЕСТИМА И ПРЕДМЕТИМА

Највећи део Теодорове збирке чине епиграми посвећени литургијским предметима, храмовима и разним манастирским здањима[1]. Ова велика група припада најраспрострањенијој и најстаријој врсти грчког епиграма и класичног и хришћанског доба — врсти која обухвата стихове настале из потребе и обичаја празноверног човека да на култним предметима и споменицима записује разноврсне поруке, молитве и басме. Тако су исписиване магијске речи и апотропејске формуле које су чувале власнике предмета и штитиле вернике од злих сила; затим вотивни текстови који су зазивали божанство, препоручивали му дародавца и молили га за помоћ против зла. Неки су, пак, натписи имали чисто информативни карактер, обраћајући се путнику намернику и обавештавајући га о сврси споменика, његовом божанском патрону и побожном ктитору. Током времена једноставни натписи су добили своју одређену уметничку форму која почиње да се радо и често употребљава, па чак и сасвим фиктивно користи као песничка играрија и вежба. У многим епиграмима хришћанског доба можемо да уочимо наставак ове

[1] Ову групу чине епиграми 1, 2, 40—60, 85—93, 98—105, 106—108, 112, 114—115, 121. Такође би ту могли доћи и неки епиграми посвећени животу у манастиру (20, 25, 29) као и сви они о светим иконама који с обзиром на своју изразито полемичку тематику, чине издвојену целину о којој је било раније речи. Циклус епиграма посвећених светитељима 61—84 односио се по свој прилици на њихове сликане представе.

традиције и да у понеким натписима на зидовима византијских цркава и на разноврсним литургијским утварима распознамо формуле које зазивају патрона или бране светилиште од зла.

Студитови стихови се у свему придружују осталим византијским епиграмима ове врсте. Садржински они ни у чему не одступају од многобројних таквих стихова на које наилазимо у средњовековним збиркама и на епиграфским споменицима из најразличитијих крајева царства. Нема у њима ничег стварно новог ни свежег у погледу уметничког израза нити нечег нарочитог ни оригиналног у погледу форме. Композиција је стандардна, мотиви уобичајени, метафоре се понављају — све је врло типично и баш зато занимљиво као потврда једног устаљеног начина од којег средњовековни песник свесно не тежи да одступи.

Веома је примамљива претпоставка да ови епиграми представљају уствари стиховане натписе које је свестрани игуман састављао да буду видљива и стално присутна поука и опомена доступна свим верницима. То би дало Теодоровом песничком опусу изразито просветитељски карактер, што би било потпуно у сагласности са његовим практичним духом. Реалне потврде за то немамо, јер ниједан такав натпис није сачуван из тог времена. Епиграфска форма, коју ови стихови имају, формуле обраћања гледаоцу — „гледајући пред својим лицем", „приђи у страху" — често су служиле чисто фиктивно за један стереотипан начин састављања епиграма. Питање је да ли спомињање ктитора и одређених грађевина значи да је Студит само инспирисан храмовима и предметима своје околине, па им посвећује епиграме, или их пише да би имали практичну примену.

Међутим, чињеница је да су на циборијумима, крстовима, олтарским покровима исписивани разни стихови[2]. Упадљива је, например, велика тематска сличност епиграма посвећених олтарском простору Студитске цркве (42—44) са натписом у Св. Ахилију на Малој Преспи из X в. Такође, један епитаф IX в. формулацијом мисли и избором поређења јасно подсећа на. Теодорове епиграме[3].

Засебно и веома занимљиво питање представља низ еп. 61—84 за које Шпек претпоставља да су уствари били исписани на циклусу фресака са ликовима светитеља[4]. Због недостатка конкретних доказа и савремених иконографских паралела, ово питање мора остати и даље отворено, али је чињеница да би овакав циклус светих отаца и монаха — пустињака са натписима могао да подсећа на живопис, рецимо, манастирске цркве Св. Неофита на Кипру из XII в., на чијим је зидовима у нартексу и наосу представљен читав низ светитеља, претежно пусти-

---

[2] Тако је познат, например, натпис из IX в. на циборијуму Св. Софије у Цариграду којим почиње Anthologia Palatina. О натписима на крстовима в. *Frolow*, La relique, а о оним на литургијским тканинама *Frolow*, La podea, Byzantion 13 (1938), 480 sq.; *Millet*, Broderies religieuses de style byzantin, Paris 1947; *M. Theocharis*, Ἡ ἐνδυτὴ τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ΕΕΒΣ 29 (1959), 193—202.

[3] В. *Н. Радошевић-Максимовић*, Један епиграм из базилике Св. Ахилија на Малој Преспи, ЗРВИ 12 (1970), 9—13; The Epitaph of Thomas.

[4] *P. Speck*, Heiligenbilderzyklus, 333—334.

њака, са ротулусима на којима су исписани разни цитати из аскетских текстова[5].

Појава Студитових епиграма на неколико споменика каснијег времена указују на њихову омиљеност и актуелност много после песникове смрти.

Занимљиво је да се на примеру Теодорових епиграма види како књижевно дело може да буде неисцрпан извор за историчаре уметности којима је, с обзиром на недостатак сачуваних споменика, сваки најмањи и најскривенији податак веома драгоцен. Колико могућности може да пружи један епиграм показује Шпеков покушај да на основу еп. 90 изведе закључак о изгледу цркве Св. Јована Богослова у Сакудиону и створи хипотезу о општем иконографском програму византијских цркава Теодоровог времена[6].

*

У овој великој групи епиграма издваја се неколико чврсто повезаних целина. Једну такву засебну садржинску целину чине еп. 42—46, посвећени цркви Св. Јована Претече у Студиосу — што се јасно може закључити из наслова „Циборију Продромовом" (42). Епиграми се односе на циборијум, олтарску преграду — темплон, тисиастирион — најсветији део цркве у коме је олтар, врата нартекса и на први улаз у храм.

Ако посматрамо ове Теодорове стихове, за које можемо да нађемо многе паралеле међу визнатијским натписима, од последњег (46), посвећеног првом улазу у храм, уназад, разоткрива се пред нама идеја о постепеној припреми смртника за свету службу, о моралној катарзи кроз коју пролази ступајући у „божији дом". На улазу у храм чести су натписи који позивају верника да застане и да се замисли пред црквеним дверима која деле спољни свет јалове сујете и празне таштине од оног који га очекује унутра, богатог духовним садржајем и у потпуности посвећеног Богу (46 и 45; уп. и манастирске епиграме 22 и 23). Ослободивши се „пијанства свакодневних брига"[7] и нашавши се у „свет-

---

[5] V. *C. Mango*, o.c., 135—192.

[6] *Speck*, o.c.

[7] Уп. Теодорову химну посвећену св. Јеврему (*Pitra* I, 341) — τὴν μέθην ῥίψας τὴν τῶν παθῶν; πᾶσαν τὴν ἀποθόμεθα μερίμναν из Херувимске песме, *Brightman*, 377. V. *S. A. Xanthoudidos*, Χριστιανικαὶ ἐπιγραφαὶ ἐκ Κρήτης, ᾿Αθηνᾶ 15 (1903), 162 — натпис на довратку у старој цркви Св. Мине у Ираклиону —

Εἴσελθε, φωτίσθητι πᾶς τις τὰς φρένας
. . . .
ψυχὰς καθαῖρον καὶ ῥύπους τῶν σωμάτων

На вратима параклиса Св. Параскеве у цркви Св. Пантелејмона у Мистри налази се литургијски натпис — почетак Треће Херувимске песме (*Brightman* 42. 25) — Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία (*K. Zisios*, ᾿Επιγραφαὶ χριστιανικῶν χρόνων τῆς ῾Ελλάδος, Βυζαντίς 1 (1909) 439). Сачуван је позни натпис из 1718 г. над вратима у Неа Мони на Хиосу — *E. Follieri*, 191, n. 42 Polychronion, 1966.

Βιωτικὰς ῥίψαντες πίστοι ἐννοίας
παντός τε μώμου ἀνοιξάντες καρδίας

лом храму Божијем", верника обузима свест о сопственој слабости и страх пред олтаром — симболом Страшнога суда. Није ту само у питању страх од казне и мука на оном свету, то је уједно и страхопоштовање, дубоко религиозно дивљење према узвишеној и недостижној светости којој људски дух увек тежи. Такво осећање богобојажљивости и скрушености основни су предуслов да смртник достојно учествује у светим тајнама[8]. Смисао оваквих стихова, упућених имагинарном или стварном гледаоцу, је и био у томе да дочара визију небеског храма и божанске службе у којој Христос служи са херувимима истовремено док се у цркви одвија земаљска литургија[9]. Међутим, оштро је подвучена разлика између искрених и чистих, којима је доступно свето причешће, и недостојних, којима се забрањује приступ у храм[10]. Причест, веома често поређена са жеравицом из Исаијиног виђења која оплемењује верника, претвара се у страшну ватру која спаљује недостојне[11]. Овим „даром" (јер огањ је дар што недостојне сажиже —44) саркастично прети Теодор, алудирајући на ватру пакла[12].

С обзиром на атмосферу и мисли на које наводи светост места, језик и топика тесно су везани за литургијску књижевност. „Страшни престо", „приступање у страху", „скрушени дух" — све су то изрази

---

[8] Небројени су примери који би се могли са овим упоредити. Страх који обузима човека кад крочи у цркву и нађе се пред олтаром, претећим симболом Страшног суда, опште је место у црквеној књижевности. Уп. нпр. у литургијским текстовима *Brightman*, 13.31, 39.30; в. такође и Στιχηρὰ νεκρώσιμα песника Теофана (*Christ — Paranikas*, 124): Τρόμῳ τῷ φρικτῷ καὶ φοβερῷ βήματι τῷ σῷ παρεστῶτες. Нису ретки ни натписи који говоре о „страшном месту" било да су то цитати из Светог писма, литургијски текстови или посебни епиграми. В. натпис из апсиде Св. Фануриja у Валсамонеру (XV в.) — *Xanthoudidos* 141: κάτω νεύων φόβῳ πρόσελθε τὴν πύλην τῆς εἰσόδου као и натпис који се јавља на више места — на Малој Преспи, у Панагији τῶν Χαλκέων у Солуну, у Лаври, на Кипру и на Кефаленији — *Н. Радошевић-Максимовић*, о. с., 9 —

Ὁρῶν τὸ βῆμα τῆς τραπέζης Κυρίου
στῆθι τρέμων ἄνθρωπε καὶ νεύων κάτω
. . . .

[9] Овакво схватање цркве као земаљског неба јасно се одражава у иконографском програму који се после победе православља формира постепено. Међутим, и пре иконоборства идеја о цркви, одразу небеског Јерусалима, јавља се у литератури и нарочито у симболичким интерпретацијама црквеног живописа и архитектуре. О томе в. *S. der Nersessian*, Le décor des églises du IX siècle, Actes du VI[e] Congrès intern. d'études byz., Paris 1950, 314—320.

[10] Захтев да у светилиште уђу само праведни и људи чиста духа јавља се већ у античкој Грчкој (*Kominis*, Τὸ ἱερὸν ἐπίγραμμα, 36) као и у библијским текстовима (Пс 15, 24, 118). У византијским црквама таквих натписа има безброј. Уп. натпис који се јавља у светогорском манастиру Филотеју, у цркви у Дољанима, у манастиру Панагије у Ἀγυιᾶ τοῦ Πηλίου (*Pallas*, 436), као и у цркви Св. Ђорђа на Малој Преспи (*Pelikanidis*, 89):

Εἰ μὲν φίλος πέφυκας, εἴσελθε χαίρων·
εἰ δ' ἐχθρὸς καὶ βάσκανος καὶ γέμων δόλου,
πόρρω, πόρρω πέφευγε τῆς πύλης ταύτης

[11] Ис. 66, 7. Cf. *Brightman* 63.18—24 из литургије св. Јакова. В. *Л. Мирковић*, Православна литургика, Сремски Карловци, 1918, 118.

[12] Уп. крај натписа поред протезе у цркви Св. Ђорђа на Малој Преспи — ὅτι πῦρ ἐστιν καὶ ἀναξίους καίει — *Pelikanidis*, 89.

који ове потенцијалне натписе у светом храму директно повезују са службом која се у њему одвија.

Десетак краћих епиграма је посвећено крсту (47—60). То су све углавном дистиси у којима је сажета било реторска похвала крсту, било уобичајена апотропејска формула. Својим страдањем Христос се у многоме поистоветио са крстом, „помешао се с њим у патњи“ (59), па се и њихови симболи и функције често међусобно преплићу. Поред стандардних пропратних епитета „богомстворено“ (49), „безгрешно дрво“ (54), крст преузима и оне фигуре које су првенствено везане за Христа и његову божанску, узвишену природу. Тако се уз крст веома често јављају тројни епитети — „трипут благословено“ τρισευλόγητον (54) — који се иначе првенствено односе на Св. тројство[13], као и светлосне метафоре, карактеристичне за хвалоспеве посвећене Христу.

Као многи византијски песници Теодор радо дочарава слику Христа који је „раширивши на крсту руке извукао свет из понора греха“ (52) и тиме учинио да оруђе мучења постане светиња[14]. На ову метаморфозу крста Теодор алудира омиљеном сликом мртвог дрвета које је на Голготи поново оживело и процветало „животном плодношћу“ (51). Симболични смисао ове слике, која има своју библијску паралелу у претварању Аронове палице божијом милошћу у расцветану грану (Бројеви 17,8), може се пратити у поређењу рајског дрвета знања, које је човеку пружило грех и смрт, са животворним дрветом крста, које је донело искупљење од греха и спас од смрти, и зато у вртовима Новог Јерусалима расте у пуном цвату[15].

Веровање у победничку силу крста и његову апотропејску моћ, засновано је у великој мери на традицији легендарног Константиновог виђења на Милвијском мосту, као и на паганском празноверју о магијској моћи одређених знакова који са успехом побеђују урок и зле врачбине. Овакво схватање нашло је свој израз у небројеним стиховима са тачно утврђеним програмом борбених метафора. „Трофеј небеских војски“ (53), од кога „бежи цела фаланга демона“ (57) постаје неизбеж-

---

[13] Уп. епиграм крај крста који је иконоборски цар Лав III подигао над Халкитским вратима — PG 99, 437; The Epitaph of Thomas, 75, 76, 80— τρισόλβιος, τρισήλιος, τρισάκτινος. *Frolow*, Inscription bulgare, 103 повезује овакве епитете са веровањем да је часни крст био начињен од три врсте дрвета.

[14] Уп. сличне примере: *Frolow*, La relique 235, No 135 — Θ(εὸ)ς μὲν ἐξέτεινε χεῖρας ἐν ξύλῳ . . . ; ibidem, 447, No 573, 4.

[15] Cf. PG 99, 696; *Christ — Paranikas*, 75. v. 14—15 — τὸ ξύλον τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἐξανθῆσαν ἡμῖν αἰωνίου δόξης τὴν ἀπόλαυσιν. Канон Козме Мајумског Воздвиженију часнога крста, Ода III 35—38 (*Christ — Paranikas* 162) —

τῇ στειρευούσῃ δὲ πρώην
ἐκκλησίᾳ νῦν ἐξήνθησε
ξύλον σταυροῦ
εἰς κράτος καὶ στερέωμα.

Златни пекторални крст украшен драгим камењем Манојло Филес пореди са рајским вртом — *Frolow*, La relique, 447, No 573. Cf. *P. Underwood*, The Fountain of Life, DOP 5 (1950), 97 ff. Интересантно је да се на новцу и на олтарским плочама често јавља посебан тип расцветалог крста.

но опште место, синоним који се у потпуности изједначује с крстом[16]. Као главни апотропејски знак у оквиру црквених догми крст постаје, поред Христовог монограма, или у каснијем периоду његовог лика и ликова арханђела са мачем, најчешћи чувар црквених улаза који забрањује приступ злим силама и обезбеђује верницима безбедност и мир у молитви (56)[17]. Еп. 47, који је судећи према наслову „Уласку у храм — крсту", вероватно пратећи натпис уз један такав крст, речито говори о страшном ефекту који крст има на Сатану и његове слуге[18]. Крст је страх и трепет за ђавола, а чувар добрих и побожних[19] — па се према томе и његове метафоре развијају у смислу супротстављања негативног према позитивном. Ватра, усијани жиг[20], којим се кажњавају кривци (47), истовремено је „блистава заслепљујућа светлост" ἀστραπηφόρος σέλας (58) — за све оне који гледају с вером и побожношћу. Ово двојство крстове вредности најбоље је изражено у језгровитој антитези моностиха 60 — ватра која спаљује мрачне силе, за праведне смртнике је бакља духовне светлости — Βροτοὺς δαδουχῶ καὶ σκοταρχοῦντας φλέγω[21]. Крст се замишља као светла жишка која указује пут правде и истине људима заблуделим у материјалности земаљског живота и пружа им огромну подршку у њиховим духовним трагањима. Међу најлепшим је Теодоровим стиховима инвокација крста (50) —

Ὦ σταυρέ, φῶς μου, λάμπε μοι παντὶ χρόνῳ
πόρρω διώκων τῆς ψυχῆς μου τὸ σκότος.

Крсте, светлости моја, сијај ми стално,
далеко ми од душе разгонећи мрак.[22]

У строфу нанизани, елиптично концизни моностиси (58) изражавају схватање крста као симбола у коме је сажета сва суштина вере у Христа и у могућност искупљења од греха. Нарочито значајну улогу има крст у монашком животу (55 и 58). Ношење сопственог крста — често коришћена фигура која, алудирајући на Христове муке, означава стрпљиво подношење животних тегоба ради неког вишег циља, у овом контексту добија вишеструки смисао. Терет који су монаси свесно при-

---

[16] PG 99 1761 B. Cf. *Lampe*, s. v. σταυρός; *Pallas*, 443; The Epitaph of Thomas 75, 83. *Grabar*, Iconoclasme, passim; *idem*, L'empereur, dans l'art byz., Paris 1957, 34 et passim; *idem*, La précieuse croix de la Lavre Saint-Athanase au Mont-Athose, Cahiers archéologiques 19 (1969), 99—125; *Frolow*, Inscription bulg.

[17] V. *Pallas; Millet*, Les Iconoclastes et la Croix.

[18] V. *D.I. Pallas*, Die Passion und Bestatung Christi, Misc. byz. Mon. 2, München 1965, 82 претпоставља да је у питању крст који се налазио у нартексу. Палас не спомиње могућност да би се овај натпис могао налазити у студијском Јовану Претечи.

[19] Cf. *Jalabert — Mouterde — Mondésert*, Inscr. gr. et lat. de la Syrie II, 1929, 171 No 298; *Frolow*, La relique 245, No 157.

[20] PG 99, 361 B.

[21] Сличан пример за двојакост крстовог деловања в. Минеј за септембар, 91 — Као велико сунце својим зрацима, светлиш онима у мраку, а демоне спаљујеш, најлепши крсте!

[22] Cf. PG 99, 1765 B. На сличан начин се Теодор обраћа своме духовном оцу св. Платону — ibidem, 909 B.

хватили — крст који носе и коме служе — истовремено је симбол у коме они виде пуни смисао своје скрушености и оправданост својих жртвовања.

Што се тиче композиције, интересантан је епиграм 58. Сваки од ових у венац здружених моностиха почиње на исти начин, чиме се постиже реторско понављање, толико карактеристично за византијску поезију[23], и сваки има исту синтактичку структуру —

Крст, гледаоцима муњолики сјај.
Крст, монасима спасења широки пут.
Крст, богољубнима истребитељ мисли злих.
Крст, покајницима чистилац греха свих.
Крст, чистољубивима најјачи штит.

Такође су занимљиви и дистиси 53—56 састављени у облику поздрава — χαιρετισμοί. Перифразу крста која долази иза поздрава у сваком првом стиху, објашњава други стих који, свуда сем у еп. 56, почиње са — ἐν σοί — „у теби". Например —

Буди поздрављено, трипут благословено, безгрешно дрво,
у теби је престало проклетство смртности.

*

Садржински повезану и стилски уједначену целину чине епиграми састављени у славу различитих светитеља (61—84)[24]. Избор светитеља је везан очигледно за манастирску средину за коју је Теодор стварао. Први део циклуса (61—74) се односи на најзначајније утемељиваче хришћанске догме, а други (75—84) је посвећен светитељима — монасима које Теодор ставља своме братству често за пример[25]. То су све епиграми исте дужине, од којих сваки у своја четири стиха представља веома успешан спрег опште хиперболичне метафорике и алузија на конкретна дела која сваком светитељу дају посебно обележје. Код црквених отаца он хвали њихов теолошки опус, који је обогатио свет ширећи свуда ортодоксну догму (65, 69, 67, 73), њихове речи — „недостижне" (62)[26], „све у злату" (72), „богом надахнуте" (73), „преслатке" (74). У сликовитим метафорама Теодор хвали њихов тријумф над јересима и свим непријатељима хришћанства. Њихова дела су уништила грех (74, 70), распршила ноћ зла (68), ослободила свет од мрака (62, 63) и отворила врата спаса (72). Код светих монаха Теодор уздиже њихову

[23] *Kominis*, o.c, 90 n. 2.

[24] С обзиром да се на два места спомињу слике светитеља (Ја сам слика— 61, Гледајући ме насликаног — 62) овај сам циклус придружила епиграмима посвећеним светим предметима. Cf. *Speck*, Heiligenbilderzyklus, и *idem*, Jamben, 211—217.

[25] Поред епиграма Теодор је већини ових светитеља посветио и химне које су у много чему сличне нашим стиховима *Pitra* I 336—380. Cf. *Speck*, Jamben, 211—217.

[26] Cf. PG 99, 772 C, Laud. S. Joann. Euang. — ὁ βυθὸς ὁ ἄφθαστος τῶν δογμάτων.

практичну делатност (80, 76, 79), херојске напоре (79) и узвишени начин живота (75, 83, 83). Користећи и ову прилику да глорификује монаштво, „основу православља“[27], и укаже на његову екуменску улогу, он у хвалоспевима говори о „духовним звездама“ (79) које пустињу претварају у божији град (78, 79) и дају своме народу од анђела најављене законе.

На основу неког биографског, односно хагиографског, податка Теодор успева да истакне индивидуалност појединог светитеља издвајајући нешто за њега особено, или спомињући начин на који је умро као што је случај са стиховима посвећеним св. Захарију (64)[28]. Има неколико алузија на конкретне списе — на сачувана дела, прожета неоплатонизмом, која су кроз цео средњи век приписивана св. Дионисију Ареопагиту, на „Панарион“, расправу св. Епифанија против свих јереси (69), на књижевни опус Кирила Александријског (72) —

> Божанских истина свакојаких ризницу ти сакупи
> и речима богоносним обогати свет (73)[29].

У уобичајеној игри властитим именима Теодор спомиње чудотворну моћ Георгија чудотворца[30] и Хризостомову слаткоречивост[31] —

> Избивши као беседа златних врело непресушно.
> Васцели под сунцем натапаш свет, блажени!

Он истиче јачину догматске мисли Григорија Богослова поредећи је са грмљавином (67)[32], и метафором спаја непрекидан плач, којим је св. Арсеније изражавао своју дубоку смерност, са „непокварљивим плодовима“ његовог подвижништва[33].

У панегиричком тону епиграми уздижу „блажене“ и „трипутблажене“ светитеље реторичким фигурама, узвишеним епитетима и поређењима са старозаветним личностима. Поред метафора карактеристичних за поједине светитеље — нпр. „син грома“ за Јована јеван-

---

[27] Уп. Теодорове Στίχηρα ἰδιόμελα у Минеју за 17 јануар, стр. 148.

[28] У збирци јампских дистиха у част свих светих преко целе године Христифор из Митилене (XI в.) сажето износи велики број смрти за Христову веру, што у многоме подсећа на ове Теодорове стихове.

[29] Примере из циклуса светитељских епиграма превео је професор Ф. Баришић, на чему му срдачно захваљуејм.

[30] Уп. Христ. из Митилене (Минеј за 17. нов.) —

> Ὁ Γρηγόριος θαυματουργῶν καὶ πάλαι
> Θεῷ παραστάς, θαυματουργεῖ τι πλέον

[31] Cf. *Pitra* 358. 1: τῇ χρυσορρείθρῳ αἴγλῃ τῶν θείων; Христ. из Митилене (Минеј за 13. нов.) — Μύσας ὁ χρυσοῦς Ἰωάννης τὸ στόμα...

[32] Cf. Eug. Panorm. VI 84 — ... οὔσης πτερωτῆς τῆς βολῆς τῶν ῥημάτων, Христ. из Митилене, Минеј за 25. Јануар.

[33] Св. Арсенију, узору будућих исихаста, Теодор је посветио посебну беседу-ed. *Visser*, Byz. Neugr. Jahrb. 1 (1920), 246—62 — PG 99, 864 B — 881 D. Cf. 864 B — св. Арсеније је због данонoћног плакања носио нарочиту мараму на грудима која је скупљала сузе.

ђелисту (према — Марко 3, 17)[34], честе су и сасвим опште фразе и уобичајени изрази — слава учитеља, велики сасуд божијег знања[35], велики гигант[36], ватрени стуб[37]. На неколико места Теодор пореди учење отаца са реком, непресушним извором који натапа земљу (69, 72, 74)[38].

Међутим, најуочљивије обележје овог циклуса, као и одговарајућих химни, чине светлосне метафоре које се јављају у бескрајном броју варијација. Грчки језик уопште располаже заиста неисцрпним фондом речи са значењем светлости, чије нијансе тешко могу да се пренесу у наш језик где је избор одговарајућих израза прилично штур. Ово језичко богатство је пружило грчкој панегиричкој књижевности читав арсенал светлосних метафора, сличног значења али разноврсних облика, које су на врло ефектан начин уздизале цареве, светитеље и самог Бога[39]. Готово у сваком епиграму светитељског циклуса светлосна симболика се јавља у разноврсним комбинацијама. Тако, на пример, метафора јутарње звезде, која је симбол претходника, оног који својим делима или писаном речју отвара нове могућности за јачање и ширење хришћанске вере, јавља се неколико пута, увек исказана на други начин — Ἑωσφόρος (69,77), ἑῷος φωσφόρος (75), τῆς ἑῷος φαιδρὸς ἀστὴρ (84).

Заснивајући експресивност ових епиграма на изузетно богатој метафорици Теодор није нарочито инсистирао на формалним украсима. Поред неколико случајева нагомилавања сазвучних слогова на једном месту (71,1 -гон-, тон, пон-, тон, сон), занимљиве комбинације четири глаголска облика истог завршетка који се јављају по један у сваком стиху (θησαυρίσας — пртцп. аор., ἐπλούτισας — индик. аор., κατασπάσας пртцп. аор., πέφηνας — индик. пф.), пада у очи неколико пута поновљени хомојотелеутон у 2. и 3. стиху (69, 76, 80), који повезује два дела епиграма.

Задржавши се у једном релативно уском кругу светлосне метафорике, панегиричког стила и химничког начина изражавања, Теодор је успео да од неких епиграма створи мале песничке целине изузетне естетске вредности. Нека послуже као пример епиграми 66 и 83 —

Блиставилом живота светлог засијавши као муња,
ти делима и речима осветљаваш свет;
и ти такође, као нови Петар, кључеве прими
и сада си чувар цркве свеколике.

Уздигнувши свој живот до неба високог,
мноштвом духовне деце као звезданим шаром ти се осу;
муњама чудотворства силовитим
ти растера демона облаке свакојаке.

---

[34] Cf. Laud. S. Joann. Evang. PG 99, 718 A. V. *Kominis*, Συναγωγή, 274.

[35] Cf. PG 99, 772 D — τῆς γνώσεως τὸ δοχεῖον τὸ μέγιστον.

[36] Cf. *Pitra* I 349. 2.

[37] Cf. *Pitra*, I 346. 1 — καὶ στῦλος πυρὸς ὀρθοδοξίας λάμπων; ibidem, 351, 6; Минеј за 18 јануар, стр. 156, 161.

[38] Cf. PG 99 772 D/C, 737 B; *Pitra* I 341. 6. В. и Минеј за 18 јануар, стр. 154 — Χαίρετε θεολογίας πηγαί, θεοσοφίας ποταμοὶ ἀέναοι, καὶ βρύσεις θείας γνώσεως . . .

[39] *E. Kantorowicz*, Oriens Augusti — Lever du Roi, DOP 17 (1963), 11.

Поред ових тематско-естетских целина има још читав низ разноврсних епиграма ове групе. Неколико епиграма је посвећено различитим црквама (40, 86, 87?, 88, 89, 90, 91). То су вотивни епиграми, уобичајене форме, у којима се величају патрони и упућују им се молбе за интервенцију код Свевишњег[40]. Поенту епиграма чини неко ефектно поређење, алузија на неку патронову карактеристику (кључеви св. Петра — 86). У епиграму 40 реалном храму Богородице стоји као антитеза метафорички храм Бога као један од многобројних алегоријских епитета Богородице који симболизује њену улогу у инкарнацији — Богородица је храм, односно телесно пребивалиште Христа у коме се одиграла света тајна његовог рођења[41]. Антитетичким прилозима на крају стихова ἄνω - κάτω (86) ствара се извесна веза између ктитора који према својим материјалним могућностима доле на земљи придоноси слави апостола коме је Христос горе дао огромну моћ. Молећи у панегиричким стиховима св. Андрију да помогне пастиру да чува свој народ, Теодор можда мисли на себе и своје цариградске монахе који су директно под заштитом овог апостола[42].

Посвете којима ктитори нуде своју задужбину светитељу као посреднички дар (88), молећи за опроштај од грехова и за заштиту од зла, сасвим су уобичајене вотивне формуле. Дародавци често остају безимени спомињући себе у перифрази „они који ти с љубављу храм подигоше" (88, 89). Оваква анонимност дародаваца одражава свест о томе како су човек и његова дела бескрајно ситни пред свемогућим и свезнајућим Богом[43]. Поред ових анонимних посвета, Теодор је саставио и неколико вотивних епиграма у којима су ктитори желели да будући пролазник спомене њихово име (106, 108, 113, 120) и похвали њихова дела која су подигли себи за спомен душе.

У еп. 85, посвећеном св. Христофору, патрону лековитог извора[44], једном разгранатом фигуром, карактеристичном иначе за култ

---

[40] Најчешће су то инвокације светитеља-патрона — 87, 88, 89, 90, 91; еп. 86 се обраћа Христу да би говорио о самом патрону; еп. 40 има форму правог натписа којим се привлачи гледаочева пажња; унеколико је необичан еп. 90, знатно дужи од осталих, који испред инвокације светитеља описује изглед саме цркве.

[41] Поређење Богородице са храмом Теодор јасно образлаже у катехези о благовестима — PG 99, 593 A. Уп. Акатист (*Trypanis*, 39): ἔμψυχος ναός; Минеј за 8 септембар, 57; Минеј за 30 новембар, 215 — Ναὸς ἡγιασμένος. V. *Eustratiadis*. Ἡ Θεοτόκος ἐν τῇ Ὑμνογραφίᾳ, Paris, 1930, 47.

[42] Епиграм би могао да се односи исто тако и на неку слику св. Андрије или на самог апостола уопште, али према његовом месту у збирци биће да је у питању нека цариградска црква.

[43] Једна од многобројних варијаната вотивних формула јасно изражава овакво схватање — Као завет учинише они чија имена зна Бог — в. *G. Babić*, North Chapel of the Quatrefoil Church at Ohrid and its Mosaic Floor, ЗРВИ 13 (1971), 266—270. Своје порекло овај тип анонимне посвете води још из паганских времена када је избегавано изричито навођење имена због празноверног страха од урока и злих сила.

[44] Избор овог мученика за заштитника оваквог кладенца могао би бити у вези са хагиографским предањем по коме су крвници св. Христофора бацили у бунар — v. BHG I 108 и Synaxaire, Eccl. Const, ed. *H. Delehaye*, Brisel 1902, 669.

светих моштију, Теодор реалне млазеве исцелитељске воде доводи у везу, с једне стране, са крвљу Христофоровом потеклом приликом његове мученичке смрти, а с друге, са устаљеном сликом чудотворности која тече, излива се на вернике и ублажава њихову патњу. Искористивши структуру патроновог имена, Теодор ниже атрибуте — кованице са Христовим именом у првом делу — Χριστόμαρτυς[45], Χριστόφρων, Χριστοφόρος — таквим понављањем постиже одређени звучни ефекат истовремено подвлачећи везу између мученика за праву веру и самог Христа. Уједно, прави и игру речи атрибутивном употребом сложенице Χριστοφόρος — онај који носи Христа у себи, у свом срцу[46], — уз име овог светитеља.

Теодор је састављао стихове и за друге грађевине везане за манастирски живот, углавном задужбине његових духовних штићеника (104, 105a, 105c, 106, 107, 108, 112, 120). Међу овим епиграмима Теодоровим нема правих ἔκφρασεις, он не даје детаљни опис неке грађевине или предмета. У еп. 90 он се обраћа цркви Јована Богослова као живом створу, подстакнут на то лепотом храма — лепотом свакако реалном, али пре свега прожетом духовним вредностима. Религиозна садржина је увек истакнута у први план, а материјална лепота постиже своју вредност и оправдава право свога постојања само ако је посвећена Богу, ако поред чулне радости коју пружа оку, ствара и духовну радост дочаравајући „неизрециви изглед божанских призора“[47]. Радосно осећање угодности које изазива једно „пријатно место“, вероватно нека мирна манастирска башта (105c), служи само као подстрек да метафориком ватре и еротике, уздигнуте на духовни, религиозни план, искаже мисао о човековој љубави према Христу и жудњи његовог духа да се ослободи „земаљских односа“[48], узвине ка божанству и достигне „сјајну и вечну радост“[49]. Еп. 106 једини је који се нешто дуже задржава на спољашњем изгледу манастира. Велелепност призора је изгледа успела да за тренутак заустави Теодора увек активног и преокупираног бригама, да погледа унаоколо, да се преда уживању и лепоти коју је људска рука створила и посветила Богу. Као најадекватније поређење за цветне вртове и сјајне цркве Теодор наравно узима лепоту раја и града божијег.

Значајно место у тадашњем животу су имали манастирски конаци, а и куће приватних лица која су прихватала странце. Гостопримство је било једна од веома важних хришћанских врлина, а нарочито су у време верских прогона, какво је било и Теодорово доба, уточишта за оне у немилости била драгоцена. Теодор хвали гостопримство љубазних

---

[45] *Sophocles* s. v. и *Lampe*, s. v. за ову реч наводе само Студита PG 99, 1228 A.

[46] Cf. PG 99, 1121 D, 1316 C. V. Reallex. 2, col. 1243, Du Cange, s.v.

[47] Уп. анонимног аутора са краја IX в. — *Browning*, 14, 39, 299 и 310.

[48] За ἐπίχθονος σχέσις уп. *Detorakis*, Канон Јосифа Химнографа, ода 5, стр. 146; Th. St. PG 99, 1245 B.

[49] О жаркој љубави којом човек узвраћа Богу на његову спаситељску љубав према човечанству уопште — PG 99 809 A, C; *Pitra* I, 341; Eug. Panorm. IX 45, 89.

домаћица супротстављајући њиховом „широко отвореном срцу“ ускогрудост оних који не трпе госте (104). Ова антитеза је подвучена парономазијом на крају стихова σὺν πόθῳ — πάθος. У епиграмима посвећеним конацима неизбежна је игра са смислом речи ξένος, диван и стран. Слична је игра речи и у варијанти једног старог, добро познатог, општег места — Христос гости сваког ко се брине о гостима[50]. У сваком од ових епиграма обавезно је подвучена награда која очекује домаћина, одговарајућа надокнада за гостопримство коју ће примити после смрти. Згодно уздарје којим се сиромашни монах одужује за гостопримство конака представљају четири стиха епиграма 108.

Епиграм бр. 2, посвећен „Келији оца нашег“, представља лирски исказану молитву побожног монаха који тежи савршенству аскетизма[51]. Монах се прво исповеда келији, немом сведоку тренутака духовног сустајања и интимних сумњи у сопствену религиозну ревност, а затим се моли Христу да му помогне у достизању врховних циљева — уздизању до Бога. Ово је веома занимљив пример како је у оквиру традиционалне хришћанске метафорике представљен у главним цртама степенасти пут аскетског усавршавања онако како је он био замишљен у аскетској теорији, односно у Лествици Јована Синајског. У првом делу, метафорама, чији се апстрактни смисао заснива на конкретним сликама келије коју монах шкропи водом, мете и осветљава палећи кандило, ставља се тежиште на молитви, покајању и моралној чистоти — врлинама које чине полазну тачку у подвижништву. Други део, сликама проистеклим из античке симболике духовне еротике и лета душе, обухвата врлине на једном далеко вишем степену. Страх од Бога у теорији византијског аскетизма чини предуслов за даљи успон ка љубави и бестрашћу — врлинама које су за монахе у киновији крајњи циљ аскетског уздизања[52].

Епиграм којим збирка почиње — „Моштима светих мученика“ — има и свој посебан полемички значај јер су се иконоборци борили и против веома раширеног обожавања моштију[53]. Култ моштију и веровање у њихову исцелитељску моћ Теодор пореди са вером крвоточиве жене која се дотакла Христових скута (Мат. 9,20)[54]. Паралелно са овим

[50] Уп. *Kominis*, Τὸ ἱερὸν ἐπίγραμμα 36, прим 2, сасвим сличан натпис на манастирском конаку у Патмосу — Ξένους ξένιζε μὴ Θεοῦ ξένος γένῃ. Детаљније о овом општем месту в. *Speck*, Jamben 270.

[51] Детаљну стилску анализу овог епиграма дао је проф. *М. Флашар*, Традиционалне метафоре и реторска рима у једном епиграму Теодора Студита, Зборник Филозофског факултета 12 (у штампи). — Оптужујући себе као „најгорег становника кога је келија икад имала“, Теодор тиме, по свој прилици, пореди своју несавршеност са узорном побожношћу претходног становника келије — св. Платона, који би и био „наш отац“ из наслова епиграма. Шпек (Jamben, 112) сматра, међутим, да је наслов касније састављен и да се односи на самог Теодора.

[52] *Богдановић*, 64—65, 73—75; *Beck*, 346.

[53] V. *Ostrogorsky*, Studien 32, 35 = СД V 41—43; *Frolow*, La relique 120.

[54] Уп. *Detorakis*, 142. В. стихове из Cod. Marc. 524 (*Sp. Lampros*, Νέος Ἑλληνομνήμων 8 (1911), 35) где је до оздрављења дошло захваљујући додиривању литругијске тканине — ἁφῇ πέπλου σου (sc. Σωτῆρος), *καθάπερ πρὶν κρασπέδου*.

поређењем Теодор користи метафоричку слику божанске милости која струји — слику која има своју подлогу у веровању да се исцелитељска снага, која „лечи дух и крепи тело", крије у светом миру насталом од мученикове крви.

Епиграми 41 и 92 су посвећени литургијским тканинама на којима су биле извезене представе Христа. Обе слике су Теодора подстакле да на веома сличан начин, понављајући чак један исти стих у оба епиграма, изнесе извесна теоретска иконофилска разматрања.

Код епиграма 102, који се односи на црквене светиљке, можемо да пратимо пут којим се крећу неке метафоре. Поређења са светлошћу губе своје реално значење и добијају један преносни мистички смисао као оличење позитивних снага и божанске моћи. С друге стране, и код кандила, које представља материјални сасуд те божанске светлости, није у питању реални опис његовог пламсања, него је сјај црквене светиљке схваћен као симбол, одраз нематеријалне светлости и као такав је добио одговарајуће епитете.

IV

ЕПИТАФИ И ОСТАЛИ ЕПИГРАМИ

Са неколико епитафа Теодор се придружио веома раширеном и омиљеном грчком надгробном песништву[1]. Придржавајући се углавном шаблона, који је за ову врсту епиграма био устаљен, Теодор лапидарним стилом помиње поједине биографске податке о покојнику, набраја врлине које су га за живота красиле и тврди да ће, захваљујући својим добрим делима, стећи срећу на небу.

Обавештавајући о животу покојниковом пролазника или читаоца, стихови епитафа говоре о томе одакле је умрли и каквог је био рода. Акростихом (117) или нарочитим стилским обртом указују на положај који је заузимао у друштву (113, 105g). Користећи се двоструким поређењем са младицом и граном, стихови 111, 3—5 алудирају на аристократско порекло покојног Стефана и његов висок положај у друштву[2]. Метафора тркача, често употребљавана за аскете, у случају монаха Дионисија, који је „трчао многим путевима православља" — 119, има и реални смисао — јер је он, разносећи по целом царству Теодорова писма, бодрио духове присталица праве вере[3].

[1] Форма у којој се Теодорови епитафи јављају, карактеристична је за ову врсту стихова. Најчешће је на почетку обавештење — овде је сахрањен тај и тај (114, 116, 117), или овде је гроб те и те (118). Понегде се стихови обраћају пролазнику, пријатељу (105e, 113, 115), или човеку смртнику уопште (110); епиграм 105f, као и други део еп. 118 се обраћа покојници, а у еп. 105g и еп. 110 се апострофира сам гроб. О епитафима класичног доба в. Anth. Graec. VII $_{1-2}$ и *W. Peek*, Griechische Grabgedichte, Berlin 1960.

[2] О грани (κλάδος) као метафори за особу племенитог порекла (према Рим. 11.16) в. Eug. Panorm. XXIV 30—31 и белешку на стр 204.

[3] Уп. и друге Теодорове епиграме 6, 71.

У епитафу, као и у посмртној беседи, обавезно се нижу похвални епитети и набрајају све покојникове добре особине. Стефана, који је до краја свога младог живота остао невин, Теодор пореди, служећи се познатом сликом, са ружом без трња[4]. Компликованом игром речи са покојничиним именом хвали неку Евдокију — 116. У нарочито похвалном тону је састављен нешто дужи Иринин епитаф (117), где се са златом и драгим камењем пореде позитивне духовне особине и врлине које красе праву монахињу — плач, бдење и молитва[5].

Поред тога, ови епитафи понављају општи репертоар мисли о смрти. О неумитности њеној, коју Теодор вешто истиче асиндетским набрајањем свих врста људи, о различитим судбинама које очекују добре и порочне на Страшном суду, о мудрости оних који још за живота своје поступке усмеравају ка вечности. Поредећи ове стихове са онима из времена у коме је још била јака античка традиција, рецимо са епитафима Григорија Назијанског, пада у очи да Теодор, тугујући за умрлима, не испољава дубоку жалост ни нарочит бол, што је разумљиво за правог хришћанина који верује да тек кад се заврши превртљиви живот, долази права срећа и светлост.

*

Међу преосталим епиграмима издвајају се две рефлексивне песме Εἰς ἔγκλειστον „затворнику" (94) и „Самоме себи" (97). Еп. 94 представља поетски дефинисан аскетски програм оних монаха који су се, склони медитирању, повлачили у самоћу и посвећивали се самосталном духовном усавршавању. Метафорички се изражавају главне врлине „затворника" — апатија и созерцање, теорија Бога, као и обавезна средства која обезбеђују постизање високог циља, — бдење, ћутање, пост и молитва[6]. Интересантно, да се од затворника очекује и мануелни рад — мада то свакако не значи да је он учествовао у заједничким пословима манастира. Пун поштовања према овом савршенијем и интровертнијем облику аскезе, Теодор, ипак, у последња три стиха упозорава све оне који теже индивидуалном монаштву да такав начин живота захтева огромну способност концентрације и врлину одрицања доведену до савршенства. Јер, тврди убеђени присталица киновије, животом у заједници постиже се исти циљ аскетског усавршавања, само на један много једноставнији и приступачнији свима начин.

У еп. 97 Теодор се обраћа својој души размишљајући поново о времену које „јури као жустри тркач", о узалудности земаљских брига,

[4] Cf. PG 99, 1345 D. B. и Григорија из Назијанза PG 37, col 696; кондак Романа Мелода за недељу свих Светих.

[5] Cf. PG 99, 1377 D — због истих врлина Теодор хвали Ирину у писму којим је изразио саучешће њеној ћерци игуманији Еуфросини. За поређење позитивних духовних особина са златом и драгим камењем в. *Pitra* I 342.2; PG 99, 1285.

[6] В. *Боīдановић*, 88 сл.

о ватри пакла и неизрецивој светлости које очекују људе на Страшном суду. Овде је Теодор метрички уоквирио две класичне пословице о крчагу без дна и гребенању вуне у ватри[7].

Дистих бр. 95 на сентенциозан начин супротставља материјалном, пролазном богатству моралну чистоту душе која живи у страху од Бога. Због велике сличности ових стихова са Касијиним јампским изрекама чини се оправдана Шпекова сумња у њихову аутентичност[8].

Као сведоци тешких дана заточења остали су нам еп. 98 — 101 и непотпуни еп. 105b. Супериоран став који прави аскета има према животним недаћама Теодор изражава омиљеном игром речи — Богу је стран свако, коме нису стране све земаљске ствари, и супротстављајући условној тамници, у коју су га људи бацили, своје материјално тело, једину стварну тамницу своје душе. Са извесном се иронијом Теодор захваљује ћелији, у којој се пријатно настанио, што га је склонила од пристрашћа које човека у борби може да заведе.

Прилично нејасни епиграм 105d и еп. 123 представљају ласкаве одговоре Теодорове на књижевне творевине његових савременика. Јамбе састављене у част четири Јеванђеља он пореди са музиком четворогласног инструмента, а песничке квалитете тристиха неког граматичара[9], са златом и бисером. Овакво општење кроз литерарне игрaрије припадало је духу времена у коме су образовани људи настојали да искажу своју ученост и способност елегантног и духовитог изражавања. Тиме се и Теодор на моменат придружио свету доконих литерата, користећи китњаста поређења са златом и драгуљима која се иначе у збирци ретко јављају.

Дистих 122 је прави епиграм негативне садржине у класичном смислу. Језгровитом метафором звери која уништава душе — ψυχοφθόρος θήρ, Теодор изражава разорни утицај који је прогнани монах Памфил имао на своју околину[10].

Епиграм у елегијском дистиху (96) је по својој прилици залутао у збирку због своје монашке садржине. Његова аутентичност је сумњива, не само због метра различитог од свих осталих епиграма, него и због невештог начина изражавања, метричке неправилности и класичних поређења, која Теодор иначе не користи[11].

---

[7] Веома сличан тип песме којом се сопствена душа подстиче да се тргне и посвети мислима о смрти је и кондак Романа Мелода: Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει (Christ-Paranikas, 90). Cf. *G. Soyter*, Byzantinische Dichtung, Athen 1938, 62.

[8] V. *Speck*, Jamben, 255; *Krumbacher*, Kasia, Stizungsber. der Bayer. Akad. d. Wiss., philos.-philol. und hist. Kl. 1897_1, 342 — сентенције типа κρεῖσσον према Пс. 37, 16, Приче Сол. 16, 16; 17.

[9] V. *Grumel*, Jean Grammaticos et Saint Th. St., EO 36 (1937), 181—189.

[10] Cf. PG 99, 1276 C — ψυχοφθόρος αἵρεσις

[11] V. *Speck*, Jamben 256. *E. Marin*, Les moines de Cple depuis de la fondation de la ville jusqu'à la mort de Photius, Paris 1897, 471 је, пак, сматрао да је само последњи стих неаутентичан.

V

СТИЛ И МЕТРИКА

Теодоров стил представља једну срећну комбинацију наслеђене форме, ненаметљиве дидактике и урођеног осећања за меру. У прозним делима Теодор је своја теолошка разматрања и аскетске поуке исказивао придржавајући се важећих правила реторике и користећи се књижевним језиком дубоко прожетим одређеном симболиком и веома богатом многозначном метафориком. Један згуснут и пречишћен вид таквог уметничког уобличавања мисли представљају његови епиграми. У оквиру овог традиционалног, превасходно метафоричког, начина изражавања Теодор је испољио и једну особену уметничку жицу која му омогућава да сасвим обичним речима, говорећи о цепању дрва за потпалу или о крпљењу истрошене манастирске обуће, ствара стихове у којима прозаичност садржине не нарушава склад уметничког утиска. Напротив, баш су ови епиграми, као жив одблесак живота, ситних људских слабости и брижне љубави, оно што је Теодору прибавило најпохвалније одзиве и признања савремених познавалаца књижевности[1].

Пресудан утицај на овакав карактер његове поезије имала је свакако чињеница што је ове стихове писао за разнородну монашку публику, а не за уски круг учених људи. Циљ епиграма је пре свега у томе да поуче — о манастирским правилима, актуелним теолошким проблемима, а и о општим животним аксиомама које је Теодор желео да његови монаси имају стално на уму. Не инсистирајући да по сваку цену испољи своју ученост и умешност у коришћењу тропа и правила стиха, трудио се да оно што пише буде довољно разумљиво и упечатљиво за његовог, не нарочито образованог, просечног сабрата.

У време када су формални изглед и спољашњи аудитивни утисак били веома цењени, Теодор је, као несумњиво добар познавалац свих тајни стиха и његових стандардних украса, користио сва уметничка средства, али их је надахнуо својим талентом и обуздао умереношћу. Његови су стихови ослобођени баласта замршених алузија и нагомилавања сувише упадљивих звучних фигура.

Сходно садржини тако уско везаној за верски живот, поређења којима се Теодор служи и слике које дочарава преузете су из богате ризнице хришћанске симболике Св. Писма и теолошке литературе, симболике која је стајала под директним утицајем неуништиве античке традиције. Стихови су пуни метафора које више нису биле само средство уметничког изражавања, него су постале начин мишљења религиозног човека, чији су главни духовни интереси били усредсређени на догматска питања и проблеме моралне одговорности појединца пред Богом.

Кроз стихове се нижу уобичајена општа места и метафоре: монах — атлета, тркач, мученик, мудри трговац, ван своје средине — риба

[1] *K. Krumbacher*, Geschichte der byz. Lit., München 1897², 712; *A. Gardner*, Theodor of Studium, His Life and His Times, London 1905; *Dieterich*, Geschichte der byz. und neugr. Lit., Leipzig 1909², 38; *Cantarella*, Poeti byz. II, Milano 1948, 150.

на сувом; светлост — оличење светости и узвишености; морални пад; превртљиви живот; пијанство брига. Често се глаголом конкретизује апстрактни појам и тако чини живљим и опипљивим — везати, зауздати речи (105б), молитвама посолити (14), подићи свет из понора греха (36).

Плач као симбол покајања искоришћен је у еп. 82 у проширеној метафори о светитељу који својим сузама залива душу из које ничу неуништиви плодови. У праву алегорију се развила метафора о животу као бурном мору и монашком позиву као тихој луци (3). Утврђивање чињеница о нечијем преступу, Теодор сликовитом метафором, чије порекло можемо пратити у античкој књижевности, пореди са оштрим стрелама ума које треба да буду бачене право на циљ.

Честа су поређења са личностима Св. Писма, а њихове особине се користе као симболи — вера жене крвоточиве, стрпљиво подношење патњи Јова, Јудино издајство и Аврамово гостопримство. Са музичким инструментом се пореди појање за време службе и метричка парафраза Јеванђеља. Појање се изражава и метонимијом — уста братства. Тако је и иконописац „рука која ствара облик" (32), а Βυζαντὶς ἡ πόλις је метонимија за централну царску власт. Христос, Бог и Богородица се често изражавају аналитички у перифрази — „онај који све мери и дели по заслузи" (16). Студијски манастир, чији је патрон био Јован Претеча, спомиње се као προαύλιον ... τοῦ προταγοῦς ... φωτοπροδρόμου.

Епитети су углавном уобичајени — грешни свет, горки гроб, лак, сладак и брз сан итд. Теодор радо употребљава сложене епитете, од којих су неки први пут код њега забележени — ἰσοσμάραγδος, κάλληχος, μαρτύραθλος, παντέλαφρος, πλουτοβρύτης.[2]

Ради веће живости Теодор се веома често служи апострофом. Својим монасима се обично обраћа подстичући их партикулом δεῦρο, адхортативним коњунктивом, или императивом. С реторским питањем пуним негодовања иступа пред своје идеолошке противнике. Обично се обраћа сликаним представама светих личности, или самим иконама које су с њима хомонимне, персонификованим црквама или њиховим патронима. Нарочито непосредно делује навођење замишљених туђих речи — у еп. 32 изјава саме иконе има за циљ да аргументи делују што убедљивије, а у еп. 28 Теодор на свој конкретан начин показује шта не треба говорити и како се не треба понашати.

Међутим, оно што је најупечатљивије у Теодоровој поезији, а у томе он није никакав изузетак, то је велика љубав према основним средствима реторике — паралелизму, антитези и игри речима[3].

Треба истаћи да антитеза често није празна реторска фигура. Она је израз начина мишљења, погледа на свет једног религиозног монаха у чијој се свести, у свакодневним мислима води непрекидна борба добра и зла, греха и врлине. У антитези је изражена супротност између горњег и доњег света (ἄνω—κάτω), између тегоба на земљи и награде на небу, између срећног живота у манастиру и оног немирног усред свет-

[2] V. *Speck*. Jamben, index.

[3] *Norden* I, 16 f, 50 f.

ске вреве (ἔσω—ἔξω), између праведних и грешних, између православних и јеретичара, између светлости и мрака[4].

Поред антитеза које су истакнуте партикулама μέν—δέ и прилозима са супротним значењем има и таквих примера где се конфронтација осећа само по смислу. Стихови еп. 37 — „Оног кога ни анђели нису могли да виде, ти држиш у непорочним рукама" — кроз контраст указују на величину инкарнације и на огромну част која је у овом тајанственом чину припала Богородици (в. и еп. 33). Понегде антитеза, на изглед парадоксална, супротставља унутарњи духовни живот спољашњем свету — св. Арсеније се предао потпуном ћутању да би могао молитвама да разговара са Богом (82). Ἔγκλειστος (94) је затворио свој дух пред свим оним што га везује са околином, да би га широм отворио Богу.

Посебни ефекат се постиже конфронтацијом два различита смисла једне речи — ξένος — стран и диван, λόγος — у смислу речи и у смислу разлога, или чак Речи-Логоса (62). Оваквом игром речима и њиховим смислом врло често се постиже поента епиграма[5].

Овим залазимо у домен звучних фигура које су у средњовековном песништву играле огромну улогу. Синтактички и звучни паралелизам стихова и појединих њихових делова, понављање[6], ређање речи исте врсте и истог завршетка[7], анафора, хомојотелеутон и парехеза — све су то средства која Теодор користи веома много.

Нарочиту су чар имале за песнике комбинације са властитим именима. Христофор, Теодор, Хризостом, Стефан, Ирина — све су то имена која су сама по себи наметала одређену игру речи коју би ретко који византијски писац пропустио да нагласи, па ни Теодор овом искушењу није могао да одоли[8].

Сличан ефекат се постизао и парономазијом[9], зближавањем речи које имају сличну етимологију, или оних које су само гласовно сличне. Ту свакако спада и figura etymologica — πέσης πτῶμα, γνοῦς γνώμας. Понављање истих или сличних речи у истом, или у два узастопна стиха готово је редовна појава — τῷ φίλῳ τὰ τῶν φίλων — φιλοφρόνως — 121. 5—6; в. еп. 59 где су у 1. и 4. стиху четири пута поновљени облици глагола γράφω.

Теодор радо ређа исте облике — прилоге, императиве, или именице у истом падежу. Ради јаче експресивности ови низови су без свеза — прави примери асиндета[10]. За полисиндет има такође примера — φροντίς δε πόλλη καὶ μέριμνα καὶ κόπος — 15, а најчешћи је пример

[4] О вредности антитезе у киничко стоичкој дијатриби и код св. Павла в. *Bultman*, o.c.; cf. *Norden* II, 507.

[5] V. *Kominis*, Τὸ ἱερὸν ἐπίγραμμα, 92, 93, n. 1.

[6] V. ibidem 90; *Blass-Debrunner*, 226.

[7] V. *Blass-Debrunner*, l.c.; *Kominis*, o.c. 88.

[8] *Kominis*, o.c. 92; *C. Gianelli*, Un altro „calendario metrico" de Teodoro Prodromo, ΕΕΒΣ 25 (1955), 209.

[9] V. *Blass-Debrunner*, 226; *Norden* I 23.

[10] О реторском асиндету у Новом завету в. *Schwyzer*, Griechische Grammatik, München 1950, 633.

набрајања са свезом καί или τε καί испред последње речи. Понегде се у тој захукталости појави и таутологија — ἔγειρον, ἐξύπνισον — 2, ἀποκρίθητι, φράζε —23.

Нагомилавањем истих самогласника (еп. 10 где се девет пута понавља глас -и-), или сугласника (еп. 16 — -к, т, п- εἰς πάντα κοιτωνίσκον εἰς κρύπτον τόπον), понављањем слогова (78 — ὡς φώσφορος), комбинацијом наставака који исто звуче (најчешће су то ак. снг. на -ον, ген. пл., и пртцп. на -ων — нпр. 4. 2—3 — τρέμων — κινδύνων πολλῶν γέμον), постиже се нарочита ритмика стиха.

Оваквом гласовном подударношћу слогова — парехезом[11], асонанцом на почетку и крају стиха, затим одређеним редом речи, истицањем речи које имају исте завршетке на почетку и на крају стиха, или испред паузе и на крају стиха, ствара се унутрашња равнотежа стиха — нпр. Μωσῆς μὲν ἄρχων, Ναυῆς δὲ συνθέων — 6, или πρόσελθε, θείως, καὶ μεθέξεις ἀξίως — 44. Понекад се јавља и унакрсни распоред — хијазам: ἤθει καλλίστῃ, εὐκλεεστάτῃ γένει — 105.

И између стихова се јавља овакав паралелизам, обично комбинован са антитезом, анафором и хомојотелеутом. Узмимо например стихове 6.9—10 повезане међусобно синтактичким паралелизмом, анафором, везама μέν — δέ и парономазијом на крају —

νῦν μὲν συναλγῶν τοῖς κάμνουσιν ἐκ πάθους
νῦν δὲ προθυμῶν τοὺς τρέχοντας ἐκ πόθου.

Без обзира на толику шароликост стилских средстава Теодор је успео да нигде са њима не претера и да одржи у главном сталну равнотежу између форме и садржине. На примерима смо видели како су формални украси били често у већем броју сконцентрисани на оним местима стиха које је требало нарочито истаћи због њиховог смисла.

*

Византијски дванаестерац у коме су писани Теодорови јамби настао је као резултат једног веома упорног инсистирања на очувању традиционалне форме засноване на потпуно ишчезлом квантитативном принципу античке метрике. Док се на сасвим новим основама слободно развијало и цветало ново црквено песништво, поједине наслеђене метричке форме, модификоване под утицајем нових језичких захтева, нашле су себи своје место и задржале се све до краја грчке средњовековне књижевности. Тако постепено јампски триметар прелази у византијски дванаестерац са новим одређеним законима о месту појединих акцената у стиху и са утврђеним бројем слогова[12].

Теодорова метрика је одлично одражавала поступност развоја у стварању овог средњовековног стиха и утврђивању његових правила.

[11] *Schwyzer*, o.c. 658.
[12] V. *Hilberg*; *Maas*; *Dölger*, Die byz. Dichtung in der Reinsprache.

Док му је његово осећање ритма налагало да се стално придржава одређеног броја слогова и да, поред малог броја изузетака, стих увек завршава пароксистоном, дотле место акцената испред пауза у стиху (тзв. Хилбергово правило) за њега уопште није било битно.

Да се број слогова не би негде нарушио, Теодор је морао да прибегне понекад помоћним средствима — крази, елизији, понекад хомерским облицима ἐργάται Χριστοῖο, πανταχοῦ γαῖαν, δεχοῖο, или стварањем нових скраћених речи — нпр. κοινοβιχῶς, πάμποθος, ἐπίχθονος[13]. Закон пароксистонезе је наметао и избор одређених речи и облика на крају стиха — медијалних и пасивних партиципа на -μένος, глаголских придева на -τέος, двосложних именица, придева и прилога — нпр. πόνος, πόλος, φόβος, λόγος, κρίσις, στῦλος, ξένος, πόθος, πάθος, μέγας, πάνυ. Поред тога се код Теодора радо појављују именице женског рода на -ια прилози и др[14].

Што се тиче пауза које су делиле обавезно дванаестерац на два дела од пет и седам слогова, код Теодора имамо чешће паузе после петог слога са краћим и самим тим наглашенијим првим делом стиха — нпр. 1.3 — ψαύων γὰρ αὐτῶν, ὡς ἐκείνη κρασπέδου. Међутим, честе су код њега-и комбиноване паузе[15].

Као и остали византијски песници Теодор успешно избегава хијат допустивши га само двапут и то у оквиру пауза, где је и иначе дозвољен (61.4, 14.9)[16].

Занимљиво је, како су се истрајно песници придржавали прозодијских закона класичног стиха. Због изједначивања квантитета вокала и монофтонгизације дифтонга у средњем веку је прозодија била ствар чисто графичке природе. Правило да само дуг слог може да носи акценат, сада није имало никаквог смисла, али се Теодор ипак очигледно труди, поред извесних изузетака, да ε и ο не носе нагласак стопе[17].

Овакво формалистичко придржавање практично не постојећих више правила веома јасно илуструје тежњу Византинаца за очувањем грчке класичне традиције[18].

*

Сматрајући да никад није сувишно поновити паметан савет и важно упутство, Студијски игуман је тежио да у песничке оквире епиграма пренесе све оно о чему је својим монасима у катехезама и другим списима говорио. Дело, које је из ове жеље настало, свакако није само збирка обичних метричких поука. Оно представља успешну син-

[13] *Speck*, Jamben, 70—71.

[14] Cf. *Kominis*, o. c. 67—68. *J. Sajdak*, Spicilegium Geometreum, EOS 32 (1929), 192.

[15] V. *Speck*, Jamben, 110.

[16] V. ibidem, 841.

[17] V. *Maas*, 321; *Speck*, Jamben 78 sq.

[18] Колико је прозодија, за уметнички утисак средњевековног стиха сасвим неважна, значајна за издавање текстова — в. *Speck*, o.c. 72 sq.

тезу конкретних проблема, богате метафорике и са мером коришћених реторских украса.

Најоригиналнији и највреднији су епиграми посвећени монашком животу. Искрену љубав према средини у којој је делао и коју је с огромним еланом носио на својим плећима, Теодор је успео да пренесе у ове стихове, понекад тако живе и присне. Све оно што се догађа његовим монасима, тешкоће које имају обављајући свој посао, грешна искушења којима подлегну, жеље за потврђивањем сопствене корисности, све је то Теодор преживљавао, све бриге и стремљења његовог братства постали су неодвојиви део њега самог. Бодрећи ситне занатлије узвишеним поређењима, удубљујући се у најситније детаље појединих манастирских послова, дочарао је сликовито и пластично следећим нараштајима, боље од било ког аскетског трактата, нимало једноличан живот који се одвијао у зидовима средњовековног манастира.

Иконофилску теорију слике, ослобођену сувопарности и неразумљивости, обликовао је у стихове који су били приступачни сваком скромном послушнику. Компликовани теолошки термини нашли су своје право место у стиху, уопште га не реметећи.

Остали епиграми, који су можда били искоришћени као натписи на видним местима у манастиру, имали су за циљ да подстакну монахе на размишљање и да на згодан начин изложе њима блиске теме. Веома вешто и одмерено Теодор је избегао опасности да, због стандардне садржине ове врсте стихова, форма не добије претерани значај.

Задовољавајући у неком предаху сопствену склоност образованог и надареног човека свога доба, Теодор је саставио ове стихове, који су једним својим делом успели да се уздигну над захтеве времена и приближе се песништву чије су вредности универзалније и трајније.

N. RADOŠEVIĆ-MAKSIMOVIĆ

LA VALEUR LITTÉRAIRE DES ÉPIGRAMMES DE THÉODORE LE STOUDITE

Résumé

L'oeuvre littéraire du célèbre higoumène Théodore le Stoudite est un reflet fidèle de son activité de réformateur énergique du monachisme et de combattant passionné qui luttait pour la reconnaissance du culte des icônes. L'époque au cours de laquelle il vécut (fin VIII^e — debut IX^e siècles), fut marquée par de vifs débats théologiques qui ébranlèrent profondément l'ensemble de l'Empire, et qui perturbèrent totalement la vie des monastères byzantins. Ces événements offrirent un vaste champ d'action au tempérament actif de Théodore, qui était orienté vers les buts plus élevés de la vie spirituelle, à cause d'une atmosphère religieuse régnant dans sa maison paternelle.

L'idée d'une vie monastique harmonieuse et des propositions iconophiles théoriques furent les deux mobiles qui donnèrent un sens à toute l'existence de Théodore, et c'est de ceux-ci que dépend également une grande partie du recueil de ses épigrammes — 'Ιάμβοι εἰς διαφόρους ὑποθέσεις — Iambes au contenu varié. En sa qualité d'homme de plume, éduqué dans un milieu de gens cultivés, Théodore s'essaya également à la poésie, aussi bien liturgique que profane, en vérité cette dernière étant de même religieuse par excellence. Les épigrammes sont le résultat le plus caractéristique de cette création poétique. Ayant pour préoccupation continuelle le perfectionnement spirituel des moines de son monastère, l'higoumène de Stoudios aspira à transposer sous forme de poésies ce dont il parlait dans ses écrits catéchetiques et polémiques. L'oeuvre qui naquit de se désir n'est certainement pas un recueil d'instructions morales habituelles mises en vers — mais de nombreux vers représentent une véritable réalisation poétique. Ces vers, qui diffèrent par leur contenu aussi bien que par leur signification, témoignent par leur diversité de la personnalité complexe de Théodore, rompue aussi bien aux réflexions théoriques sur le dogme qu'à la résolution des problèmes pratiques d'organisation, ainsi qu'à l'administration compliquée et délicate de l'âme humaine.

Le recueil n'a pas été créé dans un même souffle d'inspiration. C'est au cours de l'époque paisible où la vie était florissante à Stoudios que furent composées les épigrammes monastiques, de même que celles qui sont consacrées aux églises et objets liturgiques. Mais les vers iconophiles sont le résultat d'une âpre polémique qui eût lieu au cours de la seconde période de l'iconoclasme.

Les épigrammes les plus originales et les plus estimables sont celles qui sont consacrées à la vie monastique. Théodore a réussi à faire passer dans ces vers, parfois très vivants et sincères, l'amour véritable qu'il éprouvait envers le milieu dans lequel il agissait et qu'il stimulait de son enthousiasme, en aspirant à son élévation morale. Il y peint le monde extérieur sous les couleurs les plus sombres et célèbre avec enthousiasme l'idéal de vie monastique, en opposant ces deux mondes dans des métaphores pittoresques. En repoussant la didactique sèche, il expose de manière impressionnante les exigences et les avantages fondamentaux du monachisme cénobitique dont il n'était pas seulement un glorificateur distingué, mais aussi un réformateur bien connu. Lorsqu'il encourage les petits artisans, lorsqu'il pénètre dans les plus petits détails de certaines tâches monastiques, il évoque de manière pittoresque et animée, pour les générations suivantes, la vie nullement monotone qui se déroulait entre les murs d'un monastère médiéval. Libérés de la rhétorique creuse et du style emphatique, qualités habituelles de la littérature médiévale, les conseils qui sont adressés à un humble confrère exhalent une fraîcheur et une joie de vivre véritables. A cause de leur charme inhabituel, ils se différencient de l'oeuvre poétique de Théodore, ainsi que de la littérature byzantine toute entière.

Les épigrammes consacrées au problème du culte des icônes ne sont pas aussi originales, mais elles présentent un intérêt en tant que synthèse poétique de la doctrine théologique de Théodore. Les idées principales que Théodore a exprimées dans ses écrits théologiques sont présentées en quelques vers de manière condensée et y sont dépouillées de l'ampleur rhétorique qui affecte le texte en prose. Cependant, bien qu'elles soient en un certain sens simplifiées, elles ne sont ni mutilées, ni incomplètes. Cette vingtaine d'épigrammes nous offre une représentation très claire de la manière dont Théodore interprétait le culte des icônes. Les termes théologiques compliqués, tels qu'hypostase ou archétype, ont trouvé leur véritable place dans les vers et, en outre, n'en troublent absolument pas l'ordonnance. En se libérant de l'aridité et de l'incompréhension, Théodore ne permit pas que les pensées philosophiques le séduisent et que son érudition personnelle lui soit une entrave. La concision et la clarté d'expression sont certainement à l'avantage des sentiments poétiques de Théodore. Sans aucun doute, il est maître dans l'habileté qu'il a de condenser, en quelques vers courts, la substance d'une doctrine. Ses arguments riment de telle sorte qu'ils correspondent à toutes les exigences des vers, dans lesquels les idées philosophiques s'insèrent sans difficulté.

Le reste du recueil de Théodore est constitué, en majorité, par des épigrammes consacrées aux objets liturgiques, aux églises et aux édifices faisant partie des monastères. Parmi elles, on peut distinguer quelques groupes particuliers. Les épigrammes qui sont consacrées à certaines parties d'une église, sont très intéressantes car, par leur composition uniforme, par des motifs communs et

par un choix déterminé de métaphores, elles rappellent beaucoup certaines inscriptions découvertes dans des monuments qui datent approximativement de la même époque. Cette ressemblance pourrait souligner une intéressante supposition, à savoir qu'en réalité nous avons devant nous des inscriptions en vers que Théodore composa pour qu'elles soient un enseignement vivant, accessible à tous les fidèles qui fréquentaient l'église du monastère de Stoudios. Une dizaine d'épigrammes dédiées à la croix sont composées en majorité d'après de formules apotropaïques, qui sont souvent transcrites sur les croix portatives, ainsi qu'auprès de leur représentations peintes.

Les épigrammes composées en l'honneur de divers saints, — pères de l'eglise et moines-ermites — forment un ensemble extraordinairement homogène, liées par leur contenu et dont le style est très unifié. Outre la structure uniforme, le nombre égal de vers, les comparaisons souvent répétées, les traits les plus manifestes de ce cycle sont dus aux métaphores de lumière — qui apparaissent dans le spectre extrêmement riche de nuances dont la signification est difficile à traduire. Théodore utilisa effectivement les ressources inépuisables des mots qui désignent la lumière et dont la langue grecque dispose communément, et il créa parfois, dans certaines de ces courtes épigrammes, des images pleines d'effet et d'inspiration poétique.

Outre quelques épitaphes banales, que Théodore écrivit, sous l'influence de la poésie funèbre grecque, il existe un certain nombre d'épigrammes qui ne font pas partie des ensembles thématiques mentionnés, et qui, souvent, répètent les idées et les métaphores que nous avons déjà rencontrées.

Sans aucun doute, Thèodore était un poète de bonne formation et un bon connaisseur de tous les secrets des vers et de leurs lois. En analysant le schéma de composition d'une épigramme, nous pouvons nous rendre compte combien il a atteint habilement l'harmonie de l'intensité montante et descendante, dans le contenu, grâce à une accélération ou à un ralentissement adéquats du tempo des vers. La partie d'une épigramme qui est chargée de la pensée essentielle, est ordinairement plus riche dans les ornementations de style et dans les autres effets qui attirent l'attention et accentuent ainsi le comble de l'idée.

Théodore utilisa toutes les ressources artistiques qui sont spécifiques de son époque, mais il les a animées de son talent et maîtrisées par sa modération. Ses vers sont libérés des allusions obscures, des comparaisons savantes et de l'accumulation excessive de figures trop sonores, bien que ses métaphores soient celles d'un théologien ayant reçu une formation classique et sa technique de composition des vers soit caractéristique de celle de tous les poétes médiévaux.

En ce qui concerne la métrique, le vers de Théodore est un représentant typique du nouveau vers byzantin à douze syllabes qui, en prenant quelques caractéristiques nouvelles, se forma à partir du trimètre ïambique antique.

En guise de conclusion, on pourrait souligner que le style de Théodore représente une heureuse combinaison d'une didactique discrète, d'une forme héritée et d'un sens de la mesure. S'en tenant aux normes fondamentales qui régissaient la poésie de cette époque, Théodore révéla également une veine poétique personnelle, qui lui permettait, d'unir les mots les plus usuels qui

soient aux métaphores sublimes sans enlaidir en aucune façon l'harmonie de l'impression artistique. Tels sont précisément ces vers consacrés au cuisinier ou au cordonnier du monastère, vers qui garantirent à Théodore des éloges des savants de nos jours.

Bien que ses épigrammes, vus dans l'ensemble, soient composées d'images reprises de la littérature chrétienne antérieure, elles présentent une création poétique particulière et intéressante. Sa poésie est même originale, non seulement grâce au fin lyrisme de ses nombreux vers, mais aussi grâce aux structures nouvelles réalisées dans la versification et la métaphore.